Юрий Герман



Дело, которому ты служишь

ЮРИЙ
ГЕРМАН

Дело, которому ты служишь



Роман

Издательство
СОВЕТСКАЯ РОССИЯ
Москва 1964

Р 2
Г 38

«Дело, которому ты служишь» — первая книга трилогии Юрия Германа. В центре трилогии — образ врача-хирурга Владимира Устименко, всю свою сознательную жизнь посвятившего служению любимому делу — медицине.

Роман «Дело, которому ты служишь», рассказывает о юности Владимира Устименко, о его первых шагах в хирургии.

Требовательность к себе и окружающим, непримиримость к равнодушию, ненависть к тупости, консерватизму, карьеризму делают Устименко «неудобным» для тех, кто хочет жить в науке спокойно.

В далекой восточной стране, куда посылают Устименко лечить людей, он с честью выполняет свой долг. «Он делал тут свое дело, делал всегда, делал всеми силами. И люди понимали это». Отсюда возвращается Устименко домой, где уже идет война, где льется кровь, где ждет его работа фронтового хирурга. Но это уже тема второй книги трилогии — романа «Дорогой мой человек».

Завершает трилогию роман «Я отвечаю за все».

И вечный бой! Покой нам только снится...

Александр Блок

Естественные науки

Это случилось с ним в девятом классе школы: внезапно Володя охладел ко всему, даже к шахматному кружку, который тотчас же без него развалился, даже к учителю Смородину, который до сих пор считал Устименку своим лучшим учеником, даже к Варе Степановой, с которой он еще в ноябрьские праздники бегал на обрыв медленно текущей Унчи. Жизнь — такая веселая и занятная, такая переполненная и шумно-хлопотливая, такая увлекательная во всех своих подробностях — вдруг словно бы остановилась, и все вокруг Володи замерло, прислушиваясь настороженно и опасливо. Что, дескать, будет дальше, мальчишка, посмотрим!

Ничего, казалось бы, особенного не произошло.

Просто они с Варей пошли в кино. В тот вечер моросил обычный осенний дождик, Варя говорила свои глупости об «искусстве театра» (она была главной артисткой в драмкружке 29-й школы), по экрану разгуливали какие-то самодовольные, особой породы курицы. А потом Володя засопел и затаил дыхание.

— Молчи! — сказал он Варе.

— Чего ты? — удивилась она.

— Ты замолчишь? — прошипел он.

На экране ученый набирал в шприц какую-то жидкость. Это был лобастый, узкогубый, видимо измученный человек. Ничего симпатичного или, как любила выражаться Варина мама, обаятельного нельзя было обнаружить в облике этого великого первооткрывателя. И работу свою он делал не так чтобы уж очень ловко, наверно сердился на тех людей, которые снимали его для кино. Такие люди очень не любят, чтобы их фотографировали, а тут еще эти кинооператоры!

Приговоренную морскую свинку Варя пожалела:

— Душечка, какая бедненькая! — сказала Степанова и опасливо взглянула на Володю.

Но он даже не шикнул на Варю. Он весь словно бы светился, слушая человека в белой шапочке и в белом халате, который строго говорил в зал о мудром старце Эскулапе и его дочери Панацее.

— Ничего не понимаю! — шепотом пожаловалась Варя.— Ну, ничегошеньки. Ты понимаешь, Владимир?

Он кивнул. А потом, когда показывали художественный кинофильм, Володя сидел угрюмый, грыз ногти и думал. И ни разу не улыбнулся, хоть картина была смешная. Он вообще умел вдруг отделяться от всех, начинал жить не болтовней, а размышлениями, словно забирался в какую-то нору. И нынче, провожая Варю домой из кинотеатра «Ударник», он тоже шел не с нею, а совершенно отдельно, сам по себе.

— О чем ты думаешь? — спросила Варвара.

— Ни о чем! — буркнул он, весь погруженный в свои мысли.

— Очень весело с тобой! — сказала Варя.— Прямо умора! Буквально животики надорвешь от смеха.

— Что? — спросил он.

Так они и расстались месяца на три — Варя была обидчивой и самолюбивой, а перед ним распахнулся неведомый еще мир поисков и умственной сумятицы, открывания уже давно открытых истин, мир бессонных ночей, мир беспредельных знаний, в котором он был ничем, пустяком, соринкой, попавшей в бурю. Его вертело и швыряло среди слов, из-за которых поминутно нужно было справляться в энциклопедии; он прорывался через книги, в которых очень мало понимал; бывали часы, когда он едва не плакал от сознания собственного бессилия, но бывали мгновения, когда ему чудилось, что он понимает, разбирается, что он почти «свой» хоть в этой главке, на этой странице, что теперь только нужно вскапывать глубже и все пойдет отлично. А потом вновь он проваливался во тьму, ведь он был еще маленьким, «дурачком», как называла его тетка Аглая.

— Что это? — спросила она как-то очень студеным вечером, заглянув в Володин «закуток» — так называлась в квартире издавна его узкая комната.

— Где — что? — не понял Володя, с трудом отрываясь от книги.

— Да вот! Ты картины стал покупать?

— Это не картины, а копия с полотна Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпиуса»...

— А-а! — кивнула Аглая.— Но зачем тебе, дурачок, «Урок анатомии»?

— А затем мне, Аглая Петровна, «Урок анатомии», что я буду врачом,— сильно потягиваясь и сладко зевая, произнес Володя.— Таково мое решение.

— Еще добавь «на сегодняшний день»,— посоветовала тетка.— В твоем возрасте решения меняются довольно часто. Я очень хорошо помню, как ты собирался пойти в летчики, а потом в сыщики.

Володя молчал и улыбался: да, действительно, кажется, что-то такое было.

— Тульпиус этот был хорошим доктором? — спросила Аглая.

— Он — голландец,— вглядываясь в порыжевшую от времени копию, сказал Володя,— Ван Тульп. Был доктором бедняков, профессором анатомии в Амстердаме. На портретах его обычно изображают со свечой и девизом врача. Теперь этот девиз вошел в поговорку: «Светя другим, сгораю сам».

— Красиво! — вздохнула Аглая.— Подумай, какие ты вещи узнал. И книг понатаскал полный закуток...

Она открыла анатомический атлас, который Володя взял в библиотеке, и съежилась:

— Страхи какие! Пойдем чай пить, поздно. Пойдем, будущий Тульпиус...

К зимним каникулам Володя Устименко, ученик девятого «А» класса, нахватал столько дурных отметок, что даже сам удивился. Надо было с кем-то поговорить. Сердито шагая по скрипящему снегу, он отправился на улицу Пролетариев к Варваре. «Светя другим, сгораю сам,— растерянно думал он.— Светя другим...» Удивительно глупо привязалась вдруг эта фраза.

— А ее дома нет, она на репетиции,— сообщил Евгений, Варин сводный брат, круглолицый, немножко томный, с сеткой на голове (Евгений очень занимался своей наружностью и любил, чтобы волосы лежали гладко,— для этого он устраивал всякие сложные фокусы). Женя читал физику, уютно устроившись на диване.

В доме приторно пахло ванильным печеньем, в соседней комнате мадам Лис — приятельница Женькиной мамы, Валентины Андреевны,— играла на пианино, и оттуда доносились голоса: усталый — Валентины Андреевны, басовитый — Додика, известного мотоциклиста, автомобилиста и теннисиста, а кроме того, еще главного спортивного судьи в городе и области.

— Автомобиль не хочешь приобрести? — спросил Женька.— Додик продает. Испано-Сюиза 1914 года, на ходу. Он уже два продал, а новый купил. Вот ходок, ну прямо молодец. Завидую товарищу.

Володя молчал.

— Живешь как собака,— сказал Женька тягучим голосом.— Зубрим-зубрим, а какой толк? Впрочем, заниматься надо,— произнес он другим, бодро-деловым тоном.— Что я и делаю. А про тебя ходят слухи, что ты вообще совершенно не работаешь над собой?

— Не работаю! — равнодушно сознался Володя.

— Вот видишь! Это же нехорошо! Что касается меня, то мне вообще некоторые дисциплины даются с большим трудом, колоссальным напряжением. И учти притом — у меня был туберкулез.

— Туберкулезный, как же! — усмехнулся Устименко, глядя на розового Евгения.

— Внешность тут крайне обманчива,— обиженно ответил Женя.— Вообще, туберкулез не надо понимать...

«Вообще» было любимым словцом у Евгения. Его так и звали — «Вообще». Он долго рассказывал о туберкулезе и о том, как его едва спасли от этой страшной болезни, буквально выходили, применив все средства — вплоть до алоэ и меда с салом.

— Материнская любовь способна сдвинуть горы! — произнес Евгений патетически. Он иногда любил ввернуть такую фразочку, но Володя длинно зевнул, и Евгений перестал рассказывать о туберкулезе. Теперь он принялся осуждать Володю:

— И от коллектива ты оторвался,— говорил он доброжелательным тоном,— и вообще есть в тебе эта замкнутость. Нехорошо. Нужны комсольский задор, бодрость, жизнерадостность! Не следует забывать, что учимся мы с тобой не в буржуазном колледже, а в нашей, советской, хорошей трудовой школе.

— Откуда ты знаешь, что моя школа — хорошая? — спросил Володя.

— Все наши школы вообще лучше буржуазных колледжей.— Он неожиданно подмигнул Володе.— Парируй!

Устименко не нашелся и не смог парировать, а Евгений продолжал:

— Если трудности — коллектив школьников и педагогов помогут. Разве у вас не сплоченный коллектив? Сплоченный. Вот он и поможет. У вас же Вовка Сухаревич, твой тезка,— болван, разумеется, но полный благих порывов. Я про него слышал, что он вечно подтягивает отстающих. Попроси — он подтянет...

В соседней комнате сочно засмеялся Додик. Женька поднялся, шлепая туфлями, плотно прикрыл дверь и с озабоченным лицом сказал:

— Прямо не знаю, как и быть? Днюет и ночует здесь товарищ автомобильный и мотоциклетный спекулянт. И что моя мамуля в нем нашла? Ой, приедет гроза морей — будет веселый разговор...

Володя тупо моргал. «Гроза морей» — так, очевидно, Евгений называл своего отчима? От бессонных ночей, проведенных за книгами, не имеющими никакого отношения к школьной программе, у Володи болел затылок и казалось, что в глаза попал песок.

— А почему будет веселый разговор? — спросил Володя.

— Не догадываешься?

— Нет.

— Полагаю, что мужьям противны такие вот ситуации!

И Евгений кивнул на дверь, за которой теперь хохотала мадам Лис. Но Володя опять ничего не понял.

— Ладно,— сказал он,— но все-таки что же делать?

— Вообще-то надо тебе взять себя в руки,— порекомендовал Женя.— Если по-дружески, как мужчина мужчине, то ты, разумеется, способнее меня, но разбрасываешься, дружок. Конечно, скукотища, но школу надо кончать. Сегодня папахен есть, а завтра остаемся один на один с судьбой. Не в грузчики же идти...

И, швырнув физику на диван, Евгений стал поучать Володю. Как всегда, он был очень доброжелателен, но от Женькиных поучений у Володи было такое чувство,

будто он объелся тянучек. Конечно, Евгений был прав, но как-то не так, как-то вбок и как-то бесстыдно прав. Глядя прямо перед собою своими прозрачными глазами, Евгений говорил врастяжечку:

— Например, кружок. Дело твое, но ведь школе приятно, чтобы у нее были хороший драматический кружок и художественные постановки. На педагогических советах с этим считаются. Или стенная газета. Я, например, уже второй год редактором. Нужно мне это, как собаке здрасте, но *им* это нужно. Тебе кажется — на это уходит много времени? Но я прикинул: все педагоги знают про мое редакторство и не могут не считаться с моими вообще общественными нагрузками. Да и люди же педагоги. Прочитают что-то лестное про себя, благодарность или тепленькие слова. Вот ты увлечен естественными науками. Прекрасно. Такие вещи школа любит, но в рамках, дорогой мой друг, в рамках, в школьных же рамках. Нужно сколотить актив и пойти к педагогу. Так и так, черт Иванович, вот мы, ребята, убедительно просим вас руководить естественным кружком. Вы и только вы... Понятно?

Евгений вынул из ящика тумбы папиросу, закурил и потянулся.

— Ясно?

— А ты не дурак,— сказал Володя.

— На том стоим! — вздохнул Евгений. И осведомился: — Будешь Варвару ждать?

Володя угрюмо отправился домой. И еще долго на улице ему казалось, что пахнет ванильным печеньем, и слышался тягучий Женькин голос. На углу, у памятника Радищеву, он встретил Варвару. Она шла со своими мальчишками и помахала ему рукой. В сухом морозном воздухе было слышно, как петушился Севка Шапиро — их главный режиссер:

— Я поддерживаю принципы биомеханики и целиком восстаю против доктрины Станиславского. При всем моем уважении..

«Дурачки!» — по-стариковски подумал Володя. И удивился: еще так недавно все это было ему самому интересно.

«Ба-ам!» — тягуче ухнуло высоко в небе. Это звонили в соборе, сегодня ведь была суббота.— «Ба-ам!»

Долой, долой монахов,
Долой, долой попов!

Мы на небо полезем,
Разгоним всех богов...

Навстречу шли ребята из школьного антирелигиозного кружка. Володя остановился и сказал Гале Анохиной — председательнице:

— «Разгоним, разгоним»! Чего стоит такая пропаганда? Вы бы послушали доклад об инквизиции...

Кружковцы плотно окружили Галю и Володю. Им было очень весело и вовсе не хотелось слушать грустное про Джордано Бруно, или про Бруно Ноланеца, как назвал великого человека Устименко. И про Мигеля Сервета им не хотелось нынче знать; его сожгли дважды: сначала — куклу, а потом — самого, заживо, вместе с книгами, которые он сочинил. И отца кафедры анатомии Андреа Везалия они тоже уничтожили, эти проклятые инквизиторы. Отправили поклониться святым местам, судно же, на котором плыл Везалий, потонуло.

— Вредительство, конечно! — сказал Володин товарищ Губин.— Специально было подстроено.

— А Галилей сдрейфил,— продолжал Володя,— испугался. Положил руку на ихнее Евангелие и сделал заявление, что склоняет колени перед преподобным генералом инквизиции и клянется в будущем верить всему тому, что признает верным и чему учит церковь. Правда, он уже старичок был...

«Ба-ам!» — неслось с колокольни.— «Ба-ам, ба-ам!»

— Ну ладно, пойдем, ребята! — сказала Галя.— А кстати, Устименко, тебе бы не мешало самому сделать такой докладик...

И они ушли все вместе, немного смущенные Володиной ученостью, сердитым блеском глаз и худобой.

— Учит, учит,— недовольно сказала Анохина.— Учитель какой выискался.

— Ты не говори,— возразил Борька Губин.— Он действительно товарищ и мыслящий и читающий.

Отец приехал

Уже в передней, не зажигая света, по одному только запаху табака и кожи он понял, что приехал отец. Не сняв пальто, с воплем Володя бросился в его комнату.

Афанасий Петрович сидел у стола в своей характерной позе — очень прямо — и читал газету. Он был в хорошо отутюженной, щегольски пригнанной гимнастерке с летными петлицами, и на рукаве его золотом отливали шевроны; ремень висел на спинке стула, и это означало, что отец совсем дома и никуда нынче не собирается. Они поздоровались за руку, как всегда; отец слегка прищурился и притянул к себе Володю. Поцеловаться им не удалось, они это не умели делать, но Афанасий Петрович слегка потискал сына и велел ему снять пальто и садиться ужинать. Тетка Аглая внесла из кухни сибирские пироги с рыбой. Глаза ее смеялись от радости, щеки так и пылали. Она без памяти любила брата, гордилась им и его приезды всегда превращала в праздники.

— Докладывай! — велел отец, выпив рюмку холодной водки.

Володя доложил, не солгав ни слова. Афанасий Петрович крупными руками держал кусок пирога и не отрываясь смотрел на сына.

— Врет он все! — воскликнула Аглая.— Не может этого ничего быть. Так учился, чуть не первый в школе...

— Причины? — спросил отец, пропустив мимо ушей восклицание сестры.

— Это после! — сказал Володя.— Но, коротко говоря, дело в том, что я твердо решил быть ученым.

Афанасий Петрович даже не позволил себе улыбнуться.

— Целые ночи занимается,— опять заговорила тетка,— книг натащил что-то ужасное, а теперь такой подарок... Врет, все врет!..

Попозже, когда истомленная своим гостеприимством тетка Аглая уснула, оба Устименки сидели рядом, и Володя слушал отца.

— Мне судить трудно,— говорил Афанасий Петрович, попыхивая папиросой.— Я человек неученый, я — военный летчик, но предполагаю, что всякая наука должна иметь под собою фундамент. Вот, допустим, наше занятие, воздух. Казалось бы — ручку на себя, ручку от себя,— все просто. Но однако же...

Они сидели рядом, и Володя не видел, куда смотрит отец, но чувствовал его серьезный, строгий и спокойный взгляд, как чувствовал своим худым, еще мальчишеским плечом его могучие мускулы. И испытывал спокойное и

полное счастье. Этот человек с жестким профилем, с морщинами на обветренном лице, этот смелый и мужественный летчик — был его, Володиным, отцом, и разговаривать с ним на равных, задумчиво подбирать нужные слова — какое это было ни с чем не сравнимое ощущение!

— Однако же простота эта, сын, не так уж и проста,— задумчиво продолжал Афанасий Петрович.— Конечно, чтобы делать только не хуже другого, особенно ничего не требуется; а чтобы на шаг, на пару шагов авиацию вперед рвануть, для этого бо-огатый фундамент нужен: рывком, нахрапом, нахальством — ничего не добьешься. Это ты мне поверь, я человек пожилой, а ты только-только на жизненную дорогу собираешься вступать...

Потом, уже к ночи, они перебрались в Володин закуток, и здесь, среди разбросанных книг, журналов, конспектов, под Рембрандтовым «Уроком анатомии», сын стал рассказывать отцу, что такое естественные науки. Афанасий Петрович сидел на Володиной койке, зорко и жестко всматривался в Володино осунувшееся и румяное лицо и слушал его горячечные рассуждения о том, как шагает медицина, что такое подлинный новатор, какими путями идут поиски искусственного белка, как станут оперировать человеческое сердце...

— Ну, это ты, дружок, поднаврал,— сказал Афанасий Петрович.— Операции на сердце — это перебор...

— Перебор? — завизжал Володя.— Перебор? Ты извини, отец, но твои слова напоминают мне тех людей, которые смеялись над русским доктором Филипповым, который еще в восьмидесятых годах прошлого века накладывал швы на сердце животных. А немец Рен в девяносто шестом году наложил шов на рану сердца, и больной остался жив. Консерваторы в науке...

— Ну-ну,— примирительно заворчал отец,— ну-ну, новатор, давай круши дальше. И головы пришивать станете обратно?

— Не смешно! — обиделся Володя.— Кстати, ты летчик, а мечты о летающем человеке...

— Ладно, ладно,—перебил Афанасий Петрович,— все понятно, только вот войны...

— Что войны? — не понял Володя.

— Ты газеты-то читаешь?

— Читаю. Не совсем, правда, регулярно...

— Надо совсем регулярно. И понимать надо, кто такие Гитлер, Геббельс, Гиммлер и эта свинья, которая себя летчиком называет,— Геринг. А также Крупп фон Болен. К нам комиссар один наведывался, большого ума человек. Глубокий дал анализ,— конечно, не для болтовни — специально для нашего брата, для военных. Так вот, сынуха, заварится каша, подзадержит, боюсь, все эти искусственные белки...

— Подзадержит? — грустно спросил Володя.

— Обязательно. Кабы не империалисты всех стран, оно, конечно, сильно наука рванулась бы вперед.

Он расстегнул ворот гимнастерки, задумался на мгновение, потом с усмешкой — грустной и чуть-чуть сконфуженной — произнес:

— На подъем наш род поднимается. Дед твой ломовым извозчиком на Харьковщине был, я, вишь, вояка, летчик, полком командую, а сын мой искусственный белок станет варить, ученый. Не живая твоя мама — порадовалась бы. Ну, давай валяй, еще рассказывай...

После полуночи Володя совсем заврался. Мечты он выдавал за будни науки, далекое будущее, очень далекое казалось ему реальностью. Отец вздыхал, но глаза его смотрели весело.

— Есть у нас один такой, военинженер Пронин,— вдруг перебил Афанасий Петрович.— Хороший мужик, знающий, но только его слишком долго слушать — опасно...

— Почему? — спросил Володя.

— А потому, что под ноги не глядит. Только вперед. А на тропочке и кочка случиться может, и еще что-либо... вступишь — обтирать сапоги надо. Ложись, сын, спать.

И, заметив, что Володя огорчился, добавил:

— Все ж вдаль лучше смотреть, чем только под ноги. Но и под ноги надо.

Утром Володя обнаружил деньги, оставленные отцом, и записку насчет того, чтобы он покупал себе книги не стесняясь, и все, что понадобится для «скорейшего, сын, изготовления искусственного белка». Подпись была официальная «А. Устименко», потом приписка: «Все ж, покуда суд да дело, учись, как положено трудовому гражданину. Крепко надеюсь».

Скелеты не продаются

Денег было порядочно — пачка тридцаток и еще две пачки мелкими купюрами,— ну в общем целое богатство, и Володя решил немедленно купить себе предмет, о котором он давно и восторженно мечтал...

Магазин учебных пособий, недавно открытый, был невдалеке от городского рынка, возле катка. Здесь у лотка с пирожками Устименко встретил Варю. Она ела два пирожка вместе, крепко сдавив их пальцами,— один с мясом, другой с капустой. На руке у нее висели коньки. Было слышно, как за высоким забором катка играет духовой оркестр.

— Хочешь пирожка? — спросила Варя таким голосом, как будто они виделись вчера.— Вкусные! Я жареные люблю больше, чем печеные, особенно если есть пару вместе...

Крупные, тяжелые хлопья снега падали на Варину шапочку, на пирожки, на рукав пальто.

— Опять потечет каток,— верно, Владимир? Что за зима такая ужасная.

И удивилась:

— Худущий какой!

«Дум-дум-дум»,— хлопали за забором литавры,— «дум-дум-дум».

— Ты уже откаталась? — спросил Володя.

— Откаталась! — на всякий случай соврала Варя. «Ох, как я все-таки в него влюблена! — с бьющимся сердцем думала она.— Даже некрасиво».

— Пойдем скелет покупать.

— Чего-чего?

— Человеческий скелет! — произнес Володя.— В магазин учебных пособий. Там в витрине есть. Я видел.

— Для школы?

— Для какой для школы? — рассердился Володя.— Для себя лично.

— Для тебя? — показала на него пальцем Варя.

И они пошли. Но в магазине учебных пособий все оказалось совсем иначе, чем Володя предполагал. Лысый, очень неприятный человек с полным ртом золотых зубов сказал Володе, что скелеты человеческие и животные продаются лишь учебным заведениям и только по предварительным заявкам, по безналичному расчету.

Частным же лицам никакие скелеты проданы быть не могут.

— А если он ученый! — сказала Варя, кивнув на Володю. Она никогда не лезла за словом в карман.

— Ученые приобретают через научные учреждения.

— А если он не состоит в научном учреждении?

— Тогда он приравнивается к частному лицу! — сверкнув золотыми зубами, сказал продавец.

— Что ж, мы спекулировать вашим скелетом будем? — рассердилась Варя.— Человеку нужно, человек посвятил себя науке...

Володя вышел: ему было стыдно. Вечно она устраивает скандалы — эта Варвара. Но ее все не было и не было. Минут через двадцать он вернулся в магазин: Варя писала в жалобную книгу своим крупным, еще детским почерком. Володя заглянул через ее плечо и прочитал: «Отказ продажи скелетов не по безналичному расчету можно назвать головотяпством...»

— Варя! — прошептал он.

— Перестань разводить интеллигентщину! — огрызнулась она.

— Но это же смешно!

«Головотяпством или чем-либо худчим...» — писала Варвара.

— Худшим,— шепотом поправил Володя.

— Догадаются!— сказала Варвара.— И уйди, Устименко, дай мне довести это дело до логического конца!

Щеки ее горели. И милый косенький локон висел возле уха, возле маленького уха с голубой сережкой в мочке.

Так со скелетом ничего и не вышло. Зато в магазине старой книги, что на площади имени Десятого октября, возле собора, Володя купил анатомический атлас издания девятисотого года, недорогой и довольно чистенький. Варвара шла рядом, позванивая коньками, в шапочке набекрень, красная, и говорила о том, как много еще бюрократизма и как беспощадно следует бороться с этими проклятыми пережитками прошлого.

— Родион Мефодиевич пишет? — спросил Володя.

— В воскресенье письмо было,— ответила Варвара и с бюрократизма перескочила на сообщение о том, что, возможно, у нее будут два билета на спектакль Художественного театра «Дядя Ваня».— Они уже приехали,— говорила Варвара,— остановились все в Москов-

ской гостинице. Зинка Крюкова двоих видела. Кого точно — не поняла, но, может быть, товарища Качалова и товарища Ливанова. Оба в шубах. Ты опять о чем-то думаешь?

— Все-таки в вашем увлечении театром есть нечто психопатическое,— сказал Володя.— Да и если говорить серьезно, Варвара, кому нужно это искусство? Бестолочь, трата времени, бессмысленное расходование нервных клеток, чистейший идиотизм.

Они опять немножко поссорились, но все-таки не совсем. В это воскресенье Варвара увидела в Володе то, чего еще не понимали в нем взрослые, умные, образованые люди: она поняла Володину незаурядность. И с радостным изумлением вошла в его закуток, в котором не была столько времени, села на колченогий стул и, слегка раскрыв рот, стала слушать Володины мысли о Пастере и Кохе, о Павлове и Мечникове, о Пирогове и Захарьине, о возможности борьбы со злокачественными опухолями и, конечно же, об искусственном белке. Обедать она осталась тоже у Володи и за супом сказала:

— Знаешь, Володька, я укачалась.

— Это как? — спросил он.

— Ты ведь часа три рассказываешь — без передышки.

— Ага! — не без злорадства заметила тетка Аглая.— Тебе хорошо, а мне каково? Приедешь с работы, голова, как котел, усталая, замученная, а он про свои бактерии.

На «Дядю Ваню» Володя все-таки пошел. Гастроли Художественного театра до того взбудоражили весь город, что к зданию нового Дома культуры невозможно было протолкаться. Люди с искаженными лицами, хриплыми голосами уже на Коммунистической просили лишний билет. Особенно жалко было какого-то пожилого военного, который в отчаянии сказал, что «просит» не для себя, а для дочки.

— Массовый психоз! — сказал Володя.— Об этом кое-что написано у знаменитого Крепелина.

Варвара терпеливо вздохнула. «Крепелин так Крепелин».

Билеты у них были хорошие — первый ряд балкона. Володя купил программку, не читая отдал ее Варе и с видом превосходства стал оглядывать партер и битком набитые ложи.

Но вот с едва слышным шуршанием раздвинулся занавес, и началось чудо. Какое, казалось, было дело сыну летчика Устименки до всего того, что происходило с Соней, с дядей Ваней, с доктором Астровым и другими людьми, пришедшими из другого времени, из мира, который не знали ни Варя, ни Володя, ни их отцы, ни даже их деды? И чего только не делал Володя, чтобы не осрамиться перед Варварой! Он и считал до десяти, и до боли сжимал зубы, и старался думать о постороннем — проклятые, глупые, бессмысленные слезы капали и капали с его носа, и одна даже упала на Варину руку, когда та потянулась за программой. А в последнем акте Володя совсем развалился: он и не считал больше, и не скрипел зубами, он весь подался вперед и зло глядел на человеческие страдания, давая себе какие-то клятвы, стискивая потные ладони и смахивая все время вскипающие слезы...

Уже все совсем кончалось, когда рядом тихо взвизгнула и стала что-то пришептывать обморочным голосом пожилая женщина в шуршащем шелковом платье. Володя цыкнул на нее, но она не успокоилась и начала подниматься. На нее зашикали, она взвизгнула. К счастью, спектакль кончился. Сквозь пелену слез Володя увидел зеленое лицо своей соседки, ее перекошенный рот, готовый к пронзительному, на весь зал воплю.

— Мыши! Мыши! Мыши! — шуршала другая женщина — в зеленом.

— И что особенного! — сказал Володя, снимая с колен соседки свою ручную белую мышь.— И что страшного? Я ее нынче почти что и не кормил. Соскучилась, вылезла.

Все-таки его препроводили в пикет милиции. Искусство не размягчило сердца Володиных соседей по первому ряду балкона Дома культуры. Поревев на «Дяде Ване», они железными голосами талдычили пожилому милиционеру насчет злонамеренного хулиганства со стороны этого юноши. А милиционер писал протокол. Варя сидела в углу комнаты на стуле и подмигивала Володе. Ей казалось, что она в чем-то виновата.

Когда жалобщики ушли, милиционер спросил:

— А где ваш мышь?

— Вот! — сказал Володя.

— Ишь! Белый! — удивился милиционер.

— У меня их много,— сообщил Володя.— Для опытов. Но, знаете, привык, жалко. Они умные, а эта ручная. Возьмите-ка!

Милиционер подержал мышь на своей бурой ладони, поинтересовался, чем Володя кормит их — своих мышей, и отпустил с миром.

— Спасибо, товарищ начальник! — сказала Варвара.— А то, знаете, все настроение сорвалось. Такой спектакль впечатляющий — и вот, здравствуйте, берут и ведут в милицию.

Пока Варвара говорила, усатый милиционер всматривался в нее твердым и неласковым взглядом, потом спросил:

— Отчего это, девушка, ваша личность мне как будто знакомая?

— А драка была, помните? — сказала Варя.

— Я все драки не могу запомнить,— сказал милиционер.— У меня должность такая...

— Ну, на катке на вашем была драка вчера. Только вчера. Не могли вы вчерашнюю драку забыть.

И она, слегка зардевшись, рассказала, как давеча на катке подрались мальчишки, как их никто не попытался разнять, а она сунулась, и ей тоже попало. Но она не испугалась, а полезла еще и начала визжать, на ее крики подоспела помощь...

— Так-так,— служебным голосом произнес милиционер.— Степанова вам фамилия. Степанова Варвара. Ну что ж, идите...

На улице Варвара заговорила о театре. По ее мнению, песенка Московского Художественного театра была уже спета. Но и Всеволод Мейерхольд сдавал кое-какие позиции. Например, «Дама с камелиями» вовсе не то, чем был «Последний решительный».

— А разве ты эти постановки видела? — спросил Устименко.

— Не видела, но читала о них! — воскликнула Варвара. — Я же слежу по журналам и все рецензии читаю. И мы многое в нашей студии обсуждаем...

Странный это был вечер. Ни в чем они не были согласны друг с другом и все-таки никак не могли расстаться. Гуляли, сидели на скамейке, мерзли и все время чувствовали, что им просто невозможно друг без друга. А почему? Они не знали этого...

Человек все может

И все-таки Устименко Владимир перешел в десятый класс. На педсовете много говорили о нем, особенно был обижен Смородин. Старик чувствовал себя преданным: «Подумайте!» — восклицал он.— Вы только представьте себе! Этот юнец задал мне вопрос: а зачем вообще нужна художественная литература? Она размагничивает! И целая теория насчет «Дяди Вани», которого он изволил посмотреть!»

Другие педагоги тоже говорили о Володе оскорбленными голосами. Он мог быть гордостью школы, а докатился до посредственных отметок, и главное — это безразличие в нем. Откуда?

Старенькая Анна Филипповна возразила: не так уж плох Устименко Владимир, есть у него много плюсов, нельзя огульно отрицать все достоинства мальчика. Но в целом (Анна Филипповна с опаской взглянула на раздраженного завуча Татьяну Ефимовну), в целом Устименко действительно разболтался, крайне развинтился, нужно принимать срочные меры...

— Болтают, что он увлечен естественными науками,— сказал физик Егор Адамович, которого школьники называли Адам,— но это, на мой взгляд, вздор. Если юноша действительно увлечен наукой, то не станет он прыгать из окна класса да еще подбивать других своих товарищей к этому хулиганскому поступку. Прошу вдуматься: с криком «Чапаевцы, за мной!» великовозрастный дурак вскакивает на подоконник.

Завуч Татьяна Ефимовна постучала карандашом по столу. Ей не хотелось заострять внимание педсовета на истории с окном, потому что ее сын Федя тоже прыгал, и она, подумав о постоянной бестактности Адама, немножко заступилась за Володю:

— Мальчик растет без матери и, в сущности, без отца,— сказала она.—Его тетка — ответственный товарищ, тоже не всегда может присмотреть за Устименко Владимиром. Я, разумеется, как преподавательница математики тоже не удовлетворена им...

В каждом из педагогов говорила обиженная гордость. И никто не подумал, как это частенько бывает с учителями, о том, что Володя находится в какой-то крайности, что он запутался, но не так, как запутываются тупые

лодыри, а именно так, как это случается с одаренными натурами.

Было решено побеседовать с товарищем Устименкой Афанасием Петровичем, а буде он в отъезде —с товарищем Устименко Аглаей Петровной.

Утром Аглая Петровна пришла в школу. Суровая Татьяна Ефимовна приняла Володину тетку сухо. В окна кабинета завуча барабанил дождь, по булыжникам мостовой скучно грохотали телеги, завуч говорила в нос и сморкалась: у нее был грипп, который она называла по-старому «инфлюэнца».

— Не отрицаю,— слышала Аглая Петровна,— Устименко Владимир не лишен способностей. Тем хуже для него. Допустим, он увлечен своими естественными науками. Прекрасно! Но не он один... сейчас тысячи и тысячи юных граждан нашей необъятной родины строят радиоприемники или авиамодели, но тем не менее они продолжают серьезнейшим образом работать над собой...

Тетка Аглая вдруг зевнула. Завуч заметила и рассердилась:

— Разумеется, вы сами тоже работаете в системе народного образования, но недавно, очень недавно. А рабкрин, где вы работали раньше, имеет свои особенности, так же, впрочем, как и шакаэм, которыми вы командуете нынче...

— Это — так,— равнодушно согласилась Аглая Петровна,—но ведь и шакаэм, школы крестьянской молодежи,— тоже советские школы...

— И у нас не царская гимназия, не духовная семинария, у нас именно советская школа...

— Ах, да знаю я это! — воскликнула тетка Аглая.— И давайте не будем терять время на общие слова. Вы срочно, безотлагательно даже вызвали меня, насколько я понимаю...

— Я вызвала вас,—уже совсем закипела Татьяна Ефимовна,— для того, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: если ваш племянник не возьмется за себя и, простите, вы за него, если Устименку Владимира не начнет всерьез волновать честь школы, если он не поймет, что мы воспитываем не индивидуальных гениев...

— Татьяна Ефимовна,— перебила завуча тетка Аглая,— вы ведь вызвали меня не для этого. Володя

мне сам сказал — дело в ином. Если я не ошибаюсь, мальчишки прыгали в окно после физики и...

Завуч потупилась: она не знала, что Устименко сам обо всем расскажет своей тетке. А тут еще Федя...

— Прыжки в окно — это шалость,— заговорила она, стараясь не нервничать.— Скверная, гадкая, но шалость. А вот что касается до беседы по поводу зачинщика этой шалости... Видите ли, Аглая Петровна. Ваш племянник в весьма категорической и даже грубой форме отказался назвать зачинщика.

— Что в грубой — плохо, а что он не доносчик — хорошо,— глядя прямо в глаза завучу, сказала Аглая Петровна.— На человека, который в школе ябедничает, по-моему, в бою положиться немыслимо.

— Вот как?

— Да, вот как! — жестко произнесла тетка Аглая.— Впрочем, на этот счет существуют разные мнения. И это чрезвычайно жалко.

Она поднялась, плотная, розовощекая, с насмешливым взглядом черных узких глаз.

— Значит, откровенная беседа с учителем...— начала было Татьяна Ефимовна, но тетка Аглая прервала ее:

— Откровенная — это одно, а донос — другое. Донос, ябеда, наушничество всегда отвратительны. Вам следует добиваться того, чтобы ваши школьники резали в глаза друг другу правду, а не сообщали бы вот тут, в вашем кабинете, некие сведения только вам... До свидания!

Татьяна Ефимовна не ответила, а тетка Аглая подумала: «Ох, и умею же я наживать врагов!»

И на улице вспылила: «Тоже, заведует учебной частью! Крыса!»

Володя сидел дома, пил молоко и читал о щитовидной железе. Он даже забыл о том, что тетку вызвали в школу. В глазах у него было выражение восторга.

— Понимаешь, тетя Аглая,— сказал он,— щитовидная железа — это потрясающая штука. Вот ты послушай! Нет, это удивительно...

Возле румяных губ у него были молочные усы, глаза мягко и радостно светились, весь он был какой-то еще лопоухий, длиннорукий, незавершенный. Аглая подошла к нему, наклонила его к себе и поцеловала в нестрижен-

ную шею. Раза два в год она позволяла себе такие нежности.

— Чтобы в следующем году этого не было! — сказала Аглая как можно строже.— Слышишь, Володька?

— Чего этого? — рассеянно спросил он.

— Ну вот с прыжками в окно, с отвратительными отметками. Не будет?

— Не будет,— так же рассеянно сказал Володя.— Да ты про щитовидную не слушаешь...

— Нет, слушаю. Впрочем, плохо слушаю, мне же на работу нужно идти, меня люди ждут...

— Ну, иди! — разрешил Володя.

Аглая грустно усмехнулась:

— Позволил. А нет того, чтобы спросить — какие люди, что у тебя нового, тетка Аглая, почему ты нынче невеселая, а вчера была веселая,— этого от тебя не дождешься. Вот влюблюсь на старости лет, выйду замуж и брошу тебя одного...

«Что это с ней?» — на секунду удивился Володя и тотчас же забыл обо всем, оставшись со своими книгами и размышлениями о прочитанном.

Было уже совсем лето, ветер разогнал тучи, за окном о чем-то веселом и тайном перешептывались клены. Опять куда-то провалился кусок времени. Разогревать еду не было желания. Володя поел хлеба и попил какого-то полупрокисшего молока. Потом он заметил, что начало смеркаться,— пришлось зажечь лампу. Погодя пришел озабоченный Женька Степанов, повозился с белыми мышами, покачался в сломанной качалке и пожаловался:

— Старик, я горю.

— В каком смысле?

— В том, что папахен изволил прислать письмо: рекомендует мне идти в военно-морское училище.

— Родион Мефодиевич?

— Он.

— Ну и иди.

— Так это же трудно.

Володя пожал плечами.

— В письме даже стихи есть,— сказал Женька и вытащил из кармана измятый конверт.— «Гроза морей» если разойдется — всё!

И, пошуршав листочком, Евгений прочитал:

Врагам не прощали вы кровь и обиды
И знамя борьбы поднимали не раз,
Балтийские воды и берег Тавриды
Готовят потомкам пленительный сказ...

— Ну? — спросил Устименко.

— А я не хочу никакого пленительного сказа,— с ясной улыбкой ответил Евгений.— Раскумекал?

Он аккуратно спрятал конверт, вздохнул и добавил:

— Какое знамя борьбы? Слава богу, революция свершилась, чего еще ему нужно!

Ох, ушел бы Женька! И что это за манера таскаться по гостям. Неужели так скучно самому с собой? Но он не уходил. Он качался и жаловался:

— Понимаешь, у меня нет интересов. Я еще не нашел сам себя...

— Найдешь!

— Что я найду...

— Ты же чего-то не нашел. Вот и я говорю — найдешь...

Женька ненадолго обиделся.

— Я пришел как к другу,— сказал он,— а ты даже не слушаешь: я сам себя не нашел.

— А-а! — протянул Володя и стал словно бы молиться про себя: «Уйди, уйди, ну, Женечка, уйди».

Но Евгений не уходил: ему и некуда было идти. Он уже развлекал себя нынче чем мог: дважды был в кино, посмотрел на приведенную в зоосад жирафу, поел мороженого, пострелял в тире.

— А Варька говорила, что ты собрался стать великим человеком,— сказал Евгений.— Это верно?

— То есть как это? — удивился Володя.

— В ученые лезешь?

— Да ты в уме? Как это так — лезешь! Мне же интересно!

— Интере-есно! — протянул Женька.— Что же тут интересного? Этому потом учат, наверное, в мединституте, учат и выучивают...

Но вдруг глаза его блеснули, и он спросил:

— А что, если на медицинский податься? Как ты думаешь? Там ведь тоже специализация, ну, хирургия, терапия, педиатрия, но есть же и врачи-администраторы?

— То есть как? — не понял Володя.

— Ведь не обязательно же все делать самому — крошить трупы, копаться во внутренностях, лечить, смотреть в микроскоп. Ведь, вообще, должен же кто-то руководить...

— Наверное, и руководят — опытные доктора, профессора! — сказал Володя.— Кому же еще руководить, как не тем, кто больше знает?

— Ты думаешь? — недоверчиво сказал Женя.

Почесал за ухом, помолчал, потом согласился:

— Пожалуй, верно. Мамаше аппендицит вырезал профессор Жовтяк, самый у нас знаменитый. Он и сейчас, бывает, заходит. Так вот рассказывал: врач — это еще пустяки. Главное дальше — степени защищать, или диссертации, не помню точно. Будто кандидатскую защитить — это значит железнодорожный билет повсюду в жестком вагоне, а докторскую — повсюду в мягком курьерском. Вообще, трудновато. Но почему, с другой стороны, не прорваться? Товарищ Жовтяк ничего собой особенного не представляет, а выскочил в большие люди. И начальник к тому же. Или он хороший профессор?

Евгений встал на свои короткие ноги, обдернул пиджак, сшитый у того же портного, который шил Додику, сделал строгое лицо и сказал громко:

— Доктор Степанов Евгений Родионович.

Помолчал и добавил:

— Или профессор Степанов. Потому что если идти во врачи, то не в простые, а в золотые. В профессора! Как советуешь?

В прозрачных Жениных глазах светились насмешливые огоньки, и Володя, как часто с ним бывало в присутствии Евгения, почувствовал себя дураком. Не то чтобы совсем дураком, но каким-то глуповатым.

Приехала с работы тетка Аглая и сразу же рассердилась:

— Какого, в самом деле, черта! Даже котлеты подогреть не умеет. И почему ты дома торчишь, несчастье мое?

Он виновато улыбнулся ей в ответ. Как она любила эту его улыбку, как он был дорог ей — этот мальчик, с того самого дня, когда трехмесячным он остался на ее руках. И вот уже человек.

— Длинношеее! — сказала она.— Вот ты кто! Очень много шеи.

Евгений тоже ел котлеты и лениво жаловался:

— Дома — кошмарики. Все делается, как хочет Додик, Варвара собирается покидать родные пенаты... скандал за скандалом...

— Не сплетничал бы ты! — попросила Аглая.

— Мое дело — сторона. Я с вами по-дружески делюсь,— вздохнул Евгений.— Поймите, Аглая Петровна, и мне не легко. Время решающее, нужно определять свой жизненный путь. Батька пишет суровые письма, полные воспитательных сентенций. Варвара поет «картошку» со своими комсомольцами и теперь уезжает на все лето пионервожатой, а тут — расхлебывай...

— Поезжай пионервожатым,— усмехнулась Аглая.

— Я-то?

— Ты-то!

— Нет, это не пройдет. У меня не Варькино здоровье, я других кровей...

— Да уж это известно,— вставая из-за стола, сказала Аглая,— вы у нас голубых кровей...

Женька не обиделся. Он умел неприятное пропускать мимо ушей. Да и ко всему тому, что говорила Аглая Петровна или его отчим, он всегда относился немного иронически, словно он был старше их.

— Кстати, насчет крови,— сказал Евгений.— Вот мы тут с Владимиром посовещались немного, и я, кажется, решил посвятить себя тоже медицине.

— Какая для нее радость! — усмехнулась Аглая.

— А что? Профессор Жовтяк бывает у мамы в гостях, я тоже его знаю, он имеет авторитет, в случае чего поможет...

— Послушай, Женечка, все это, между прочим, довольно противно! — внезапно вспыхнула Аглая Петровна.— Неужели ты сам не понимаешь?

Евгений даже всплеснул руками.

— Господи! — искренне сказал он.— Жизнь-то есть жизнь! Хорошо Володьке, если он такой дико талантливый, а каково мне? На одной ортодоксальности не проживешь, это всем понятно...

И стал объяснять, почему не может идти во флот:

— У меня наверняка морская болезнь. Я даже речную качку выносить не могу. И, вообще, море совершенно не моя стихия. Все эти буруны, валы, бури, штормы. Фатер в этом смысле идеалист. Посудите сами...

Наконец Евгений ушел, тетка Аглая, измучившись за день, легла спать, и Володю оставили в покое. Поздней ночью электрическая лампочка стала вдруг шипеть, перегорая, и Володя испугался, что останется в темноте и не дочитает главу, но лампочка пошипела и не погасла, а Володя читал, стискивая ладони, и, вскочив, начинал ходить по своему закутку, счастливо шепча:

— Как хорошо, как удивительно, как прекрасно! Все может разум, все!

«И тогда этот человек,— читал Володя,— этот одинокий искатель, вызывая бешеную ненависть одних и счастливый трепет восторга других, вырвал наконец медицину из оков традиций, которая, явившись одно время славой науки, становилась с течением лет ее позором!»

Лицо Устименки горело, озноб пробегал по спине. Теперь он куда больше понимал в таких темах — Устименко Владимир, о котором так неприязненно говорили на педсовете школы номер 29. Больше понимал, но еще далеко не все...

Было уже четыре часа, когда скрипнула дверь и сонная, с косами за плечами вошла тетка Аглая.

— Я тебя выгоню из дому! — сказала она.— Как ты смеешь превращать себя в калеку? Посмотри, на кого ты похож? Когда это все кончится?

— Никогда! — без улыбки ответил Володя.— Никогда, тетя Аглая! И ты не сердись. Давай лучше чего-нибудь поедим, меня просто тошнит от голода.

Молча он один съел яичницу из шести яиц, огромный ломоть хлеба с маслом, простоквашу и огляделся, ища еще еды.

— Хватит! — сказала тетка.— Лопнешь!

— Человек все может! — сказал он, продолжая думать о своем.

— Ты насчет еды? — с улыбкой спросила Аглая Петровна.

Он испуганно на нее взглянул.

Тиф

В феврале месяце 1919 года бывший матрос второй статьи с дредноута «Петропавловск» Родион Степанов был неожиданно для себя назначен помощником коменданта Петроградского железнодорожного узла, а через несколько дней — комендантом. До марта Родион Мефодиевич спал на столе в своем служебном кабинете, потом вдруг ужасно устал и, решив отоспаться, потребовал себе ордер на «какой-либо кубрик». Получив серую бумагу с неразборчивой подписью и слепой печатью, он отправился по указанному адресу на Фурштадтскую улицу, крепко матросским, татуированным кулаком постучал в дубовую дверь и, не глядя на женщину, которая открыла ему, прошел в большую, с венецианскими окнами, с тяжелыми портьерами и огромным сафьяновым диваном комнату.

Из имущества он принес с собой две нательные рубашки, очень хорошие, голландского полотна, выданные комендатуре по наряду, пайку сырого, тяжелого хлеба, шесть гаванских сигар, наган, желтый сахар-меляс полфунта и старый, армейского образца ранец.

Едва войдя в комнату, холодную и все-таки непривычно уютную после тех лет, которые пережил Родион Степанов, комендант узла сразу же повалился на диван и, слабо охнув, потерял сознание. То, что он принимал за усталость, было началом сыпняка — сыпного тифа.

Горничная господ Гоголевых Алевтина, Аля, как называл ее присяжный поверенный Борис Виссарионович Гоголев, оставшаяся после бегства своих хозяев с пятимесячным сыном, долго прислушивалась к сто-

нам «чертова комиссара», потом, испугавшись, что ежели что случится — спросят с нее, робко вошла в кабинет.

— Пить! — зарычал матрос.

Оказывается, он не стонал все это время — он просил «пить»!

Алевтина принесла воды и брезгливо (Гоголевы очень муштровали прислугу в смысле чистоплотности) подала матросу напиться из тоненькой, сервизной китайской чашки. Потом с Женечкой на руках взбежала этажом выше к проживавшему там очень модному петербургскому гинекологу фон Паппе. Густав Альфредович пил настоящий кофе и сначала наотрез отказался пользовать комиссара, но, поразмыслив, решил, что проклятая Алевтина может на него донести, и вошел в кабинет Гоголева.

— Тиф! — сказал он своим бабьим, тонким голосом.— Смотри, Алевтина, как бы он тут вшей не напустил, погубит и тебя и твоего Женьку.

Бывшая горничная смотрела на доктора грустно. На всякий случай, чтобы смягчить грубость своих слов, Густав Альфредович сделал Женьке козу и, пободав пальцами в воздухе, добавил:

— Чего только не приходится переносить народу-страдальцу!

В это мгновение взгляд доктора упал на сигары.

— Вот уж это я приберу,— сказал он торопливо.— Это комиссарам совершенно даже не нужно.

— Нужно! — донесся с дивана жесткий, хоть и слабый голос Степанова.— А вот тебя, буржуйская морда, не нужно!

И, обратившись к Алевтине, комиссар приказал:

— Гони его, дама, в шею!

Наверное, потому, что соображал Родион Мефодиевич слабо, он сказал еще несколько скоромных слов, от которых фон Паппе пришел в смятение и сбежал. Алевтина же была командирована комиссаром в комендатуру вокзала для того, чтобы дали ей там причитающийся паек, прислали «дельного доктора» и чтобы «помогли по-малости», как выразился Степанов. «Не помирать же, в самом деле, чего зря!»

— Нецелесообразно с точки зрения мировой революции,— сказал тихим, но в то же время твердым голо-

сом комиссар.— Так там и передайте, дама, дескать нецелесообразно. Соображаете?

Алевтина все не двигалась.

— Значит — саботаж? — спросил Степанов.— Учтите в мозгах: околею — с вас взыщут.

— Да я пойду,— ответила Алевтина,— только вы как здесь?

Комиссар усмехнулся и велел:

— Слушай стих про нашего брата!

Она, подавленная этим человеком, испуганно присела на край кресла, а он на память прочитал:

Герои, скитальцы морей, альбатросы,
Застольные гости громовых пиров,
Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песнь огневая рубиновых слов.

И спросил:

— Ясненько вам, дама?

Глаза у него смеялись.

Алевтина с ребенком на руках отправилась в дальний путь. Часа через два к комиссару прибыла целая делегация — все это были прокопченные, измученные, но странно веселые люди. И, несмотря на то, что все они говорили слова, от которых Алевтина отвыкла в доме Гоголевых, люди эти показались ей неожиданно близкими и очень славными, особенно пожилая женщина в косынке сестры милосердия, в морщинах, с грубыми, узловатыми мужицкими руками.

— Вдовеешь, что ли? — спросила она Алевтину.

Та опустила глаза.

— Ну, тогда и того горше,— сказала пожилая женщина.— Но только слезы, товарищ, не проливай. Теперь эти времена кончились, теперь всенародную поддержку ты будешь иметь...

Все здесь было странно, необычно, неожиданно: то, что раньше казалось таким постыдным и унизительным, имело вдруг всенародную поддержку, то, что старуха назвала Алевтину «товарищем», то, что люди, которых она про себя называла «хамами», а Гоголев «быдлом», были с ней вежливыми и даже пригласили ее вместе с ними «покушать» супа из конины с пшеном,— все это как-то мгновенно преобразило и изменило для Алевтины жизнь. Она стала ходить увереннее, боль-

ше не опускала глаз, не стыдилась того, что у нее нет и не было мужа.

Комиссар поправлялся быстро.

Алевтина открыла тайную кладовку, достала оттуда постельное белье, продала старинную фарфоровую люстру, купила продуктов, даже кусок сала, который в Петрограде называли шпиком. А когда Степанов уже очень зарос бородой, она, немного посомневавшись, достала из желтого, английской кожи, несессера сбежавшего хозяина семь великолепных бритв с обозначением на каждой дней недели: понедельник, вторник и так далее.

— Зачем же ему, дьяволу, семь бритв нужно было?— поразился Степанов.

— «Металл должен отдыхать!» — повторила Алевтина фразу Гоголева.— Поэтому для каждого дня своя бритва.

— Ну и сукины же дети! — весело выругался комиссар.

Бритву с надписью «воскресенье» он оставил себе, а остальные роздал своим товарищам.

— Вы права не имеете! — взвизгнула Алевтина.— Они не ваши, приедет Борис Виссарионович!

— А зачем ему приезжать? — спокойно возразил Степанов.

— Это его бритвы!

— Одну, верно, можно было для него и оставить, а семь много,— рассудил Родион Мефодиевич.— Сейчас, дамочка, это все принадлежит народу. И кудахтать не к чему.

— Все равно Борис Виссарионович вам задаст.

— А может, я ему задам?

И опять глаза у него смеялись.

Раздумывая о чем-то своем, он подолгу напевал:

Чуть дрожит вдоль коридора
Огонек сторожевой,
И звенит о шпору шпорой,
Жить скучая, часовой...

— Вы и в тюрьме содержались? — спросила однажды Алевтина.

— Нет, гражданка, в тюрьме содержаться не пришлось, разве что содержался я в тюрьме народов, именуемой Российская империя.

Алевтина не поняла, но на всякий случай сочувственно вздохнула. К Борису Виссарионовичу в свое время, бывало, наведывались какие-то бородатые, косматые, очень много говорившие господа, про которых супруга присяжного поверенного выражалась в том смысле, что они «мученики за народ». Потом, некоторое время, эти мученики ходили во френчах, в крагах, ездили в автомобилях и вместе с Гоголевым исчезли. Ничего нельзя было понять. Но все более и более долгими взглядами всматривалась Алевтина в своего комиссара, все дольше разговаривала с ним, все внимательнее вслушивалась в его отрывистые рассказы. И сама порой замечала на себе пристальный взгляд Родиона Мефодиевича.

Едва поднявшись на ноги, Степанов приказал Алевтине открыть все тайники гоголевской квартиры. Алевтина зарыдала, заревел и маленький Женька.

— Я не для себя,— угрюмо произнес Родион Мефодиевич.— Я от себя и от тебя. Реквизировать надобно, а не продавать потихоньку.

Алевтина зарыдала громче. Так рыдать она научилась от супруги Гоголева — Виктории Львовны. И Женька вторил ей во всю свою маленькую силу, но довольно-таки пронзительно. И все же Степанов произвел реквизицию по всем правилам. Мусоля химический карандаш, написал список «буржуазных излишков бывшего гражданина Гоголева» и сургучной печатью, принадлежавшей Борису Виссарионовичу, его же сургучом опечатал все сундуки, кофры, шкафы, кладовки и тайники.

— Сумасшедший вы какой-то! — произнесла Алевтина, все еще всхлипывая.— Могли бы пользоваться и пользоваться!

— Я не сумасшедший, а революционный моряк! — наставительно произнес Родион.— Мы вашего Николашку не для того свергли, чтобы самим пользоваться втихую. Мы его ради всего народа свергали...А люстру я, между прочим, записал как проданную в целях поправления моего от тифа...

Реквизиция и вопли Алевтины утомили Степанова, и он лег. В этот вечер она почему-то рассказала ему свою жизнь. Он слушал молча, лежа на диване, закинув могучие руки за голову. Глаза его были полузакрыты.

— Так по щекам и хлестала? — спросил Родион вдруг.

— Хлестала! — кусая губы, кивнула Алевтина.

— Сколько ж тебе лет было?

— Шестнадцать не исполнилось.

— Паразиты, суки, в господа бога,— сказал Родион.

— Чего ж вы ругаетесь?

— Жалею вас, потому и ругаюсь.

Погодя он спросил:

— Женька чей?

— Приходил тут один самокатчик, унтер, хорошенький такой...— опять всхлипнула Алевтина.

— Не реви. И куда делся?

— А кто его знает.

— Сказано, не реви! Теперь жизнь новая открылась. Учиться тебе надо. На любую должность выйдешь самостоятельно.

— Я ж малограмотная!

— А я кто?

— Ну и будешь, как есть — темный матрос.

Родион Мефодиевич не обиделся, а улыбнулся в сумерках и сказал:

— Вот и врешь, Аля! Темные матросы пролетарской революции не нужны. Вот управимся с гидрой — пойду учиться...

Алевтина посмотрела на Степанова украдкой, сбоку и подивилась той могучей, ни в чем не сокрушимой уверенности, которая исходила от него. А он говорил негромко, глядя на лепной потолок кабинета присяжного поверенного Гоголева:

— Пришел я на флот, верно, темным мужиком с самых вознесенских лесов, слышала про такие? Отец у меня совсем неграмотный. Дослужился до инструктора-минера, потом разжаловали на «Петропавловск» до матроса второй статьи. Голова варила. На «Авроре» был, когда по Зимнему дворцу ударили...

— Ты по Зимнему палил? — ужаснулась Алевтина.

— Другие палили. А мы, правда, холостым разок. Мне та честь не досталась,— с улыбкой сказал Степанов.— Но все же на «Авроре» службу нес...

И взял Алевтину за руку.

Она покорно и тихо наклонилась к нему. Он отвернулся и попросил:

— Отсядь, Аля, подальше. Напущу на тебя тиф, какая сласть...

Алевтина тихо улыбалась: теперь она будет комиссаршей! Таких бычков нетрудно брать на вѐревочку. Жалостлив! Весь даже перекосился, когда она рассказывала, как ее били. А ничего, между прочим, особенного не было, раскокала флакон и получила за дело...

— Научите меня той песне, которую вы поете! — попросила она Степанова.

— Какой?

— Про огонек! Как жить скучает часовой...

— Ну давай! — согласился Степанов и тихонько запел:

Ночь темна, лови минуты,
Но стена тюрьмы крепка,
У ворот ее замкнуты
Два железные замка...

Супруги

Через месяц они стали жить, как муж с женой. Евгений имел теперь фамилию — Степанов, Алевтина была супругой комиссара, не горничной, не прислугой господ Гоголевых, она была сама по себе хозяйка, уважаемая женщина. Чтобы совсем забылось ненавистное прошлое, она попросила Родиона переехать в другую часть города — на Васильевский остров или хоть на Выборгскую.

— Почему это «хоть»? — насупившись, спросил Степанов.— Соображай, чего мелешь?

— Потому что на Выборгской одна мастеровщина,— сказала она,— хамье.

— Дура! — отрезал Степанов.— А ты-то сама из каких-таких дворян?

— Не из дворян, но жена выдающегося человека,— потупившись произнесла Алевтина.

Переехали на Васильевский. Наступила голодная весна. Степанов пропадал на своем узле, часто не ночевал дома, а когда сваливался под бок Алевтине, скрипел зубами и выкрикивал страшные слова:

— Саботажники, шкуры, под расстрел подведу, тогда поздно будет...

Белые, опасные, неспокойные ночи бежали за голы-

ми, без занавесок, окнами. Алевтина вглядывалась в молодое, смертельно измученное лицо мужа, в его завалившиеся глазницы, в его сухие губы и мечтала страстно, с тоской, с болью в сердце: пусть будет начальником, самым главным, одним над всеми пусть его боятся, пусть проедется она, Алевтина, в красном, глазастом, могучем автомобиле, какой подавали иногда супруге присяжного поверенного Гоголева. Бешеное честолюбие грызло ее. Только бы дожить до своего часа, тогда она покажет, тогда все увидят. А пока что она дожидалась мужа, читала вволю книги про жизнь князей, баронов и маркизов, одевала Женьку во все господское, как одевали супруги Гоголевы своего Гугу: в кружева, в бархатные платьица, в какие-то особенные беретики и чепчики. И морковный чай она наливала в тонкие саксонские чашки.

Осенью Степанов отбыл в распоряжение Реввоенсовета Астраханского флота. Какие-то дружки Родиона навещали Алевтину, советовали ей идти на работу, приносили паек. Она с ними была суха, поджимала губы, не разговаривала подолгу. Все, что полагалось и не совсем полагалось мужу, она получала на пустых петроградских складах. И необходимые с ее точки зрения слова она быстро научилась произносить:

— Окопались, шкурники! — говорила она, держа на руках толстомордого Женьку в нарочно бедном капоре.— А тут жена комиссара хоть пропадай с голоду. Ничего, пойду в ЧК, всем станет жарко. Протрясут вас, буржуйское отродье. Поставят к стенке пару-другую — живо повидло отыщется.

Повидло отыскивалось, но все-таки было очень туго. Глазастый автомобиль не появлялся, о шелках и шляпках из черной соломки никто даже не думал. Но Алевтина ждала, ждала упрямо, злобно, даже яростно. Уж она заставит «своего» делать все! С ней не отшутишься, не на такую напал. И прекрасный мир вещей — дорогих, разных, удивительных — виделся ей в ее пустой комнате: какие-то вдруг резного дерева с медью шкафы, наполненные душистыми платьями, стулья «чепендель» — она помнила это название,— флаконы, горжетки, собольи накидки, перчатки, козетки, пеньюары, ковры, ванная комната вся голубая, как у барона Розенау на Фурштадтской, вуали, коробки пудры, сервизы, сто-

лики на колесиках. Она все это видела раньше и хотела, чтобы оно принадлежало ей, хотела открывать двери из комнаты в комнату и быть хозяйкой, владелицей, собственницей...

— Анфилада комнат! — сухими губами шептала она, и ей казалось, что слова эти прекрасны.— Нордэкспресс! Жюли, закройте камин экраном!

Или шоколадные конфеты в огромных коробках...

Ничего, она подождет!

Она будет ждать долго, но своего дождется.

А Родион Мефодиевич в эту пору кружил по Украине, ловил батьку Нестора Махно. Три тысячи верст уходил атаман, не принимая боя, выматывая силы степановского отряда. Где-то неподалеку, степными проселками, мчались тачанки, в богатых хуторах махновцы оставляли глумливые записки; седые, насупленные куркули потчевали степановских людей одною лишь водой. А ночами того знойного лета гремели совсем мирные, даже уютные грозы, проливались обильные, теплые дожди.

Вместе с уполномоченным Реввоенсовета и другими четырьмя чекистами Степанов был послан в отряды Махно для заключения перемирия и для разложения отрядов батьки. Все шестеро коммунистов, назначенных Фрунзе на это дело, выходя из вагона командующего Южным фронтом, никакой надежды на то, что вернутся живыми, не испытывали.

В Старобельске, в низкой хате, насквозь продушенной духами, на перине, картинно раскинувшись, лежал Нестор Махно — рябой, потный, желтоглазый. Вокруг сидели и стояли приближенные в сдвинутых на затылки смушковых папахах.

— Може, без оружия побалакаемо? — спросил батько и встряхнул длинными волосами.— Оружия я нэ люблю, я человик мирный, добрый...

— Ты — добрый! — ответил Степанов, но маузер оставил при себе.

Три месяца Родион Мефодиевич почти не спал: Махно в любую минуту мог покончить со всеми шестерыми, к тому же живущими порознь в его бандитских частях. Но медленная, кропотливая работа давала свои плоды: все больше и больше махновцы сомневались в своем батьке, все крепче поговаривали насчет замире-

ния с большевиками. И когда появился декрет советской власти о закреплении земли на девять лет за крестьянами, у Родиона Степанова уже не было оснований думать, что махновцы его зарежут.

Впрочем, кое-какие памятки того времени Степанов сохранил на всю жизнь: выше запястья белел шрам от пули браунинга, осколок снаряда повредил лопатку, долго ныла рана ниже голени.

...Как-то тихим вечером дивизия, в которой был комиссаром балтийский матрос Степанов, вышла к берегу Азовского моря. Бойцы полезли мыться, а Родион Мефодиевич вдруг затосковал и почувствовал, что непременно должен служить морскую службу, что без моря ему смерть, что пора возвращаться к своему настоящему делу.

И началась жизнь такая трудная, по сравнению с которой годы гражданской войны казались пустяками: надо было учиться. Надо было одолевать алгебру, геометрию, тригонометрию, надо было чертить, надо было читать по-английски, по-немецки, разбираться в истории, надо было готовиться к тому, чтобы со временем не стоять на мостике возле военморспеца-офицерюги, а самому командовать миноносцем или дредноутом, соединением кораблей или даже линкором.

Щеголеватые, насмешливые, изысканные преподаватели с невозмутимыми глазами «гоняли» будущих военморов по всем дисциплинам куда более жестко, нежели гоняли они дворянских сынков. Рабочие парни, бывшие матросы, комендоры, минеры, прошедшие весь ад гражданской войны, еще толком не выспавшиеся за те годы, держа руки по швам, слушали назидания своих педагогов, кое-кто из которых только недавно соблаговолил признать Советскую власть. И часто, очень часто слышал Степанов холодные слова:

— Отчего не понимаете? Оттого, голубчик, не понимаете, что не хватает вам общего развития. А оно сразу не дается. С молоком матери его всасывают — развитие это. И интеллигентность, так необходимая морскому командиру, тоже не зубрежкой дается, а — извините, я не марксист — происхождением...

Родион Степанов — курсант, бледнея, молчал. «Врешь, контра,— думал он,— врешь, увидишь еще, какими мы станем через десяток-другой лет. Увидишь, обомрешь,

да поздно, станем мы интеллигенцией похлеще, чем вы, жидконогие!»

Спал он четыре часа в сутки, не более. Но старой бритвой с надписью на черенке «воскресенье» брился ежедневно. Со словарем, немножко еще окая, уже читал он по-английски не только специальные морские термины и фразы, но и целые статьи, в которых рассказывались случаи из военно-морской практики: они могли ему пригодиться. И со своими товарищами-военморами — балтийцами, черноморцами, азовцами — он старался подолгу говорить на английском языке, и так, как, казалось им, должны разговаривать лорды в ихнем адмиралтействе — сквозь зубы, покуривая, никогда не торопясь. В эту же пору и высшая математика озарилась для Родиона Мефодиевича особым светом, начала не только устрашать, но и радовать. Тот самый щеголеватый и изысканный преподаватель, который еще так недавно объяснял Степанову обязательную родовую преемственность интеллигентности, теперь как-то обронил:

— Способная сволочь этот Степанов.

Пожалуй, эти случайно услышанные Родионом Мефодиевичем слова были высшей для него похвалой в те годы: враг признал себя побежденным, это чего-нибудь да стоило.

Алевтина, зевая и потягиваясь, постоянно жаловалась на то, что устала и ей скучно. Она совершенно ничего не делала, но часто ходила в гости к каким-то, как она выражалась, «дамам», и эти «дамы» посещали ее. Оттопырив мизинцы, они пили чай из тонких, почти прозрачных чашек, ласкали Женьку, вяло, сонно разговаривали. И беседы у них были странные, и слова незнакомые. Прическа называлась «буби-копф», Женьку они находили похожим на «инфанта в изгнании», стулья считались — один «модерн», другой «рококо»; про Владимирский клуб рассказывалось, что там «делают состояния из твердой валюты». И духи они доставали парижские — одну бутылку на всех — «шанель».

Со Степановым они разговаривали редко, но всегда шутливо-почтительно. Его было принято называть «нашим будущим Нельсоном», или Маратом, или «Кто был ничем, тот станет всем». В ответ на эти обращения ему хотелось ругаться, как в старые, дореволюционные вре-

мена, или вдруг взять да и брякнуть то, что Алевтина называла «старым саксом», об пол, в мелкие дребезги. Но ничего этого он, конечно, не делал, а, насупившись, садился к колченогому письменному столу за свои книги, конспекты и тетради.

Варя была еще совсем маленькой. Ее Алевтина любила куда меньше, чем Женьку. Женька всегда пробуждал в ней какую-то жалость, и Родион Мефодиевич не раз слышал, как шептала она над спящим сыном горькие слова:

— Сиротка мой бедненький, пасыночек, деточка, маленький, глупенький, не даст тебя мама обижать, не позволит никому, не бойся, сиротка...

— Да кто его обижает? — возмутился как-то Степанов.— Чего ты там пустяки несешь? Он сам всех обидит, жизни от него не стало, давеча бутылку туши расколотил, а когда я пригрозился, что уши надеру...

— Был бы свой, не стал бы грозиться! — ответила Алевтина.— Варьку, небось, пальцем не тронешь!

— А его я разве когда трогал? — опешил Родион Мефодиевич.

Алевтина промолчала, пришептывая над спящим Женькой. Степанов пожал плечами, вновь повернулся к своим чертежам. Мерно тикали часы на стене, посапывала Варька в своей кроватке, шелестела страницами книги Алевтина. Вроде бы семья, но что оно такое — семья?

Задумываться было некогда. Он всегда спешил. Спешило время, спешила страна, не мог он отставать. И газеты, и книги, и собрания, и митинги, и лекции «для желающих» — все было ему интересно, всюду нужно было поспеть. И когда Алевтина жаловалась словами Гоголевой «на свою тоску», Родион Мефодиевич раздражался, моргал, отмалчивался. А однажды, обозлившись, сказал:

— Я тебе, Аля, не цирк. Сто раз говорено: займись сама делом. Нет для тебя нынче закрытых дорог — учись хоть на самого народного комиссара...

— Я свое отработала! — с бешенством ответила она.— Помыкалась с шестнадцати лет. Даже с пятнадцати. И имею право сейчас отдыхать человеком. Хотя тоже — хорош с тобой отдых, даже прислугу не можешь нанять...

— Тебе? Прислугу? — удивился он.— Да и откуда у тебя слова такие пережиточные? Домашняя работница — говорим нынче, а никакая не прислуга.

— Найми домашнюю работницу! — усмехнулась она.— Мне все равно, какое название, но не обязана я после революции...

— Дура! — устало выругался Степанов.

— Это ты — дурак! — ответила она.— Революционный матрос! Что имеешь за свои раны? Положение в обществе? Квартиру получил хотя бы на пять комнат? Седеть начал, а все зубришь, как тот гимназист! От получки до получки живем, если бы не мои комбинации...

— Какие еще комбинации? — белея, спросил он.— Какие такие могут быть комбинации?

Она испугалась и промолчала.

Вскорости у Женьки открылся туберкулез. Врачи сказали, что жить ему в Петрограде решительно нельзя. Алевтина всполошилась, вспомнила про вознесенские леса, стала выспрашивать мужа об ихнем губернском городе. Доктора в один голос одобрили и леса, и климат, и реку Унчу. В мае 1923 года Родион Мефодиевич отвез свою семью в город, из которого его когда-то отправили служить царю и отечеству.

Близкий его дружок, летчик Афанасий Устименко был земляком, Аглая, сестра Афанасия, подыскала квартиру на Пролетарской улице. Вдовец Афанасий и соломенный вдовец Степанов отбыли обратно в Петроград — учиться дальше. В вагоне медленно идущего поезда они выпили хлебной водочки, закусили вареным куренком и стали с жаром вспоминать гражданскую войну, как Афанасий летал на «сопвиче», как бросал белякам вымпела с прокламациями и как его подбили в двадцатом.

— Жениться собираешься? — спросил Родион.

— По правде, нет. Поглядел на твою Валентину и решил — дудки.

— На какую Валентину? На Алевтину!

— Велела звать Валентиной,— зевнул Афанасий.— Об Алевтине велела забыть. Выпьем еще?

Выпили еще по стопке, закусили теперь моченым яблоком.

— Сын у тебя хорош,— сказал Степанов.— Понравился мне.

— Володька-то? Ничего, парень, баловник только...

Дочка

...В Ленинград бывшая Алевтина, нынешняя Валентина, возвращаться не захотела, а Степанов не очень и настаивал. Жил он большей частью на корабле или в Кронштадте, где снимал у старушки, боцманской вдовы, комнату. Все свободное время (а его было очень немного) Степанов читал. Ему было под тридцать лет, когда впервые прочел он «Войну и мир», «Былое и думы», «Казаков», «Палату № 6», «Героя нашего времени». Жену он не любил, это было очевидно для него так же, как то, что она не любит своего мужа. Но любить хотелось, хотелось прочитать вслух женщине, а не старпому Михалюку, про то, как поет Наташа Ростова у дядюшки, хотелось не с Михалюком, а с любимой женщиной в белую ночь пройтись к памятнику Петру, хотелось ждать писем, писать самому.

И вдруг жизнь Степанова странно, резко и радостно изменилась.

Валентина написала ему, что не может справиться с Варькой, дерзка, грубит, не слушается, надо прибрать девчонку к рукам. Хорошо бы отцу приехать и принять меры.

Степанов подумал и велел прислать Варвару в Крондштат.

Встретил он ее в Ленинграде.

И, не понимая сам, что с ним творится, поднял на руки и стал целовать лоб, покрытый веснушками, косенки, шею, слабенькие плечи. Варя тихо повизгивала и всем своим телом прижималась к грубому полотну отцовского белого морского кителя.

Великое счастье отцовства открылось ему.

«Не может человек жить без любви,— размышлял Степанов в эти дни.— Не может и не должен. Ну что ж, не вышло с браком, вышло вот с дочкой. Ее можно любить, можно любить счастливо!»

Боцманская вдова завязала Варваре голубые банты, Степанов обул девочку в лакированные полуботинки, взял за руку и повел на свой корабль. День был ветреный, пыльный, жаркий, с воды веяло сыростью, он вел Варю в свой подлинный дом, к своим истинно родным людям, и подбородок, изрезанный нынче во время бритья, вздрагивал. По дороге отец и дочь говорили друг с дру-

гом, как взрослые. Варя ставила ноги носками чуть внутрь, удивлялась на чаек, на то, сколько «много» воды, какое «слишком» светлое небо. А он спрашивал ее, зачем она не слушает маму, зачем дерзкая, зачем грубая.

— Ай, ну что это ты! — сказала Варя.— Так хорошо все, а ты словно мама!

Ни дерзкой, ни грубой она не была. Она была независимой, внутренне свободной, очень доброй. Легенда о том, что Варвара дерзка, началась с первого ее школьного дня. На втором уроке маленькая Степанова поднялась, собрала аккуратно все свои книжки и тетрадки и пошла к двери. Учительница возмущенно окликнула Варю. Та ответила уже из-за порога:

— Я хочу кушать.

И ушла совсем из школы домой, маленькая, с косичкой, крепенькая, насупленная. «Евгений никогда бы этого не сделал!» — воскликнула Алевтина. И Евгений подтвердил, что все в этой истории чудовищно.

Потом Варя подарила свой новый фартучек соседской девочке, заявив, что у нее два фартука, а у соседки нет ни одного. И Женькин ремень подарила дяде Саше — штукатуру,— у Женьки было много ремней, а дядя Саша подпоясывался веревкой. Варвару Валентина Андреевна выдрала. Девочка не заплакала, но к матери больше никогда не ласкалась.

«Сорванец девка!» — определили Варвару на корабле, и все полюбили ее. Черт знает как ее баловали и в кают-компании, и на полубаке, и на шканцах, где бы ни мелькала ее красная в горохах юбка. Никогда она не канючила, не ревела, не ныла, всегда с готовностью подчинялась, и всегда радостно-изумленным был взор ее широко открытых, сверкающих глаз...

Зимой Варвара училась в кронштадтской школе, и это тоже было счастливое для Степанова время. Вечерами они ходили вместе в кино, вдвоем ездили в Ленинград, в театр, с Вариными подругами он занимался десятичными дробями и вместе с ними решал задачи с цибиками и бассейнами. А потом Варвара сидела за самоваром и разливала чай, Степанов же думал тщеславно и почти вслух: «Эка у меня дочка уродилась! Эка Варвара Степанова! Поищи еще такую на свете!»

К весне умерла старуха боцманша, а Степанову надо

было идти в плавание. Весь корабль провожал Варю. Вся опухшая от слез, едва передвигая ноги, она закидывала свои тонкие руки за шеи всех краснофлотцев и командиров, мягкими детскими губами касалась грубых, обветренных щек и приглашала:

— Приезжай к нам, дядя Миша, у нас тоже река хорошая...

Или:

— Приезжай к нам, дядя Петя, честное пионерское, приезжай!

Или еще:

— Дядя Костя, ну приезжай же после демобилизации насовсем...

Зимой Степанов поехал к своей семье. В этот дом он вошел чужим человеком. Женька, лежа на диване, читал толстую книгу с картинками, на голове сына была сетка. В другой комнате так же сильно пахло духами, как в хате Нестора Махно. Валентина Андреевна была в театре, Варвара у подруги. Женька потянулся, спросил:

— Ну, что нового, папа?

— Ничего особенного! — ответил Степанов.— А ты что читаешь?

— «Нива» за 1894 год,— сказал Евгений.— Скукотища!

— Зачем же ты читаешь, если скукотища?

— А что делать?

Попозже пришла Валентина Андреевна, розовая, похорошевшая, в меховой шубе, сказала иронически:

— О, пожаловал, великий мореход! Какое счастье!

Теперь она научилась говорить ироническим тоном.

Чай пили из какого-то особенного чайника, сыр был нарезан очень тонко, колбаса совсем прозрачно, и никто не спросил у Родиона Мефодиевича: не хочет ли он пообедать, не подать ли ему с дороги, с мороза и устатку рюмку водки, не изжарить ли добрую яишню.

— Кстати, я тебе не писала об этом,— сказала жена,— ты ведь изволишь Варваре показывать все мои письма, но она стала совершенно невыносима. Вечно пропадает среди своих пионеров, поет грубые песни, на мои замечания не реа-реге... рео...

— Ты хочешь сказать: не реагирует? — спросил Степанов.

— Совершенно! — с раздражением произнесла Валентина.— И вообще она слишком, слишком советская...

Родион Мефодиевич нахмурился, на скулах его выступили красные пятна.

— Это как же понять?

— А очень просто!

— Объясни, если просто.

— Да ну, глупа, как пробка! — раскачиваясь на стуле, сказал Евгений.— И мнит о себе слишком много...

Родион Мефодиевич вместо двух недель пробыл дома три дня. Все эти три дня он провел с Варварой, ходил с ней на каток, ходил к Устименкам — к тетке Аглае и Володе, ходил в театр и даже на сборе пионеротряда сделал доклад о Советском Военно-Морском Флоте. Варе доклад не очень понравился.

— Уж слишком популярно ты, пап,—сказала Варя.— У нас ребята и девочки развитые, им не надо все разжевывать.

Степанов багрово покраснел.

— Живешь, живешь,— со вздохом сказала Варвара,— а всё тебя за ребенка считают.

И предложила:

— Знаешь что? Давай не пойдем домой ужинать, а вот тут есть столовая номер шесть, там такой винегрет чудный! И котлеты тоже хорошие бывают...

Сметая с клеенки крошки и не глядя на отца, Варвара спросила:

— Ты когда первый раз влюбился, а, пап? Уже пожилым, да?

— Ну, не совсем,— замялся Степанов.

— А я знаю, что бывают ранние любви и очень сильные! — отвернувшись, сказала Варя.— Да, да, очень сильные, кошмарно сильные...

Родион Мефодиевич растерянно улыбался. И эту, последнюю, от него отбирают. Ну нет, молода еще!

— Ты погоди влюбляться,— попросил он негромко.— Успеешь!

Но Варя не слышала его. Или не слушала.

Ночью он уехал.

Грибы

В воскресный августовский день Варвара, Володя и Володин друг Борька Губин поехали по грибы на станцию Горелищи. Вначале брали всякие, потом только боровики. День был серенький, теплый, с дождичком. Промокли, вернее не промокли, а очень отсырели. Развели костер, напекли картошек. Володя рассказывал:

— Не выдумывать, не измышлять, а искать, что делает и несет с собою природа,— так утверждал Бэкон. Есть формула и покороче: природу побеждает тот, кто ей повинуется. Но согласитесь — на таком мышлении далеко не уедешь: здесь все умно, но и в высшей степени пассивно. С другой стороны...

Варвара, отвернувшись из вежливости, задремала. Почтительный Борька Губин вдруг зевнул с ревом, на добрые глаза его навернулась слеза. Володя обиделся и прыгнул на Губина: полетели листья, старые сосновые иглы, Губин ногой попал в тлеющий костер, завизжал. Проснулась Варвара. Мальчишки возились, взрывая прелую лесную землю, визжа от радости бытия, от того, что они сильные, молодые, здоровые.

— И я,— крикнула Варвара,— и я, и я! Куча мала, куча мала!

Она шлепнулась на них обоих сверху, и тотчас же всем троим стало неловко. У Вари глаза сделались растерянными.

— Дураки какие! — сказала она, едва не заплакав. Обдернула юбку, поджала ноги. Володя и Борька не глядели друг на друга.

— А ты не суйся! — погодя сказал Устименко.— Двое дерутся — третий не мешайся... Где мой ножик, Борька?

И они оба притворились, что ищут ножик.

Было так неловко, что Борис даже принялся напевать, но смешался и перешел на свои стихи:

Идут осенние дожди,
Колхозник варит с мясом щи,
Запел баян за уголком,
Мы входим в новый, добрый дом...

— Ох, Борис,— сказал Устименко,— зачем ты это?

Потом пошли к станции. Дождик все еще моросил. Поскрипывали тяжелые корзины с грибами. Вечером, усталые, разморенные и сердитые, все трое вышли к полотну железной дороги и увидели толпу. Возле самых рельсов, страшно корчась и хрипя, еще в сознании, лежал пастушонок лет четырнадцати. И шпалы, и рельсы, и железнодорожный балласт, политый жирным мазутом,— все было в крови. Отдельно от пастушонка лежала нога в портянке и старой калоше, поодаль выла старуха, угрюмо молчали крестьяне, не зная, что делать с мальчишкой. Неподалеку судорожно билась овца, тоже попавшая под поезд.

Володя протиснулся сквозь толпу, сорвал с себя рубашку, торопясь, серый от ужаса, стал неумело накладывать жгут на культю. Кто-то ему помогал,— только позже он понял, что это была Варя. Крестьянин в дырявой соломенной шляпе услужливо подал Володе отрезанную ногу. Володя грозно чертыхнулся. Борька убежал на станцию. Минут через двадцать приехала дрезина с врачом и носилками.

— Кто наложил жгут? — спросил старенький железнодорожный врач.

Крестьянин в соломенной шляпе показал на Володю.

— Студент?

Володя промолчал.

— Пьяные все, черти! — пожаловался врач.— Престольный праздник нынче. Ну чего воешь? — крикнул он черной старухе.— Овцу жалко?

И, кивнув на дрезину, велел Володе:

— Садись!

В маленькой пристанционной больничке врач велел дать Володе халат и принялся вводить пастушонку противостолбнячную сыворотку. На мгновение Володе стало дурно. Как сквозь сон, слышал он ворчливый голос:

— Ну что ж, молодчага. Для первого курса недурно. Главное — хватка есть. Вы чего так побелели? Сестра, дайте ему понюхать нашатырного спирта... И пусть выйдет на воздух.

Возле больницы на скамейке сидели Варя с Борисом.

— Лукошко-то твое где? — спросил Боря.

Устименко пожал плечами. Его тошнило. «Не выйдет из меня врач! — думал он с тоской.— Никогда не выйдет!»

И обидно было, что пропало лукошко. Не жалко, черт с ними, с грибами, а как-то чуть-чуть стыдно.

Через два дня в областной газете Устименко прочитал заметку о скромном советском студенте, который, проявив находчивость и мужество, не говоря о знаниях, исчез, не назвав свою фамилию. В заключение была и мораль насчет того, что только в нашей стране возможны такие безымянные герои. Борька Губин рассказал эту историю всему классу, и когда Володя первого сентября вошел в свой десятый «Б», ему устроили настоящую овацию. А тетка Аглая вечером сказала:

— Ну, безымянный герой, рассказывай все по порядку. Мне интересно.

— Варька наябедничала?

— Допустим.

— Понимаешь, я купил курс военно-полевой хирургии.

— Ну?

— Там и прочитал. Но врач из меня не получится. Стыдно, а все-таки все завертелось...

— Вначале у всех вертится,— сказала тетка, блестящими глазами глядя на племянника.— Я, когда из прачек попала на рабфак, знаешь, как у меня все вертелось?

Варвара после этого случая на станции совсем присмирела и ни в чем не возражала Володе. Один только Евгений отнесся к происшествию иронически:

— А грибы-то белые слямзили? — спросил он нарочно поганым голосом.— Вот и сей разумное, доброе, вечное!

— Может быть, ты хочешь получить по роже? — осведомился Володя.

— Мальчишка! — строго сказал Евгений.— Вечно драться!

— Есть случаи, когда спорить бессмысленно,— ответил Володя.— Дать раза — и все!

— А суд? — благоразумно осведомился Евгений.— Ты думаешь, я бы не подал в суд в подобном случае? И влепили бы тебе, голубчику, исправительно-трудовые работы...

Володя с удивлением посмотрел на Женю. Но тот не шутил — безмятежный, в хорошо подогнанной гимнастерке юнг-штурм и с кожаной портупеей через плечо. Таких даже на плакатах изображают. «Может, верно, врезать ему?» — подумал Володя. Но внезапно соскучился, вздохнул и ушел.

„Отцы и дети"

Еще учась в школе, Володя зажил жизнью Института имени Сеченова. Борька Губин сказал ему, что при некоторых кафедрах мединститута существуют студенческие кружки, которые можно свободно посещать, и Устименко стал ходить к патологоанатому Ганичеву. Толстый, маленький, совершенно лысый профессор довольно быстро приметил длинношеего юношу с незнакомым лицом и, ничего у него не спрашивая, часто рассказывал словно ему одному. В школе у Володи все шло гладко, но учителя относились к нему настороженно, а некоторые неприязненно. На педсоветах его называли «вундеркиндом», а завуч Татьяна Ефимовна не раз заявляла в категорической форме, что Устименко Владимир индивидуалист с нечетко выраженным миросозерцанием и что ничего хорошего она от этого самонадеянного юноши не ждет. Не все учителя были согласны с завучем, но спорить с ней — значило ссориться, а ссориться никому не хотелось. И чем дальше, тем больше Володя раздражал педагогов, раздражал молчаливой сосредоточенностью, перемежающейся ребяческими, шумными шалостями, раздражал отчужденной холодностью, раздражал той внутренней жизнью, которая шла в нем помимо школьных нормативов, раздражал тем, что он был «сам по себе» и вечно искал, вместо того чтобы пользоваться непоколебимыми истинами учебников.

«Медицина! — страстно думал по ночам Володя.—

Скорее бы, скорее бы, там все точно, ясно, там единственное, настоящее!»

Но с недоброй улыбкой говорил Федор Владимирович Ганичев:

— Сто раз подумайте, прежде чем придете к нам. Гиппократ настоятельно рекомендовал врачу сохранять хороший вид, который был бы приятен больному, а ведь это, если вдуматься, не так-то просто! Не так просто для собственного самолюбия следовать и другому Гиппократову совету о том, что если врач приходит в замешательство, то он без страха должен призвать других врачей, которые уяснили бы ему состояние больного и необходимые в данном случае средства...

И советовал:

— Читайте Гете, дорогие друзья! Устами Мефистофеля произносятся весьма горькие истины, не утратившие значения и по сей день. Если кто из вас слушал оперу Гуно, то этого еще мало. Читайте и думайте, раздумывайте, ищите, выясняйте, хватит ли у каждого из вас сил для того, чтобы на практике не поддаться величайшему соблазну — бездумному несению служебных обязанностей...

По-немецки, тут же переводя, притопывал толстой ногой в ярко начищенном ботинке с болтающимся шнурком, читал:

Дух медицины понять нетрудно:
Вы тщательно изучаете и большой
И малый мир, чтобы в конце концов
Предоставить всему идти,
Как угодно богу...

Жестко и зло рассказывал он молодежи о цеховщине в истории медицины, о важных и глупых стариках, которые глушили мысль талантливого юноши только потому, что мысль вносила беспокойство, на память приводил текст присяги для тех, кто в давно прошедшие времена оканчивал знаменитый университет в Болонье.

— «Ты должен поклясться,— сердито блестя глазами, торжественно и даже надменно произносил Федор Владимирович,— должен поклясться, что будешь хранить то учение, которое публично проповедуется в Болонском университете и других знаменитых школах, согласно тем авторам, *уже одобренным столькими столе-*

тиями, которые объясняются и излагаются университетскими докторами и самими профессорами. Именно ты никогда не допустишь, чтобы пред тобой опровергали или уничижали Аристотеля, Галена, Гиппократа и *других* и их принципы и выводы...»

— Вот, изволите ли видеть, что изобретено было и оформлено в виде клятвы-присяги: петля на шее науки. Петля! — комментировал Ганичев.— Ибо все свое, новое всенепременно было связано с пересмотром чего-то ранее утвержденного, а пересмотр не только великих Аристотеля, Галена и Гиппократа, но и *других* — черт знает каких это *других* — вел к преподобному генералу инквизиции, а оттуда на костер. Естественно, что многие талантливые люди тех времен, вместо того, чтобы дело делать, пользовались вовсю словами отца нашего Гиппократа: «Искусство долговечно, жизнь коротка, *опыт опасен, рассуждения ненадежны!»* Второй же путь избрал Джордано Бруно, непохожий на дорожки дипломированных тупиц своего времени. «Я академик несуществующей академии,— сказал про себя великий Бруно,— и нет у меня коллег среди преподобных отцов невежества!» Кончилось это, как вам известно, трагически...

Этот толстый человек учил сомнениям, он заранее хотел избавить институт от аккуратных пятерочников-зубрил, от маменькиных дочек, от скучающих молодых людей, еще не определивших свои способности. Он учил вечным поискам, намекал на то, что никакие справочники врача, учебники и добротно записанные лекции не помогут будущим «Эскулаповым детям», как любил он выражаться, если они не будут непрестанно искать сами.

— Но ведь учебники все-таки никем не отменены? — спросил как-то Ганичева розовощекий, лупоглазый блондинчик-десятиклассник — Володин сосед Шервуд.

— Учебники бывают разные,— задумчиво ответил Ганичев.— Нам, например, в мое время рекомендовалось для успокоения страждущего, а также его близких и для поддержания чести медицины прописывать так называемые «безразличные» средства. Фармакология в мое время знакомила нас с огромным количеством средств, заведомо ничего не дающих. Согласно же учебникам учили целые поколения врачей ставить диаг-

ноз на основании того, какое средство помогает. Понятно? «Ex juvantivus».

— Странно! — сказал Шервуд.

— В древние же времена,— продолжал Ганичев,— лечили всем на свете; заговорами, астрологией, от подагры и ревматизма — печенью лягушки, болезни почек — изображением льва на золотом поле, желтуху — настоем чистотела, так как оный настой желтого цвета; считали также, что мозг изменяется в своем объеме сообразно с фазами луны, а морские приливы и отливы влияют на движение крови. Мольер совершенно справедливо заметил устами своего Веральда, что все великолепие такого искусства врачевания заключается в торжественной галиматье, в ученой болтовне, заменяющей смысл словами, а результаты — обещаниями.

— И в наше время такие случаи бывают? — домогался лупоглазый.

— Учебники пишут люди и преподают медицинские науки тоже люди,— продолжал Ганичев, словно не слыша любопытствующего блондинчика.— И даже великие врачи были людьми. Существует опасная, я бы даже осмелился выразиться, вредная, подлая, гнилая тенденция — объявлять великих медиков прошлого как бы вне суда человеческого, всячески замазывая ту чушь и те ошибки, которые делались самыми великими людьми прошлого. Это тормозит движение науки. Наши крупные ученые-современники тоже совершают, разумеется, ошибки и, бывает, порют чушь. Этими ошибками, поскольку сделаны они «распропочтеннейшими» или даже академиками, набивают головы людям. А вы обязаны думать сами, иначе будете не подлинными врачами, а мольеровскими, про которых написано: «Они вам скажут по-латыни, что ваша дочь больна!»

— Старый циник! — шепнул Володе лупоглазый Шервуд.

— А вы — молодой болван! — ответил Устименко.

— Послушайте! — взревел Шервуд.

— У вас вопрос? — спросил Ганичев.

Володя молчал.

Еще в первой четверти миновало то время, когда он задавал вопросы, на которые не все педагоги могли ответить. Но отвечать самому на вопросы учителей так, как бы они того хотели, он не мог из-за своей врожден-

ной, грубой честности. И поэтому вызов Володи к доске всегда был спектаклем для класса. Разумеется, он знал меньше, чем педагог; конечно, его знания были более поверхностными, чем знания учителя; но он всегда знал шире и часто говорил то, чего не только не было в учебнике, но о чем не знал и преподаватель. И не раз случалось, что Володя своими ответами пробуждал мысль десятого «Б» класса, и школьники счастливо замирали, слушая словесный поединок Адама и Володи.

— Это чистейший идеализм, мистика, поповщина! — кричал Адам.

— Марксистам надлежит разобраться в факте, уже вышедшем из стадии эксперимента, а не просто ругать самый факт! — твердо и спокойно отвечал Устименко.— Я вам привел факт, а вы ругаетесь...

И он спокойно шел на свое место, в то время как Адам неверной рукой сначала писал в журнале двойку, а потом переделывал ее на пятерку. При всей своей ограниченности Егор Адамович был честным человеком. А товарищи тайком показывали Володе большой палец и писали друг другу записки с такими словами: «Ну и дал!», «Краса и гордость», «Интересно, что из него выйдет?» Но Володя ничего этого не замечал, не слышал и не видел. Он уже сидел за своей партой, читая новую книгу о кровообращении, которую получил только до завтрашнего вечера, до занятий институтского кружка. В шестнадцатом веке испанский врач Сервет совсем было разрешил загадку кровообращения, но окончил свою жизнь на костре. О, подлецы!

— Чего ты бормочешь? — спросил Володю сосед по парте Рыжиков.

— А? — удивился Устименко.

И все-таки в институт он попал едва-едва. Выбрав для сочинения «Отцов и детей» Тургенева, он занялся только Базаровым и с присущей ему страстностью и даже одержимостью назвал Базарова «пролагателем новых, еще не изведанных путей в русской науке», а бедного Ивана Сергеевича — «дворянским Обломовым, писавшим единственно в целях утверждения искусства для искусства, а еще более вероятно в целях препровождения времени, свободного от выслушивания колоратур Виардо». Эта старомодная фраза так понравилась Володе, что он даже подчеркнул ее волнистой чертой, разумеется, со-

вершенно не предполагая, что экзаменаторша именно после этой фразы будет принимать валерианку с ландышем. Выдержки из Володиного сочинения читались на заседании приемной комиссии, конечно под общий смех и неодобрительные возгласы. Не смеялся только Ганичев. И так как в институте он пользовался всеобщим уважением, немножко связанным со страхом, все заметили — *как* он не смеется.

— Разумеется, поднаврал юноша,— сказал Ганичев задумчиво и невесело.— Сильно и грубовато поднаврал. Но ведь он так ду-ма-ет! Дело, дорогие друзья, в том, что он не экзамен старался сдать и угодить нам, он не себя в наивыгоднейшем свете нам рекомендовал, он за Базарова заступился. По младости лет не знал или просто не успел узнать юный Устименко, что за господина Базарова не он первый на Руси заступается. Ну, и, обидевшись, переусердствовал. Но вдумайтесь, дорогие коллеги, вдумайтесь в самый факт этого бешеного заступничества. Молодой человек, почти мальчик, заступился за русскую науку. Ведь в этом сочинении настоящая боль, мальчик в Базарове и Сеченова разглядел, и Мечникова, и Пирогова. Позвольте мне кощунственную мысль некую высказать: ежели бы Иван Сергеевич Тургенев до наших дней дожил и это сочинение прочитал, он бы не обиделся. Он бы немножечко посмеялся, но никак не обиделся, и даже, может быть, и растрогался бы. Потому что если убрать то, что тут наврано в состоянии запальчивости, то проступает гражданственность. Не так ли? А что касается до нашего института, до альма матер, то в стиле нашего абитуриента вижу я характер будущего деятельного врача, врача, извините за высокий стиль, воина, бойца,— разумеется, нетерпимый, но самобытный, упорный, крупный. А нам такие люди до чрезвычайности нужны, учитывая еще бедствие, связанное с желанием некоторых кругов молодежи поступить в вуз, в какой — это им все равно, лишь бы быть студентом. Что ж, случается, выпускаем действительно барышень с высшим образованием, но не лекарей, выражаясь по-старому. Бывает, выпускаем и симпатичных врачей, но...

Ганичев криво улыбнулся и махнул рукой.

— Что же касается до Устименки, то я знаю его по кружку. И говорю с полной за свои слова ответствен-

ностью: кто как, но я бы хотел иметь не только такого ученика, но и выученика, если бы, разумеется, этот бешеный огурец занялся патологоанатомией. Иногда, знаете ли, хочется передать свою кафедру не в чужие руки, а... Впрочем, если товарищи сомневаются, то можно провести с ним собеседование...

Товарищи сомневались, и собеседование было назначено на два часа пополудни. С двенадцати Устименко ходил по длинному, полутемному институтскому коридору. Здесь он и встретил Женю Степанова, по обыкновению выпученного, но бойкого и веселенького.

— Ты что тут делаешь? — удивился Володя.

— Как что? Поступаю! — в свою очередь удивился Евгений.— Я же с тобой советовался. Папахен, между прочим, доволен — он ведь тебя непонятно за что уважает и обрадовался, что мы будем учиться вместе. Я уже и с третьекурсниками познакомился, слышал ихний жестокий романс, довольно-таки симпатичненький.

— Что за романс? — удивился Володя.

— А вот послушай! Называется «Другу-прозектору».

Евгений сел на подоконник, округлил красный рот и спел приятно (он не раз певал и дома, на школьных вечеринках и даже в самодеятельности):

А когда разорвутся все нити
И я лягу на мраморный стол,
Будьте бережны — не уроните
Мое сердце на каменный пол...

Его уже слушало несколько человек, а он объяснял своим будущим сокурсникам:

— Самое интересное, что эти слова написал Гаршин — патологоанатом. Пикантно, правда? Желаете, товарищи абитуриенты, еще спою — старую медицинскую? Насчет анатомички, где нам предстоит провести немало времени?

По коридору прошли два экзаменатора, Женя переждал их и спел почти шепотом:

Дивлюсь я парню, что за отрада
Ходить в трупарню, обитель смрада,
Ходить, конечно, чтоб поучаться
И бесконечно вновь ошибаться...

Удивительно, как Евгений умел всем нравиться. Вот спел в коридоре, и уже есть у него товарищи. Хо-

дят под руку, хохочут, называют друг друга по имени, и Евгений окликает Володю:

— Эй ты, будущий Пирогов-Склифосовский-Бурденко, иди к нам в коллектив. Знакомься: Нюся Елкина, Светлана, Огурцов...

На собеседовании Володя сидел длиннорукий, с острыми скулами, с клочкастыми бровями, сердился, смотрел всем спрашивающим прямо в глаза и отвечал сдержанно, коротко, даже скупо, но с такой энергией своего собственного, личного отношения к предмету, который избрал своей специальностью, что почти все участники собеседования только радостно переглядывались и даже перемигивались. Неприязненно поглядывал на Володю только один человек, самой профессорской внешности — лысый, с подстриженной бородкой, с перстнями на пальцах — Геннадий Тарасович Жовтяк. Устименко его, видимо, чем-то раздражал — наверное, своей непочтительностью. Впрочем, все кончилось благополучно: Жовтяк, взглянув на часы с брелоками, отбыл на консультацию, а Володю доброжелательно отпустили.

Студент

— М-да, приятно! — сказал декан Павел Сергеевич.— Приятно, когда встретишь такого парня. Сидел, знаете, и думал: в Новороссийском университете, на моем, по крайней мере, курсе, такого Устименки не было. Кстати, понравился мне еще один, молоденький такой, розовощекий. Этот, конечно, звезд с неба не хватает, но приятнейший молодой человек. Внешность располагающая... как его...

И Павел Сергеевич сделал вид, что забыл фамилию Женьки Степанова. Но так как кое-кто знал, что Евгений бывает в доме Павла Сергеевича и, кроме того, что поет там романсы, нравится декановой дочери Ираиде, то Павлу Сергеевичу подсказали фамилию, и он кивнул:

— Да, да, кажется так, действительно, Степанов. Милый парень и добрый, безусловно. В мое время таких называли «рубаха-парень». Что-то русское, степное, удалое, широкое...

Но почувствовав, что несколько перехватил, Павел

Сергеевич вернулся к Устименке и назвал его «образцом будущего советского медика».

— То-то! — грозно радуясь, ответил Ганичев. — Это вам не круглый пятерочник с красными пятнами на щеках. Этот знает, чего хочет. Не модное слово, но в данном случае подходящее: идейный молодой человек. С таким, разумеется, помучаешься, но есть для чего. Только нахал, ах, нахал...

И нельзя было понять — нравится Ганичеву, что Володя нахал, или не нравится. Скорее всего, что нравилось.

— И Жовтяк из него не произрастет! — добавил Федор Владимирович. — Ни в какой мере. За это ручаюсь. Хоть, впрочем, никак не отказываю достопочтеннейшему Геннадию Тарасовичу в некоторой приятности, знаете, как у Гоголя — дама, приятная во всех отношениях, или, например, Шпонька, тоже, кажется, был приятнейший господинчик...

В тот день, когда Володя стал студентом, на маленьком смешном зеленом самолете прилетел Афанасий Петрович. Аэродром был на самом берегу Унчи, отец вылез из машины, словно долго ехал на подводе, разминая ноги, простоволосый, совершенно будничный. Другие летчики повскакали с травы, отдавая честь, и по их лицам было понятно, что они знают и уважают Володиного отца, и Володя вдруг покраснел, чувствуя, как он сам гордится Афанасием Петровичем, вот этой его всегдашней внешней обыкновенностью и простотой, его смешливыми морщинками возле глаз, его кроткой, словно припрятанной силой, широтой его души...

— Родион не прибыл? — спросил отец.

— Нет, не прибыл! — улыбнулся Володя.

По военной привычке отец никогда не говорил «приехал», а говорил «прибыл», не говорил «хочу есть», а говорил «хочу кушать», не говорил «лягу спать», а говорил «пойду отдохну».

— Смеешься над стариком, подлец! — сказал Афанасий Петрович и сильно толкнул Володю в плечо.

Володя немного покачался, но не упал. Военные летчики о чем-то переговаривались. «Наверное, об отце!» — подумал Володя.

У тетки Аглаи было заседание бюро, и она приехала только к торжественному обеду, изготовленному ночью

и ранним утром. Обедать, или, как он любил выражаться в предвкушении вкусной еды, «на поклев» явился и Евгений, тоже зачисленный в институт, не без соответствующего, правда, нажима Ираиды на свою маму, а той — на декана Павла Сергеевича. Втиснулся в институт Евгений как-то все-таки неловко, сначала его не вписали, а потом, после длинных переговоров, «приписали» к списку, и Евгений по этому случаю чувствовал себя так, словно долго бежал за трамваем, вспрыгнул на ходу и все еще не может отдышаться. Но настроение у него было великолепное и даже победоносное. В сущности ведь никто не знал, как все это было «обтяпано», кроме, пожалуй, декана. Ну, а ему незачем показывать вид, что Женя благодарен, чувствует, признателен и разное другое...

Родион Мефодиевич тоже радовался: все-таки есть что-то в том парне, если он без особых способностей, избалованный мамашей, прорвался в институт. Тут дело чистое — конкурс, не подкопаешься.

— Ну что ж, постарею, — станешь меня лечить! — сказал он Евгению. — Идет?

К Устименкам Степанов пришел в штатском, и только по его багрово загоревшему лицу и по валкой, пружинистой походке можно было понять, что моряк. Варвару Родион Мефодиевич ни на минуту не отпускал от себя, так же как и Володю. Выпив стопку водки, аппетитно кряхтел и говорил:

— Выпьем, братцы, выпьем тут, на том свете не дадут, а уж если там дадут, то выпьем там и выпьем тут.

Погодя пришел дед Мефодий — благостный, из бани, в жилетке, из-под которой была выпущена шелковая рубашка.

— Садись, корень всему нашему роду! — сказал Родион Мефодиевич. — И радуйся, дожил: внук у тебя студент-медик, Володька то ж! За это кубок большого орла!

— В землемеры оно бы лучше! — заявил дед.

У него обо всем было свое мнение.

— Без мундира-то чего? — спросил он сына. — В больших чинах, так и надобно носить, чтобы люди видели. Я с японской пришел, долго погоны не снимал, все-таки уважение. Снял — сразу мужик сиволапый.

И спросил у Аглаи:

— Селедку почем брала?

— По деньгам! — сказала тетка Аглая.

— А баранину?

— Отстань, дед! — сказал Родион Мефодиевич. — Ну не все ли тебе равно?

— Я для разговору! — объяснил дед Мефодий.

Варвара льнула к отцу, шепотом просила:

— Поживи немного с нами, пап, очень я тебя прошу. Возьми отпуск, ну их, твои пароходы...

— Не пароходы, а корабли! — наставительно произнес Степанов. — И вас тут у меня народу всего трое, а там множество. Соображай, дочь.

— Женька какой-то не такой! — пожаловалась Варя. — Не понимаю я его.

— Разберемся...

Афанасий Петрович принес гитару с бантом; перебирая струны, запел:

Ах, ты, ноченька, ночка темная!
Ночь ты темная, ночь осенняя!
Что ж ты, ноченька, так нахмурилась?
Ни одной в тебе нету звездочки...

Аглая сильным, низким голосом подхватила:

Ни одной в тебе нету звездочки...

Всем было почему-то грустно, только дед Мефодий немножко хорохорился, но погодя и он притих.

— Что такое? — спросила Аглая. — Никто будто и не приходил, а полпесни пропало.

Степанов часто хмурился, Афанасий Петрович положил гитару на диван, загляделся на сына. Женя в это время шепотком объяснял Володе, что ему срочно надо «смыться», — дело в том, что одна компания собралась на Унчу жарить настоящие шашлыки на вертелах, будут и Ираида, и Мишка Шервуд, может быть даже сам декан «пожалует», ясно?

— Ясно! — неприязненно ответил Володя.

В сумерках говорили о Варином будущем. Володя советовал поступать в медицинский институт. Афанасий Петрович говорил о технологическом, тетка Аглая молчала и улыбалась. Упрямо сдвинув брови, Варвара сказала с железом в голосе:

— Я буду работать в искусстве!

— Это как же? — удивился немного захмелевший дед.

— Ну... в театре, например, — еще громче и даже зло произнесла Варя.

— Тоже... работа! — зевнул дед.

— А талант у тебя есть? — осторожно спросил Родион Мефодиевич. — Я, понимаешь, Варюха, ничего этим обидного не хочу тебе сказать, но слух у тебя, например, не слишком чтобы... И сама ты... вроде репки... крепенькая, таких артисток я что-то не видел.

— Вырасту! — угрюмо пообещала Варвара. — И мучного мне нужно есть поменьше. Что же касается голосовых данных, то я же в оперу не собираюсь — это во-первых, а во-вторых — голос развивается.

Володя смотрел на Варю с жалостью. Она показала ему язык и отвернулась.

Вечером, попозже, Афанасий Петрович читал какую-то тоненькую, пеструю книжку. Удобно уложив ноги на диванный валик, он не торопясь покуривал и удивлялся:

— Скажи пожалуйста! Оказывается, птица орел — единственное в мире пернатое, которое может смотреть прямо на солнце. А? Отсюда и выражение — глаза орла. Слышал, Владимир?

— Нет, не слышал.

— Красивые, они дьяволы! — продолжал отец. — Я еще когда на «сопвиче» летал, любовался: идет прямо в лоб машине, хоть отворачивай. Смелые птицы...

Аглая мечтательно улыбалась, слушая брата, темные зрачки ее мерцали. На столе тонко пел самовар, и казалось, что всегда они так вот были, все втроем, вместе, и всегда непременно будут вместе...

Но на рассвете отец улетел. Провожать себя он запретил.

— Дальние проводы — лишние слезы, — сказал он весело, допил чай, ткнул сына в плечо, как при встрече, обнял сестру и вышел.

Володя перевесился в окно.

Отец стоял на крыльце, поглядывая в сереющее небо. «Глаза орла», — почему-то вспомнил Володя. Фонарь освещал простоволосую голову Афанасия Петровича, фуражку он держал в руке. Таким Володя Устименко видел своего отца последний раз в жизни, таким и запомнил навсегда: стоит человек на крыльце и приглядывается к небу, — там его летчицкая дорога.

Подарки

Уже рассвело, когда Афанасий Петрович пришел на аэродром. Неподалеку, возле Унчи, прохаживался в своем белом морском кителе Степанов.

— Говорил, не надо! — хмуро произнес Устименко.— Чего не выспался?

— Не спалось, — ответил Степанов. — Да ведь я тебе и не мешаю, лети. За хвост не уцеплюсь...

Подошел дежурный, они немножко поговорили с Афанасием Петровичем. Погодя пришли еще два парня. Устименко послушал мотор и закурил со Степановым.

— Теперь когда увидимся? — спросил Родион Мефодиевич.

— Да, надо быть, не скоро...

— Отпуск где гулять будешь?

— Грязями полечиться хочу,— сказал Устименко. — Рана старая, а ноет. Ты чего невеселый, морячило?

— Да нет, нормально! — со вздохом произнес Родион Мефодиевич.

Мотор опять загудел, затих и снова загудел. Техники что-то проверяли. Устименко пожал Степанову руку своей жесткой, сильной ладонью, натянул перчатки и легко, как мальчик, залез в машину. Что-то похлопотал там, усаживаясь ладно, крикнул свои летчицкие командные слова, и самолет, подпрыгивая, побежал по взлетной дорожке. А через несколько минут черная точка растаяла в небе.

«Как же мне все-таки жить? — подумал Степанов. — Ведь так больше нельзя? Или можно? Или другие тоже, случается, так живут, но не думают об этом, не мучают себя?»

Впрочем, он не имел права думать обо всем этом в состоянии несправедливого раздражения, а сейчас он был раздражен. Но спокойствие не так легко отыскивалось, когда дело касалось Евгения, так же как он не мог до сих пор быть совершенно спокоен с Алевтиной. Ни спокойным, ни справедливым он с ними не бывал, так ему казалось, потому что он чрезвычайно строго к себе относился. И ему опять, в тысячный раз представилось ее лицо, прическа, сделанная в парикмахерской, и тот взгляд, который он заметил на себе вчера, в день приезда: взгляд покорной ненависти.

— Я уезжаю на дачу, — сказала она ему, едва он вошел. — Невозможно все лето дышать духотой и пылью. И так с этими экзаменами я совсем измучилась.

— С какими экзаменами? — не понял он.

— С Евгением.

— А ты ему помогала готовиться? — не сдержался Степанов.

— Я создавала ему условия! — сказала Алевтина. — Ты до сих пор не можешь так содержать свою семью, чтобы у меня была хоть одна прислуга...

— Опять двадцать пять? — белея от бешенства, спросил он. — Или тебя устраивают те названия того времени, когда тебя...

— Замолчи! — взвизгнула она.

Больше всего эта бывшая горничная боялась, что кто-нибудь узнает ее прошлое: словно она была воровкой или убивала людей!

Так они встретились — муж и жена.

Она хотела, чтобы он уехал, и Евгений хотел, но он решил не уезжать. У него была Варя, да и куда деваться сейчас, когда корабль поставлен в док, путевку на юг он не взял и его почти насильно прогнали с флота отдыхать. Пусть себе едет на дачу, к своей подруге Алевтина, он останется. Здесь тихо, под окнами растут тополя и березы, можно принять душ, полежать с книгой, вечером пойти в городской сад и послушать музыку, а когда Варя освободится, — о, тогда они поедут на пароходе или вообще придумают что-нибудь удивительное...

А пока пусть всем будет хорошо!

В конце концов Евгений студент. Может быть, он и неправ по отношению к парню; может быть, действительно все дело в том, что тот его пасынок. Надо все это

поломать, надо устроить нынче день счастья всем! И Володьке Устименке, и Аглае, и деду Мефодию и Евгению, и Варваре. Разумеется, он виноват перед Женей. Варю он выписывал к себе в Кронштадт, а Евгений оставался с Алевтиной. Да и разговаривал ли он по-настоящему со своим пасынком? Нет, нужно привести все в порядок, нужно наконец найти ключ к душе этого будущего медика!

Полный этих размышлений, он побрился в квартире, где все еще спали, принял душ, взял много денег и отправился по магазинам. В комиссионном он купил фотографический аппарат, в «Гастрономе» — пирожков и пирожных, сардин, клубники, вина и еще всего самого дорогого и вкусного. У Родиона Мефодиевича было голодное, тяжелое детство, и он никогда не был мотом, хорошо зная, что́ стоят деньги, но в этот памятный ему день он мотал без счета, весело, даже счастливо. Варваре он купил красную вязаную кофточку, деду Мефодию новые ботинки, Володе Устименке собрание сочинений Герцена в хороших переплетах с кожаными корешками. А на вечер достал всем билеты на оперу «Фауст». В городе гастролировали москвичи, и получить билеты было очень трудно. Покряхтывая от неловкости, Степанов пошел к жирному, очень солидному администратору, сказал, что он командир корабля, в отпуску и желал бы...

— Все желали бы, — нагло ответил администратор.— К сожалению, наш Дом культуры не резиновый...

Все-таки шесть билетов в восемнадцатом ряду Родион Мефодиевич достал. И, обтирая потный лоб платком, сел в такси, заваленное покупками.

Варвара уже убежала, когда он приехал, а Евгений вялым голосом говорил по телефону:

— Надоели, а надо! — услышал Родион Мефодиевич. — Все-таки декан, мало ли как сложится жизнь. Не плюй, дитя, в колодезь, пригодится воды напиться...

— А я слышал иначе, — жестко произнес Родион Мефодиевич, входя в столовую, — не пей из колодца — пригодится плюнуть...

Женя зажал трубку ладонью и косо взглянул на отца.

— Остроумно, но только нежизненно, — ответил он Степанову. — Жизнь, папуля, не такая простая штука.

И, усевшись в кресло, он вяло и длинно заговорил с каким-то своим товарищем. На Евгении была его про-

клятая сетка для волос, и, разговаривая, он все время потягивался и позевывал. Но Родион Мефодиевич все-таки не поддался враждебному чувству, охватившему его. Он вновь сказал себе, что дети ни в чем не бывают виноваты, а виноваты во всем их родители. Он принадлежал к тем людям, которые умеют жестоко винить себя даже тогда, когда ни в чем решительно не виноваты, не говоря о тех случаях, когда вина бывает косвенной. И он вновь, хоть уже искусственно, стал вызывать в себе то чувство, которое испытывал утром, и, покуда Евгений болтал, разложил на столе подарки, а поверх билеты в оперу.

Евгений договорил, повесил трубку, еще потянулся и, лениво переступая короткими ногами, подошел ближе.

— Это хороший аппарат, — сказал Родион Мефодиевич, — солидная вещь. Оптика у нас первоклассная, а уметь снимать приятно бывает...

Слова с трудом выходили из его горла. И фраза получилась глупой, длинной, и голос у него был какой-то словно бы искательный.

— Зеркалки, пожалуй, удобнее, — задумчиво ответил Евгений.— Вот у Ираиды, у дочери нашего декана, зеркалка цейсовская, у нее внешний вид красивый, шикарно выглядит. А для этой чертовины еще и штатив нужен. Громоздко, пожалуй.

— Штатив я купил,— с готовностью, быстрее, чем следовало, сказал Степанов, — без штатива, ты совершенно прав, без штатива не поснимаешь. Но для начала такой аппарат, Женя, очень хорош. У нас еще в училище паренек был один, кстати его тоже Евгением звали, художественные засъемки делал; пчелу, знаешь, очень натурально на гречихе снял, мохнатенькая такая, фотографию даже в газете напечатали, по конкурсу, а аппарат куда хуже твоего...

— Так ведь я и не говорю, что он плох. Аппаратик ничего, громоздок только, сейчас такие аппараты никто из наших ребят не носит...

— А кто это — ваши ребята?

— Ну как же, ты же знаешь: Кириллов, Бориска, Семякин, мы с ними часто собираемся, проводим время...

Родион Мефодиевич кивал головой на каждую фамилию, хотя никого решительно не знал.

— А Устименку ты что же не называешь? — спросил

Родион Мефодиевич и вытянул вперед шею. — Где же Володька? Разве он недостаточно хорош для вас?

Евгений слегка побледнел. В глазах появилось знакомое Степанову выражение покорной злобы.

— Знаешь, папа, — далеко стоя от Родиона Мефодиевича, сказал он. — Знаешь, честное слово, я никогда не понимаю, чего ты от меня хочешь! Твой Володька одержимый, маньяк, а мы простые ребята. Я не уверен, может быть, из него действительно образуется великий человек, не спорю, но, если хочешь, мы молоды и нам нравится брать от жизни все веселое и хорошее...

— Так, ясно! — кивнул Степанов.

— В конце концов Советская власть есть Советская власть, — несколько приободрившись и более мирно, даже доверительно продолжал Евгений. — И не для того ты и мама столько переживали и все вы сражались, чтобы ваши дети не видели ничего веселого или вообще счастливого...

— Ясно! — перебил Степанов.

Ему было душно, он открыл окно и попил теплой воды из графина. «Не ссориться, не ссориться! — твердил он себе. — Разобраться! Это она, Алевтина, внушила эти штуки Евгению. Это ее рук дело, это она губит парня». И, чтобы перевести разговор, он спросил, как мама живет на даче.

— Скука там, мухи дохнут, — ответил Евгений, поставив ногу на стул и завязывая шнурок бантиком. — Там ведь по соседству портниха ее, Люси Михайловна...

— Француженка, что ли?

— Зачем француженка? Русская. Они с мамой дружат, но очень тоже ссорятся. Давеча Люси органди ей испортила...

— Чего испортила?

— Да материя такая, пестрая, твердая — органди.

— Понятно! — произнес Степанов, хотя ничего не было ему понятно. — Теперь еще один вопрос: что это у вас за картина новая?

И Степанов поглядел на поблескивающее под лучами утреннего солнца стекло. Под стеклом было изображено рыжее, песчаное, тоскливое поле и несколько растений, покрытых колючими бородавками.

— Кактусы, — равнодушно сказал Евгений. — Новое мамино увлечение. Они с Люси их разводят.

— Кактусы?
— Ага.
— Варенье из них варят, что ли?
— Никакое не варенье, — с улыбкой сказал Женя. — Это красиво, понимаешь. Просто для красоты.
— Ну, а аквариум? Что-то я его не вижу.
— Аквариум вынесли. Рыбы там заразились чем-то, все померли. И не подохли, заметь, а померли. Мама сердится, если скажешь — подохли.
— Померли! — повторил Родион Мефодиевич. — Так, ясно. Ну, а вот с кактусами все же не разобрался я: что — цветут они, что ли, красиво или запах у них хороший?
— Да нет, просто зеленые колючки. Это модно, понимаешь? Модно восклицать: «Боже, какая прелесть!» И все!
— Ну ладно, чего там толковать! — сказал Степанов. — Мы вот что, пообождем немного Варвару, потом пообедаем закусочками всякими с Володей и с Аглаей и двинем в театр. Как считаешь?
Евгений молчал.
— «Фауст» Гуно, опера, — погодя добавил Степанов. — Мефистофеля Сверлихин поет, голосина настоящий.
— Сверлихин-то Сверлихин, но ничего у нас, папа, не получится, — сказал Евгений задумчиво. — Я нынче приглашен, и отказываться неловко. А днем мы все сговорились идти на футбольный матч. Унчане с «Торпедо» играют — не шуточка... Так что вам уж без меня как-нибудь придется...
— Ясно! — в который раз сказал Родион Мефодиевич. — Понятно...
И, наклонив голову, вышел из комнаты.

Дед

Варвары все не было, день тянулся, пустой, бессмысленный, душный.
Наконец пришел дед Мефодий, принес веник молодого луку, редиски в газете, бидон хлебного квасу. Дед приезжал к сыну преимущественно в отсутствие Валентины Андреевны, при ней жить подолгу не смел. Ее бесило,

когда он ходил по квартире босой, в рубашке без пояса или, выпив стопку, тонким и умиленным голосом пел: «Ах ты, бедная, бедная швейка, поступила шестнадцати лет», или вдруг угощал гостей: «Кушайте, пожалуйста, у нас еще много есть!» Пожив немного, дед делался каким-то торопливо-испуганным, начинал часто моргать, кланялся ниже, чем следовало, замолкал и уезжал к себе в деревню, в пустую, пахнущую перьями и золой избу.

Без Валентины Андреевны (про себя дед Мефодий называл невестку «Сатанина Андреевна») он жил тверже, покуривал свою трубочку не только в кухне, но даже и в коридоре и громко делился с Варварой своими воспоминаниями, но когда к Евгению приходили товарищи, дед затихал и вовсе не показывался, говоря с усмешкой, что ему и тут не надует, покуда там барчуки гостюют. А однажды Родион Мефодиевич видел, как какой-то Женькин товарищ велел деду сходить за папиросами.

У Степанова сосало под ложечкой, когда он видел, как тишает и без того кроткий дед, но Алевтина так краснела, когда дед выходил к гостям, что Степанов, не зная, кого больше жалеть — деда или жену, испытывал и горечь и облегчение, провожая старика на вокзал и суя ему в карман еще денег «на всякий случай».

Они пообедали вдвоем, так и не дождавшись Вари. Дед сидел в непомерно длинном пиджаке, бородатый, его маленькие светлые, как у сына, глаза со строгой почтительностью смотрели на Родиона Мефодиевича, и, разговаривая с ним, он называл его Родионом, но так, что можно было подумать, будто он произносит и отчество тоже. Пирожки и сардины дед из деликатности не ел, но засовывал в рот лук пучками, говоря при этом, что лук, видно, нынче здорово сильно уродился, потому что дешев. Этим сложным путем отец давал понять сыну, что даром деньги он не кидает и интересы Родиона Мефодиевича в хозяйстве свято блюдет.

Вдвоем они вымыли посуду, и Степанов предложил:

— Вот что, батя, не поехать ли нам нынче в театр? Желаешь? А то ты вроде нигде, кроме цирка, не был?

— Можно и в театр! — ковыряя спичкой в зубах, сказал дед. — Я не против. Куда люди — туды я, чего ж тут!

Но глаза у него сделались озабоченными, и он стал часто моргать, словно испугавшись.

Наконец явились Варвара с Володей. Целый день Родион Мефодиевич ждал ее, а она, оказывается, ездила с Володей в ателье примерять «первый настоящий костюм — пиджак и брюки студенческие».

— Это какие же студенческие? — неприязненно спросил Степанов.

— Да ну, вздор она порет,— ответил Володя.— Из отцовского обмундирования перешили мне. Варьке же непременно нужно командовать...

Он сел на диван и сразу погрузился в какую-то книжку, а Варя, охая от восторга, ела пирожки и пирожные вместе, запивала лук квасом, потом ткнула палец в солонку, облизала и сказала:

— Грандиозно!

Сразу после чая дед стал готовиться к театру, чистил в кухне сапоги, долго почему-то ходил по квартире в нижнем белье, а потом, озабоченно моргая, заправлял брюки то в сапоги, то выпускал их наверх, на голенища. А Родион Мефодиевич курил и думал о том, что за все эти годы не удосужился купить старику приличный костюм. «Кактусы, — перечислял он в уме раздражающие слова, — органди, аквариум!»

— Возьми-ка надень мой штатский, — сказал Степанов, — ты невелик ростом, как раз впору будет. Не срами меня, оденься культурненько...

Старик поддался на слова «не срами меня», надел рубашку апаш и синий шевиотовый костюм. Перед зеркалом он сделал грозное лицо и сказал:

— Ну и ну! Ай, едрит твою в качель!

За Аглаей зашли по дороге. Она уже ждала на крыльце — праздничная, в белом платье, очень румяная, с сумеречно поблескивающими глазами.

В театре дед тыкал пальцем на сцену и громко, никого не стесняясь, не обращая внимания на шиканье, спрашивал:

— Это кто? Чего он? Которая ему жена?

Или крякал и сердился:

— Дурак! Ну дурак и дурак! Душу продавать? Ай-ай!

Кругом тихо посмеивались, а Родион Мефодиевич улыбался и переглядывался с Аглаей: удивительно умела молчать и улыбаться эта женщина!

В антракте дед, прогуливаясь, норовил пройти мимо

зеркала и каждый раз при этом делал грозное, неприступное лицо, приговаривая одними губами:

— Ну и ну! Это да!

Больше всего деду понравился Мефистофель.

— Хитрый, видать, — говорил он, — именно, что дьявол. Добился своего. Нет, тут дело такое — не вяжись! Верно говорю, Варя?

После театра

Ужинали дома. Евгения еще не было. Варвара о чем-то шепталась с Володей, и Степанову казалось, что она ломается; дед с сожалением снял шевиотовый костюм, выпил водки и ушел спать. Аглая и Родион Мефодиевич сидели у окна; она, не жалуясь, рассказывала ему, что устает, — выматывает езда по области, бездорожье; дурацкое, чиновничье отношение к делу некоторых работничков.

— Молодость-то миновала,— произнесла она вдруг,— силы не те. Иной раз раскричишься зря; бывает, что и обидишь кого...

Сложив маленькие смуглые руки на колене, она потупилась, потом взглянула Родиону Мефодиевичу прямо в глаза и спросила:

— Тебе тоже не легко, Родион? Вижу я — виски седеть стали...

Он виновато улыбнулся и налил себе вина.

— На флоте не жалуюсь, Аглаюшка, а здесь как-то... Не вышло, не состоялось, что ли... Вот Евгений...

— Что Евгений? — спросила Аглая.

— Не понимаю!— с тоской сказал Степанов.— В толк не взять...

— А вот Владимир понимает. И довольно точно. Володя! — окликнула она племянника. — Расскажи Родиону Мефодиевичу то, что давеча мы с тобой говорили насчет Жени.

— Да ну! — тряхнул головой Володя.

— Говори, — сказал Родион Мефодиевич, — чего уж там...

— Я грубо могу говорить, — произнес Володя, вставая с дивана. — Я деликатно не могу...

Родион Мефодиевич попытался улыбнуться:

— Деликатно и не прошу.

— Не знаю, кто тут виноват, судить не берусь,— сказал Володя,— но только ваш Евгений все как-то вбок живет, понимаете? Я это ему недавно в личной беседе высказал, поэтому не стесняюсь и вам прямо это же повторить.

Он встряхнул головой, подумал и заговорил ровным, глуховатым, жестким голосом:

— За то, что я ему высказал, он меня назвал лектором, пай-мальчиком и разными другими приятными словами, чуть ли даже не карьеристом. Но мне это все равно, я так думаю и думать иначе не могу. Каждый человек в нашем государстве должен жить плодами своего труда, только своего, а не отцовского и не дедушкиного, верно, Родион Мефодиевич?

— Ну верно! — почему-то сердито ответил Степанов.

— Вот мы недавно с Варварой рассуждали насчет серпа и молота. Лучше нельзя придумать — серп и молот! Они символ нашего общественного уклада, и в этот символ куда больше вложено, чем только рабочие и крестьяне. В этом символе весь закон нашей жизни, главный закон, разве не так, Родион Мефодиевич?

— К сожалению, еще не для всех,— уже не сердито, а грустно подтвердил Степанов.— Вот и Варя что-то крутит, не поймешь чего, не то геология, не то искусство театра, а о пользе общественной...

— Теперь я виновата! — обиделась Варвара.— Уж нельзя и помучиться с выбором специальности.

— А что? — жестко перебил Володя.— Действительно, многовато мучаешься. Впрочем, не о тебе речь. Евгений, Родион Мефодиевич, отдельно живет, мне это неприятно вам говорить, но он живет не собою, а вами, то есть вернее при вашей помощи, но при этом отдельно от того символа, о котором я давеча толковал. И не то, чтобы он спекулировал, ничего подобного, он вами нисколько даже не спекулирует, но он вас в запасе держит — для мало ли чего. И теория у него неправильная: он считает, что вы обязаны Варе и ему создать великолепную жизнь, так как сами и Валентина Андреевна хлебнули тяжелой и трудной. Он и его друзья, а я некоторых знаю,— они уверены, что революция делалась для них лично, для того чтобы прежде всего им сытно и тепло жилось. Это неправильно, и вы тут неправы с тем,

что все для детей, но я говорить не стану, вы рассердитесь...

— Нечто в этом роде я и предполагал, — произнес Родион Мефодиевич, — нечто в этом роде, но разве вас разберешь? Черт вас знает, что за народ...

Сложив руки за спиною, он ходил из конца в конец по столовой своей твердой поступью. Лицо у него было растерянное, почти несчастное.

— Евгений приспособленец, — негромко, но очень твердо сказал Володя.— Молодой, но в чистом виде. Уже совершенно готовый.

Степанов поморщился.

— Это точно? — спросил он.

Володя молча пожал плечами.

— Мы немножко иногда любим переусложнять! — сказала Аглая. — Конечно, жизнь штука сложная, но вот, например, ябеда в школе, наушник и доносчик — разве это уже не характер? Я тебе, Родион, точно и грубо скажу — я вашего Женю терпеть не могу давно и думаю, что тебе с ним нужно повести не просто воспитательную работу, а борьбу, вплоть до чего угодно..

— До чего же именно?— с горькой усмешкой спросил Степанов. — Или вам непонятно, что по отношению к Жене мои права не только ограничены, но их нет. Обязанности у меня есть, а прав нет. Ну, да, впрочем, что об этом толковать...

Вошел дед во флотской черной шинели, накинутой на исподнее, спросил:

— Квасу не видел? Воды три корца выпил, не помогает. И не кушал будто ничего такого...

Оглядел всех, сконфузился, заметив завязки от кальсон, и ушел искать свой квас.

— Так-то! — сказал Родион Мефодиевич. — Веселый вечерок. Ну уж вы меня извините...

Проводив гостей, он поцеловал Варвару и, увидев жалость в ее глазах, сказал, что хочет спать. Чего-чего, а жалости к себе он не переносил. Варя долго фыркала в ванне, потом и она затихла. Степанов вернулся в столовую, налил себе холодного чаю, зашагал по комнате из угла в угол.

Евгений вернулся поздно, открыл своим ключом дверь и вошел в столовую. Отец все еще ходил из угла в угол с папиросой в руке.

— Добрый вечер! — поздоровался Евгений.

— Добрый вечер! — ответил Степанов. И добавил, что можно бы приходить и пораньше. Впрочем, он не сердился. Ему просто показалось, что к нему незванно пришел чужой человек.

Этот чужой юноша сел за стол и принялся ужинать, слишком быстро почему-то рассказывая, как играл правый край и как они все после матча поехали на дачу к Шилину, как они там пили ледяной лимонад, купались и вообще провели время. Родион Мефодиевич молчал и слушал. Может быть, если просто молча слушать, то отыщется утерянный ключик. Ведь было время, когда он подолгу носил маленького, больного, сопливого Женьку на руках, когда доставал для него в голодном Петрограде сахар, доставал унижаясь. Было время, когда показывал Женьке буквы. Как же так? Приспособленец? То есть чужой человек? Человек, который все делает только для себя?

И опять, в который раз, Родион Мефодиевич задавал себе один и тот же вопрос: когда, как, почему это случилось?

И вдруг понял — почему.

Его словно осенило: потому что было время, когда вся жизнь Алевтины сосредоточилась на Женьке. Он был всем, все делалось ради него, ему можно было все. Разве имел право Родион Мефодиевич, измученный и усталый, послать мальчика за бутылкой пива, за папиросами или за спичками? Мальчик должен только испытывать радости, а если не радости, то учиться. Детство — самое счастливое время, утверждала Алевтина. А если Степанов возражал, она говорила:

— Ты так думаешь, потому что он тебе не родной. Сирота, конечно... Обидеть его, имей в виду, я не дам. Запомни...

Лет пять назад за семейным обедом Евгений безобразно схамил Родиону Мефодиевичу. Как все добрые люди, Степанов был вспыльчив. Никого не видя, почти теряя сознание от бешенства, он схватил со стола стопку тарелок и шваркнул ими об пол. Завизжала Алевтина, повисла на отце маленькая Варя. Евгений, побледневший, сказал спокойно:

— Псих ненормальный!

Степанов ушел из столовой. За стенкой было слышно,

как Алевтина что-то быстро и кротко говорила Евгению, было слышно, как тот отвечал:

— Да пошел он к черту, дурак старый!

Потом Евгений напевал. Он ходил по коридору, топал ногами и нарочно напевал. Напевал, чувствуя свои силы, свою власть, напевал, понимая всю беспомощность отчима. Конечно, почему было Жене и не напевать? Он ведь нервный мальчик, а отец у него хам, мужик, быдло. Это последнее слово из лексикона мадам Гоголевой очень прижилось к Алевтине.

Вот и вырос чужой юноша.

Сейчас он сидел, жевал пирожки, сардины, ягоды, пил чай. И странное дело — его взор был горячим и ласковым. Он смотрел на Родиона Мефодиевича иначе, чем раньше. Ох, какой знакомый взгляд. Такой взгляд делался у Алевтины, когда, измучив мужа своими постоянными попреками, она хотела мира в доме. И он хотел мира в доме, хотел добрых отношений с отцом, хотел приспособиться к отчиму, догадался Родион Мефодиевич, — только приспособиться, ничего больше.

С суровым любопытством вглядывался Родион Мефодиевич в этого чужого юношу. Что ж, парень как парень: лицо чистое, загорелое, глаза прозрачные, мягкие волосы, белые зубы. И взгляд открытый, прямой. У Родиона Мефодиевича был наметанный глаз на людей: тысячи прошли через его руки — низкое и подлое он отличал от настоящего быстро, с лету, ошибался редко, почти никогда.

— Да вот еще, пап, — сказал Евгений. — Просьба к тебе. У нас декан очень симпатичный старикашка, звезд с неба не хватает, но ко мне лично относится превосходно. Завтра день рождения его дочки, мы с ней дружим. Нас с тобой пригласили...

— А я тут при чем?

— Так ведь расскажешь что-нибудь, мало ли, у тебя биография слава богу. Хотя бы про Нестора Махно. Или как ты в ЧК работал. Смешные у тебя есть истории, а? Пойдем, правда, они очень просили...

— Я подумаю! — с трудом ответил Родион Мефодиевич.

И стал искать в карманах папиросы, которые лежали перед ним на столе.

Полунин рассказывает

Учился Володя мучительно.

Еще на первом курсе он прочитал знаменитые «Анналы хирургической клиники» Пирогова, в которых тот подвергал сомнениям многие неоспоримые истины своего времени и сам начал кое в чем сомневаться. Самоуверенность иных преподавателей настораживала Володю, а его постоянно недоверяющий взгляд раздражал профессуру. Институт имени Сеченова совершенно выматывал Володины силы. Устименко не знал, что такое праздно и аккуратно записывать лекции для того, чтобы потом заучить их, как делывал это Евгений — образец исполнительности, почитания преподавателей и душа-парень. И истерически готовиться к экзаменам Володя не умел. Он слушал лекции и запоминал все важное, нужное и полезное, все же, что казалось ему общими местами, он отмечал внутри себя для того, чтобы на досуге найти возражения этим общим непоколебимым истинам и доказать всю их несостоятельность. Но тем не менее он всегда знал то, что положено было знать, он знал даже больше, только всегда по-своему. Любимый им Ганичев нередко говаривал:

— Один мудрый француз патологоанатом презирал научные степени, но считал, что презирать удобнее, находясь на высшей ступени этой проклятой лестницы, а не у подножия ее. Запомните, Устименко: человека, стоящего внизу, могут заподозрить в тупости и зависти...

На третьем курсе Володе очень стал нравиться белокурый, огромного роста, всегда немного задыхающийся профессор Полунин, близкий друг Ганичева. У Прова Яковлевича были морковного цвета щеки, толстая шея, льняные, мелко вьющиеся волосы. Говорил он страшным,

густым, рыкающим басом, был непочтителен к тому, о чем некоторые преподаватели говорили даже с восторженным придыханием в голосе, и порою рассказывал студентам странненькие истории, казалось бы, совершенно, что называется, ни к селу ни к городу:

— Вот Иноземцев Федор Иванович,— сообщил он однажды,— вполне светлая личность в истории нашей медицины, талантливый человек, мощный ум, я бы выразился даже — пронзительный во многом. Разумеется, диагност первостатейный, или даже, как нынче говорят,— экстра. Ну и, конечно, весьма модный в свои времена доктор. Вам известно, надеюсь, что такое частная практика?

— Известно! — загудел третий курс, знавший о частной практике преимущественно из чеховского «Ионыча».

— Любила Федора Ивановича эта самая частная практика, ну и он ею не брезговал,— продолжал Полунин.— Уважал спокойствие, обеспеченное капиталом, а так как одному было не справиться с многочисленными пациентами, то пришлось Иноземцеву содержать целый штат помощников, которые назывались «молодцами с Никитской» — в честь лично принадлежавшего Федору Ивановичу особняка на Никитской улице первопрестольной нашей Москвы. В ту пору своего практического возвышения очень увлекся Федор Иванович нашатырем, как панацеей отряда болезней и вообще от катаральных состояний. Нашатырная эта теорийка, друзья мои, ничем не хуже многих иных — современных профессору Иноземцеву. Но интересно то, что когда иные выдуманные, сфантазированные теории мгновенно проваливались в тартарары,— нашатырная цвела пышным цветом. Как же это могло случиться?

И Полунин хитро поглядывал на аудиторию, ожидая ответа. Но все молчали. И с невеселым вздохом Полунин продолжал еще дальше свое повествование:

— А могло это случиться потому, что «молодцы с Никитской» — всё люди тертые, дошлые и о себе исправно пекущиеся — молодые, средних лет и на склоне оных — доставляли своему патрону сведения только о чудесных исцелениях при помощи нашатыря — салманки проклятой. Выдавая желаемое Федором Ивановичем за сущее, они ставили его, прекрасного, в самом высоком смысле этого слова, доктора в глупое положение перед студен-

тами, которые над нашатырем уже смеялись. Но Иноземцев давал своим молодцам, а вернее лекарям-лакеям, хлеб не скупою отнюдь рукой — и хлеб давал, и мед, и млеко. В благодарность за то, а также из боязни огорчить своего шефа и патрона, сии «молодцы с Никитской» беззастенчиво обманывали Иноземцева. Они, по выражению Николая Ивановича Пирогова, «жирно ели, мягко спали и ходили веселыми ногами в часы народных бедствий», а Иноземцев, разумеется, заслуг своих величайших перед наукой не потерял, но в смешное положение себя перед своими современниками поставил, а так как среди современников непременно находятся и летописцы, то нет такого тайного, что впоследствии не стало бы явным. Анекдот этот я привел вам нисколько не для умаления памяти Иноземцева, а только для того, чтобы на таком явственном примере упредить: никогда, дорогие товарищи сыны Эскулапа, не давайте проверять ваши открытия людям, зависящим от вас материально, людям, вам подчиненным и с вами иерархически связанным. Смешок —препоганая штука. Он надолго прилипает к самому наиталантливейшему человеку, ежели тот обмишурится. Очень в этом смысле надо за собой следить и за своими коллегами, говоря ради них самих, ради товарищеских отношений, ради чести врачебного сословия — одну лишь правду, только правду, всегда правду...

Чем дальше, тем явственнее Пров Яковлевич отмечал на курсе Володю и иногда подолгу разговаривал с ним вдвоем в тихом институтском парке. Там он отдыхал, выходя из своей терапевтической клиники, курил толстые папиросы собственной набивки, посматривал в небо, рассуждал, словно продолжая прерванную недавно беседу:

— Написать бы книгу об ошибках великих докторов. Предложил недавно одному умнику,— так рассердился, представить себе невозможно! И слова какие в ход пошли — дискредитация, разложение умов, подрыв научного миросозерцания, удивительно как рассердился мой умник! Ох, густо у нас еще с корпоративным духом, дышать иногда трудновато. Все почтеннейшие, все глубокоуважаемые, все в великие надеются пройти, хоть петушком, хоть бочком, а надеются. Но нелегко оно. Поэтому заранее обороняются — чтобы их миновала чаша сия. Минует! Интересны ошибки крупных людей, а не ваши,— так ведь даже и не слушают. Пирогов столь

велик был, что не боялся сам писать о своих ошибках. И весьма поучительно получалось для целых поколений,— так нет, отвечают, это не то. Разумеется, не то. А материал у меня собран отменный. Посмотрел кое-что мой умник и напомнил мне, как наша корпорация в свое время встретила «Записки врача» Вересаева. Это, говорит умник мой, еще цветочки, мы бы тебе ягодки показали, как они произрастают...

Как-то, повстречав Володю на Пролетарской улице, показал ему роскошно изданную книгу — в коже, с золотым тиснением, с золотым обрезом. И рассердился:

— Экая подлость! Как изволите видеть, название сему фолианту «Чума в Одессе» — исследование с приложением портретов, планов, чертежей и рисунков. На первом месте находим мы портрет Дюка де Решилье, засим Воронцов при всех регалиях, исполненный чувства собственного превосходства над малыми мира, ну-с барон Мейендорф и прочие победители одесской эпидемии. И, обратите благосклонное внимание, ни одного врача. Крыса изображена, селезенка чумной черной крысы тоже нашла себе место вместе с бубоном черного пасюка, а докторов-то и нет. Недостойны! Скромность на грани подлости! Купил у букиниста, перелистал и расстроился. Почему дюки эти, графы и бароны в эполетах с вензелями, с аксельбантами и знаками орденов изображены, а прекрасный наш Гамалея — бесстрашный и чистый сердцем доктор — не удостоен? Впрочем, будьте здоровы!

В другой раз, сидя на своей любимой скамье, рассказал Володе:

— Известно, что великий Боткин Сергей Петрович тратил много сил на борьбу с иноземным засилием в отечественной медицине, и было это исторически справедливо, потому что, например, главный медицинский инспектор в ведомстве императрицы Марии лейб-медик Рюль не только говорил, но и *писал* даже, что «пока я буду медицинским инспектором мариинских учреждений, никогда не станет не только старшим врачом, но и ординатором в учреждении под моим ведомством ни один *русский* врач». И это писалось в России и одобрялось царской фамилией, не знавшей по-русски. Оно так, оно, конечно, бешенство Сергея Петровича справедливо, но зачем же даже ему, тем более ему, Боткину, стулья

ломать? Ведь он тем самым *опускался* до лейб-медика Рюля, но отнюдь над ним не возвышался. Ведь, рассердившись, разгневавшись, будучи в крайности, Сергей Петрович стал совершать постыдные для своего имени и для нашего отечества глупости, выкидывать антраша, вплоть до неприличных анекдотов, потому что ведь согласитесь, всякий шовинизм и национализм есть гадость. Так если Рюль — подлец и холуй, зачем же его способами действовать? А наш великий Боткин по этой дорожке именно и пошел и дошел до того, что при оценке достоинств кандидатов на ординаторские должности брал только тех, кто носит фамилии на «ов» или на «ин». И опять-таки несмешной случай приведу вам. Было Сергеем Петровичем отказано способнейшему юноше по фамилии Долгих. В спешке консультаций, приемов и визитов великий наш Боткин решил, что сибиряк Долгих немец, как, например, ненавистные ему на «их» — Миних, Либих, Ритих. Не вдаваясь в позор отбора кандидатов по этому принципу, добавлю еще, что и здесь честным людям следовало бороться с завиральностью Боткина, но они предпочли *обойтись и стушеваться,* тем самым подставив имя и величие нашего Боткина под многие удары, как прижизненные, так и впоследствии. А зачем?

Всему курсу вдруг жаловался:

— Что делали с наукой русской, что только делали! Сергея Петровича Боткина, доложу я вам, величайшего учителя целого поколения русских врачей, определили лейб-медиком к стареющей стерве — императрице Марии Александровне и на продолжительное время заставили бросить академию. А ведь там-то и была его жизнь, ибо жизнь есть не что иное, как делание. Самый расцвет был боткинского гения, самое время работать и работать, а он прогуливался то в Ливадии, то в Каннах, то в Сент-Ремо, то в Ментоне. «Как изволили почивать, ваше величество?» О, черт!

Ласково щурясь, похаживая перед кафедрой, рассказывал курсу о гениальных докторах прошлого, о которых знал очень много, подробно, так, будто был близко знаком им. Вообще Устименко замечал, что при всем своем критическом складе ума Полунин очень любил говорить о людях хорошо, удивляться талантливости, глубине и силе мысли, работоспособности, «полной отдаче своему занятию», как выражался Пров Яковлевич.

— В истории медицины очень скучно о них пишут,— говорил Полунин.— Какие-то они все, наши дорогие, ужасно там приглаженные и вроде бы все с венчиками или, может быть, даже блинов не ели, не влюблялись и не сердились. А они люди были, как Пушкин или как иные гениальные человеки. Еще, прошу заметить, очень мы скупы на истинное определение иного медицинского деятеля в смысле того, чтобы полностью отдать должное уму и силе деятельности данного работника. Жадны на этот счет наши медицинские писатели, боятся покойника перехвалить. Вероятно, это еще и потому, что любой покойник в разработке теорий своих где-то ошибался, ну, а раз ошибался, то как бы чего не вышло. Один знакомый мой дурак в статеечке нашелся даже упрекнуть замечательнейшего гения Захарьина в незнании микробиологии. Интересно одно только, и весьма даже интересно, что бы этот симпатичнейший дурак в захарьинские времена делывал и как бы сам себя лично в бурях эпохи развития микробиологии вел? Почему вы на меня таким ироническим взглядом, студент Степанов, смотрите, разве я что-либо дикое говорю? Я ведь только так, профилактически, чтобы вы, ученики мои, от греха подальше убирались, ежели в науке засвистит какой-либо очередной дурацкий ветрило...

Аудитория слушала завороженно. Евгений тщательно записывал насчет «дурацкого ветрила». Полунина он боялся и ненавидел, чувствуя, что Пров Яковлевич его презирает.

Володя сидел, склонив голову на руку, знал, что сейчас будет нечто интересное. И Полунин рассказывал:

— Повспоминаем Боткина, полезно. Кстати, читал он в Медико-хирургической академии в то же самое время, что и профессор ботаники — бывший садовник дворца великой княгини Елены Павловны — Мерклин. Сей высокопочтенный ученый читал буквально по бумаге и буквально следующее: «Растение состоит из *клеточков*, как каменная стена состоит из *кирпичев*». Но ведь он был садовником самой великой княгини,— почему же не сделать отсюда скачок в профессора? В эту же пору преподает талантливый человек, Евстафий Иванович Богдановский, крутой мужчина и враг учения Листера. Операции делает он в сюртуке, а дабы не испачкать сукно — еще и в черном клеенчатом фартуке. Лигатуры висят

на задвижке оконной рамы, и фельдшер, по мере надобности, мусолит для крепости каждую во рту, а передавая генералу, с почтительностью произносит: «Извольте *проверенную*, ваше превосходительство!» О карболке, сулеме и прочем нет и помину. И в эту же пору ярый поклонник Листера профессор Пелехин в порыве души так высоко вознесся, что сбрил в гигиенических целях не только бороду и усы, но даже брови...

Аудитория смеялась, Полунин раздраженно и обиженно говорил:

— Ничего смешного, товарищи будущие врачи, здесь нет. Путь науки трагичен, Пелехин верил, понимаете ли вы, верил и мучил себя и других своей верой в то, что именно так он будет спасать человеческие жизни. Я понимаю, товарищ Степанов, что вам Пелехин смешон, а я, и не стыжусь в этом признаться, плакал, когда узнал, как он себе, милый наш Пелехин, брови сбрил и таким чудищем не только домой пришел, но и в академию.

Порывшись в портфеле, Пров Яковлевич вытащил листок, помахал им, велел:

— Слушайте! Это профессор Снегирев на открытии первого в России съезда акушеров и гинекологов в речи произнес. В 1904 году дело было, не так уж, в сущности, и давно, в нашем веке.

И прочитал:

— «Не могу не вспомнить без ужаса, как по часу, по два, по три брюшная полость была открытой: больная, хирург и его ассистенты находились под непрерывным спреем (ну, спрей — это распылитель влаги, качали его, понятно, да?), спреем пятипроцентного раствора карболовой кислоты: и в полости рта у окружающих появлялся сладковатый вкус от карболовой кислоты, сухость слизистой, а в урине больной и окружающих врачей открывалось обильное количество карболовой кислоты. Мы отравлялись и отравляли больных, потому что верили *(верили!)*, что мы этим отравляем заразу в организме больной и в окружающей атмосфере. Да будет прощено нам это увлечение! Еще ужаснее стало, когда карболовую кислоту сменила сулема. Мы мыли руки и губки раствором ее, мы теряли зубы, а больная — жизнь...»

Большое лицо Полунина сморщилось, он сказал, пряча листок в портфель:

— Так претворялось в жизнь поначалу великое учение Листера. Смешно? Нет, не смешно! Прекрасный русский хирург Алексей Алексеевич Троянов сам умер от нефрита, развившегося под воздействием карболовой кислоты. И это не смешно. А теперь вернемся к Боткину. Сергей Петрович Боткин, чудеснейший этот цветок, расцвел в трудную для науки пору. И все-таки он создал школу, могучее движение в медицине, и, несмотря на отсутствие ораторского дара, на лекциях его *всегда* бывало не менее четырехсот, а то и пятисот слушателей. В диагностике он стоял неизмеримо выше *всех* своих современников, умел слушать, думать, всесторонне оценивать заболевание, больного и стратегически решать задачу. О силе его как диагноста свидетельствует множество фактов, о которых мы с вами беседовали, но вот вам еще один: привозят в клинику бабу средних лет. Из анамнеза ничего полезного узнать не доводится, сама же больная говорит, что дён восемь назад покушала *щучной* ушицы, после чего занемогла, перестала есть и свалилась. Ну-с, кашель, синюха на лице, конечности холодные, от пищи отказывается, дремлет. Опытными докторами болезнь определена, как катаральное воспаление легких. И вот приходит Боткин, выслушивает, постукивает, задумывается и характерным своим московско-замоскворецким говорком доверительно сообщает:

— Ищите завтра при вскрытии *тела* нарыв в заднем средостении, вблизи пищевода.

Представляете себе физиономии почтеннейших ординаторов, куратора и иных докторов — серьезных ученых, но, разумеется, не талантливых. А тут — гений!

Ну-с, вскрытие и заключение: «гнойное воспаление стенки пищевода, прободение его, с образованием нарыва в заднем средостении и гнилостное заражение крови».

Все стало понятно: рыбья кость, застряв в пищеводе, вызвала гнойный медиастенит со всеми последствиями.

Я произнес слово *гений* не случайно, товарищи студенты. Гений Сергея Петровича заключался в том, что он видел и слышал невидимое и неслышимое другими и умел выдвигать на первое место клинического анализа самое потаенное и, главное, страдание — умел отыскивать «гвоздь» болезни. Но объяснить многое из того, что чувствовал сам, не мог. Бывало, никто не улавливает ни-

каких изменений в сердечной деятельности, а он утверждает: «Я слышу акцентик!» Попозже слышит он «шумок». И только, когда болезнь подходила к трагическому своему финалу, другие профессора начинали слышать то, что утверждалось Сергеем Петровичем с самого начала. «Я вижу серовато-фиолетовый оттеночек покрова»,— утверждал Боткин, прикладывая к своим очкам еще и пенсне. И он, со своим слабым зрением, действительно видел то, что не видели другие. «Я ощущаю явственно бугорок!» — говорил он там, где никто еще ничего не ощутил. И поэтому авторитет Боткина был всегда и совершенно непререкаем...

Полунин помолчал, всматриваясь в напряженные лица студентов. И все понимали, что сейчас-то он и скажет самое главное, то, ради чего в который раз вспоминается Сергей Петрович Боткин.

— Однако же в непререкаемости есть свой особый трагизм, и не для того, чтобы опорочить память великого доктора, я расскажу вам один маленький эпизодик, но для того, чтобы вы извлекли для себя, как для врачей будущих, соответствующий вывод. В том академическом году Боткин уделял особое внимание тифозным больным, и случилось так, что аптекарский ученик фигурировал перед студентами в качестве объекта клинического разбора, произведенного Боткиным. Больной выздоровел, но долгое время жаловался на головные боли. Тем не менее, так как головные боли не укладывались в предначертанную Сергеем Петровичем схему, аптекарский ученик был обозначен, и притом официально, симулянтом, не желающим подчиниться формуле директора клиники: «Здоров, к работе способен». И *доктора, имеющие свое мнение, противное мнению Боткина, про-мол-чали.* Шестнадцатилетний же юноша умер, взял да и умер! Профессор Руднев по смерти аптекарского ученика сказал студентам уже в анатомическом театре:

— Посмотрим же на трупе, что это за болезнь — симуляция, которая причиняет неожиданно смерть.

Юноша скончался от гнойника в мозгу.

Непререкаемость научного авторитета действительно гениального доктора привела к катастрофе в данном случае. Коллегиальность решения в трудном вопросе обязательна, будущие врачи, даже при наличии такого профессора, как Боткин. И, если крупный деятель оши-

бается, вы обязаны своей честью против этой ошибки говорить.

Полунин помолчал, задумавшись, потом вдруг спросил:

— А что вы знаете о нашем современнике, ныне здравствующем профессоре Клодницком Николае Николаевиче и об его помощниках и учениках?

Аудитория молчала.

— Но вам известно, что Николай Николаевич — крупнейший наш эпидемиолог?

— Автор ряда научных работ! — сказал Миша Шервуд.— Известных работ.

— Если выдающийся профессор, то, по всей вероятности, автор ряда работ,— неприязненно улыбнулся Полунин.— Вы, как всегда, правы, Шервуд!

И не сразу заговорил опять:

— Я по странной ассоциации вспомнил — смерть, вскрытие. Так вот, если память мне не изменяет, друг и помощник профессора Клодницкого, русский врач Деминский, второго октября 1912 года впервые выделил культуру палочки чумы из спонтанно заболевшего суслика. Дело происходило в астраханском губернаторстве, где отмечен был ряд чумных вспышек. Ну-с, заразился Ипполит Александрович Деминский легочной формой чумы, сам произвел исследование своей мокроты и дал телеграмму Николаю Николаевичу в Джаныбек. Текст этой телеграммы вам, будущим врачам, рекомендую записать, для того чтобы помнить ее наизусть...

И, размеренно шагая возле кафедры, Полунин продиктовал ровным, казалось даже спокойным голосом:

— «Я заразился от сусликов легочной чумой. Приезжайте, возьмите добытые культуры. Записи все в порядке. Остальное все расскажет лаборатория. *Труп мой вскройте* как случай экспериментального заражения человека от сусликов. Прощайте. Деминский». Записали?

— Записали! — ответил Пыч.

И Огурцов повторил, словно эхо:

— Записали.

— Николай Николаевич, разумеется, приехал,— продолжал Полунин,— приехал и выполнил последнюю волю покойного: вскрыл труп на кладбище, на ветру, сам подвергаясь опасности заражения. Вот у каких людей советую вам учиться.

Тихо было в аудитории, тихо и напряженно.

А Полунин вновь возвращался к Боткину, но теперь по поводу чумы:

— Врач, молодые товарищи, никогда не должен попадаться в собственную схему, иначе, знаете ли, пребольшие неловкости случаются. Прекрасный наш доктор, чудо, умница, Сергей Петрович в конце восьмидесятых годов очень ждал чуму в Петербурге с Волги. Вошла оная чума в историю медицины под названием «Ветлянская». Так-то! В ожидании чумы Боткин все присматривался к опуханию лимфатических желез у своих больных и предположил, что количественное развитие этих опухолей есть патологическая основа для возможности занесения чумы в Петербург. Вот и попадись на эдакое подготовленное поле некий дворник Наум Прокофьев. Опухание желез всего тела, строжайшее наблюдение, изоляция и диагноз категорический в присутствии студентов: чума! Сам Боткин сказал: чума! Сам великий Боткин! И так как никто из сомневающихся (а такие были) и в данном случае не посмел возразить, то пошла кувырк-коллегия. Побежал из чиновного, бюрократического Петербурга этот самый Петербург. Помчались из царской столицы кареты, пошли переполненные поезда; воя от страха, поехали по своим вотчинам действительные тайные, статские, отставные генералы, дельцы и свитские — подальше от чумы! Так-то, товарищ Степанов!

Споры и раздоры

Евгений ни Ганичева, ни Полунина терпеть не мог. Он не понимал, о чем они говорят; на их лекциях лицо его выражало растерянность; на общекурсовом комсомольском собрании он даже пожаловался, что устал от негативных лекций, что ему нужны положительные знания, а не скептические усмешки по поводу великих завоеваний науки. Пыч — самый старый студент на курсе, уже седеющий, с проплешиной человек, молчаливый и всегда занятый,— вдруг вспылил и обрушился на Степанова со всей своей всесокрушающей тяжелой силой. И все коммунисты и комсомольцы курса, вслед за Пычем, сомкнутым строем двинулись на Евгения. Он попросил слова для справки — ему не дали. Он попросил разре-

шения признать свои ошибки — тоже не дали. Но старик Пыч выступил во второй раз.

— Товарищи! — сказал он своим сорванным, кавалерийским голосом.— Товарищи! Профессора Ганичев и Полунин учат нас думать. Думать и задумываться! Да, нам трудно подвергать сомнениям простые истины учебников. Но ведь наступит время, когда каждый из нас останется один на один с больным, останется без помощи профессора, без клиники, просто вот так: изба, вот я — врач, а вот он — больной. И разве можно все к этому дню заучить? Но уметь думать как медики, как врачи — можно выучиться. Понятна моя мысль?

Пыч говорил долго, и слушали его охотно и радостно. Всем было приятно, что любимец курса Пыч, «Старик», которому таким трудом доставалось учение, понимает Ганичева и Полунина. А так как на свете нет ничего тайного, что не стало бы явным, то надо было думать, что и Полунин и Ганичев узнали о курсовом собрании и о том, как горячо и страстно говорили о них студенты...

Полунин был крупнейшим в области терапевтом. Он преподавал в институте, руководил терапевтической клиникой, принимал в амбулатории при клинике. Огромный, пышущий с виду здоровьем, с засученными рукавами белого, щегольски подкрахмаленного халата, грубиян и насмешник со студентами, он был удивительно кротко жалостлив к истинно страдающим людям, необыкновенно терпелив с тяжелобольными и словно бы стыдился перед ними своего зычного баса, румянца, здоровья, несокрушимой силы. С необыкновенным тактом обходил он сложные стороны обследования больных, никогда не покушался на стыдливость, не притаскивал студентов болтливыми толпами, не мучил страдающих людей демонстрациями их недугов, хотя студенты все отлично понимали на том условном, особом языке, которым пользовался Пров Яковлевич в клинике.

Постепенно Володя стал замечать, что главным в жизни Полунина была клиника. Здесь он, не щадя своего времени, разбирал больного, стараясь как можно яснее и точнее растолковать студентам все отклонения данного организма от нормы, старался сгруппировать эти отклонения и, наконец, поставить диагноз. Густо-рыкающий его голос нерешительно, осторожно вначале

словно бы искал, потом делался спокойнее, вопросительные «так?» исчезали, уступая место железной логике утверждений. Еще и еще Полунину мешали случайные, третьестепенные факты и наблюдения; он, сердясь, устранял и их, словно бы отпихивая своей широкой ладонью; потом огромными ручищами строил пирамиду, вершиной которой был диагноз.

— А? — спрашивал он вдруг победным шепотом, и студенты смотрели на него с восторгом, как на колдуна.— Думать надо, молодые товарищи,— думать и *стратегически* решать задачу. В данную минуту мы определили расположение войск противника, его силы, его резервы. Чем же располагаем мы?

У Володи яростно колотилось сердце. То, что час назад было неясным, расплывалось, исчезало и таяло в огромном количестве симптомов, признаков, схожестей,— все это обретало контуры, ясную и законченную форму: болезнь была названа. И оказывалось, что болезнь эта вовсе не редкая и не редчайшая, а самая распространенная, та, с которой непременно и много раз придется иметь дело будущим медикам. Пров Яковлевич, кстати, не слишком злоупотреблял тем, что, к сожалению, еще любят демонстрировать своим студентам некоторые преподаватели: редчайшие заболевания и особые сложнейшие формы этих «интереснейших» случаев не казались Полунину так уж необходимыми будущим молодым врачам.

— Не разберешься, молодой друг,— говаривал он,— вызовешь санитарный аэроплан, не при царе Горохе живем — при Советской власти. Альма матер должна научить тебя оказывать массовую помощь и быть врачом не узкой специальности, а врачом с кругозором, деятельным, толковым, энергичным доктором...

О, какое это было наслаждение следить за ходом мысли Полунина, когда медленно и осторожно, словно слепой, постукивающий своей палкой, шел он от вопроса к вопросу, в то же время прощупывая селезенку и печень больного, разглядывая рентгенограммы, результаты лабораторных исследований, обращаясь к оружию из арсеналов патологии, анатомии, физиологии, шел навстречу всем темным местам, провалам, противоречиям, сопоставляя непонятное и превращая вдруг, мгновенно хаос, бессмыслицу, вздор, взаимно исключающие симптомы в еди-

ное, стройное, законченное целое, в вершину своей пирамиды — в диагноз.

С трепетом, почти священным, боясь за своего бога, входил Устименко с другими студентами в серое здание клинической прозекторской, на фронтоне которой были выбиты латинские слова «Hic Iocus estibi mors gaudet sucurrere vitam» («Здесь смерть помогает живым»). Больной, безнадежность состояния которого месяц назад определил Пров Яковлевич, умер. От чего же он умер? Сейчас об этом должен был сказать Ганичев — последний и совершенно неподкупный судья...

Огромный Полунин сел неподалеку от секционного стола, служитель дядя Саша, как звали его студенты, начал вскрытие. Ганичев монотонным голосом (в прозекторской он никогда не шутил и не позволял этого никому) объяснял студентам то, чего они не понимали. И странно, и страшно, и, как это ни дико, радостно было слышать, что Полунин еще тогда, месяц тому назад, во всем был абсолютно прав, все невидимое видели его глаза, глаза человека, вооруженного рентгеновским аппаратом, лабораторными исследованиями, глаза стратега. Больной умер. Наука еще не научилась бороться с этой болезнью в этой стадии. Но наука проникала в недоступные еще так недавно области. И наука могла спасти погибшего больного, если бы сам он обратился к этой науке раньше, хоть немного раньше...

Вскрытие кончилось, Полунин и Ганичев со студентами вышли в парк, сели на скамью. Ярко светило холодное осеннее солнце, медленно, кружась в прозрачном воздухе, падали желтеющие листья кленов и берез. Ганичев закурил. Пров Яковлевич сидел, опустив лобастую голову, хмурый, всем недовольный. Внезапно, почти с бешенством он сказал:

— Если бы еще научиться лечить как следует...

Ганичев ласково погладил Полунина по плечу. Тот поднялся и ушел.

— Случилось что-нибудь? — спросил Володя Ганичева.

— Нет,— сказал он с коротким вздохом.— Ничего не случилось. Но, знаете ли, с думающими врачами это бывает. Вот — припадки вроде только что вами виденного.

Еще вздохнул и добавил:

— Бильрот — недурной, между прочим, был док-

тор — писал: «Наши успехи идут через горы трупов». Есть, с позволения сказать, врачи, которые с этим легко примиряются и годикам эдак к тридцати спокойно пишут «exitus letalis»,[1] а есть вот вроде Прова Яковлевича — в каждом погибшем винит себя. Надо заметить, что двигают медицину вперед главным образом люди полунинской складки... Понятно вам?

— Конечно, понятно,— сказала курносенькая и розовенькая Нюся Елкина.— Но, согласитесь, товарищ профессор, невозможно же всю жизнь переживать: никаких нервов не останется. Во враче все-таки очень важно спокойствие.

— Это совершенно справедливо,— как-то слишком уж кротко согласился Ганичев и ушел к себе в прозекторскую...

Но сразу же вернулся и не садясь, опираясь на крепкую дубовую трость, заговорил:

— Петенкоффер и Эммерих приняли внутрь чистые разводки холерных бацилл, причем соляная кислота желудка была предварительно нейтрализована содой. Наш Мечников, доктор Гастерлик и доктор Латапи сделали то же самое. Лет шестьдесят тому назад три итальянца — Борджиони, Рози и Пасильи — уговорили профессора сифилидолога Пеллицари привить им, молодым и здоровым людям, сифилис. Пеллицари категорически отказывался, но три молодых доктора настояли. А ведь тогда, студентка Елкина, сифилис лечился иначе, чем нынче. Ртутью! Доктор Линдеман делал себе сам прививки на протяжении двух месяцев и через каждые пять дней. Комиссия, назначенная Парижской медицинской академией, студентка Елкина, сделала заключение... Я его хорошо помню: у доктора Линдемана обе руки от плеч до ладоней были покрыты язвами, многие слились, вокруг них острые и болезненные нагноения... ну-с, и так далее, не говоря насчет обилия папул, высыпавших по всему телу. Но доктор Линдеман еще не считает возможным прибегать к лечению. Это, студентка Елкина, по поводу спокойствия, которое вы уже начинаете оберегать...

Толстое лицо Ганичева налилось кровью, он взвизгнул:

---

[1] Заключение о смерти.

— Еще не поздно! На курсы кройки и шитья! В стенографистки! Вообще, к маме, к папе, к мужу, к дьяволу!..

Погодя Нюся жаловалась:

— Уже и сказать ничего нельзя! И вообще, почему курсы кройки и шитья приплел. У нас все профессии почетны, и стенография ничем не хуже, чем патанатомия...

На красных Нюсиных щеках были размазаны слезы, глаза зло поблескивали.

— Ну и в самом деле — шла бы ты в стенографистки,— неожиданно для себя посоветовал Володя.— Раз ничего не поняла из нынешнего разговора — дуй! Покойнее там и прелестней!

— С другой стороны, нельзя же требовать от каждого врача, чтобы он прививал себе сифилис,— сказал Евгений.— Это, по меньшей мере, смешно.

Устименко вспыхнул:

— Да никто и не требует! — крикнул он.— Разве об этом шла речь?

„Время безудержно мчит...“

Одна Варвара понимала решительно все, хоть и не занималась медициной. Удивительно она умела слушать и улавливать все самое главное для него, то, чем он жил, что мешало ему спать, что радовало его и печалило. Не зная Полунина и Ганичева, она считала их великими людьми. С Нюсей после того, что рассказал ей Володя, поздоровалась чрезвычайно сухо. А в своем техникуме постоянно делилась сведениями об успехах вообще медицины и, в частности, оперативной хирургии. И это было не потому, что так думал Володя, а потому, что так думала она, слушая его вдохновенные, диковатые и счастливые речи.

Случилось это так: как-то в воскресенье они вдвоем поехали на толкучку порыться в книжном развале. Там бывали недурные книжки. Покуда Володя рылся в старых книгах, Варя нырнула куда-то вбок и замерла от счастья. Под жарким полуденным солнцем, возле старого ковра, на стульчике сидела дама. «Какая-нибудь бывшая графиня»,— подумала Варвара. Дама курила из длинного тонкого мундштука папиросу и торговала

удивительными вещами: был тут и корсет, и страусовые перья, и какая-то штука, про которую дама сказала, что «оно — боа», и две кофейные мельницы, и поддельные жемчуга, и флаконы, и шахматы, а самое главное — здесь был череп, настоящий человеческий, желтенький, аккуратный череп.

— Почем за эту вещь? — спросила Варвара.

— Мадемуазель интересует череп? — спросила «графиня» и пальцами в митенках постучала по желтому затылку.

— Меня-то вообще интересует скелет в сборе, целиком,— сказала Варя.— У вас случайно не найдется?

— За кого мадемуазель меня принимает! — воскликнула «графиня».— Скелет в сборе. Где вы можете получить скелет в сборе?

— Завозят в магазин учебных пособий, но только по безналичному расчету и учреждениям,— рассказала общительная Варя.— А я не учреждение, я частное лицо.

— Да, частным лицам сейчас нелегко,— согласилась графиня.

Череп Варвара купила. Внизу у него оказалась пластиночка с надписью — это был кому-то от кого-то подарок.

— Может быть, мадемуазель интересуется еще страусовыми перьями? — спросила «графиня».

— Мадемуазель не интересуется ни страусовыми перьями, ни кольцами в носу, ни человеческими скальпами,— сурово заявил вынырнувший из толпы Володя.— Мадемуазель не осколок разбитого вдребезги, а комсомолка. Пошли, Варюха!

Череп Варя завернула в газету, и Володя до самого дома не знал о подарке. Все карманы Володиного пиджака были набиты книгами и брошюрами. Одну, самую тоненькую, он держал в руке и все время ее перелистывал. Дома, измученные толкучкой, пылью, воем граммофонных пластинок, они попили воды из крана, водрузили череп на верхнюю полку этажерки, отдышались и сели читать шутливую исповедь Карла Маркса.

— Погоди, я тебе лицо вытру, ты весь мокрый! — сказала Варвара.

Она очень любила приводить Володю в порядок. Ей нравилось, когда у него была оторвана пуговица или когда обнаруживался грязный платок. «Какие вы, муж-

чины, все недотепы! — говорила она в таких случаях.— Ничего-то вы не умеете.— И непременно прибавляла: — Кроме отца. Он все умеет. Моряки — такой народ!»

— И воротничок у тебя грязный! — сказала Варя.

— Отстань! — велел Володя.

И спросил, глядя в книгу:

— Ваше представление о счастье, Степанова Варвара?

— Сильная, навечно взаимная любовь! — покраснев, но бойко и громко ответила Варя.

— Садитесь, неудовлетворительно.

Она попыталась заглянуть в книгу, он ее оттолкнул.

— Знаешь, ничего особенно шутливого я здесь не нахожу,— сказал Володя.— Просто, наверное, ханжам это не по вкусу, вот они и объявили исповедь шуткой. Вдумайся, если твои умственные способности тебе позволят...

Володя читал, Варвара слушала, слегка приоткрыв рот, розовая, простодушная, с большим бантом на макушке, совсем еще девчонка.

— Достоинство, которое вы больше всего цените в людях? — спрашивал Володя и отвечал: — Простота! В мужчине? Сила. В женщине? Слабость!

— Я не слабая! — сказала Варя.— То есть не очень слабая...

— Ты не слабая? — спросил Володя.— Это даже смешно, Варька! От вида лягушки, да еще безобидной, древесной,— визжишь!

— На ней не написано, что она древесная, а глаза все равно выпученные.

— Она — сильная! — сказал Володя.— Посмотрите на нее все, на эту сильную. Противно слушать...

И вдруг Володя ахнул.

— Ты вдумайся! — сказал он.— Вдумайся! Вопрос: ваша отличительная черта? Ответ: единство цели.

— Колоссально! — произнесла Варвара.

— Грандиозно, а не колоссально. Теперь: ваше представление о счастье — борьба! Борьба, понимаешь, Варюха, борьба, вот оно в чем счастье. Теперь: ваше представление о несчастье — подчинение...

— А вот я тебе во многом подчиняюсь,— сказала Варя,— и не вижу в этом особенного несчастья...

— Ты же не так мне подчиняешься,— сурово ответил

Володя.— Ты интеллектуально мне, Степанова, подчиняешься.

— Дурак!

— Не дерзи, ничтожество...

Тетка Аглая из другой комнаты крикнула:

— Перестань, Владимир! Опять доведешь ее до слез.

Но они не слышали, они читали сидя рядом — плечо в плечо.

— «Недостаток, который внушает вам наибольшее отвращение? Угодничество. Ваши любимые поэты? Шекспир, Эсхил, Гете. Ваш любимый цвет? Красный. Ваше любимое изречение? Ничто человеческое мне не чуждо. Ваш любимый девиз? Подвергай все сомнению...»

Вошла Аглая, остановилась у двери, она недавно приняла душ, густые черные волосы отливали мокрым глянцем...

— Какие-то вы оба очень симпатичные,— сказала она.— Но только еще глупые.

Села рядом с Варей и пожаловалась:

— Вам легко подступаться и к Марксу и к Энгельсу, вы хорошо грамотные люди. Но, боже мой, как мне было трудно...

С этого воскресенья Володя и Варвара начали часто думать вместе. Читала Варя куда меньше Володи, но когда он говорил, схватывала все мгновенно и понимала почти с полуслова. Так прочитал Устименко «Святое семейство...», а Варя выслушала его доклад на эту тему; так же занялся он «Нищетой философии», которая Варваре далась гораздо труднее; так просидел он несколько ночей над «Восемнадцатым брюмера Луи Бонапарта». Тетка Аглая, увидев книгу, которую читал Володя, сказала:

— А знаешь, когда он писал эту работу, ему не в чем было выйти прогуляться: все вещи были заложены.

Володя посмотрел на Аглаю отсутствующим взглядом, засунул за щеку кусок булки и принялся читать дальше. На рассвете он перелистывал Шиллера и со счастливым недоумением открывал в тяжелом томе всё новые и новые чудеса:

Время безудержно мчит.
Оно к постоянству стремится.
Будь постоянен, и ты в цепи его закуешь...

Будь оно неладно, это время! Как оно, действительно, мчалось, и как мало успевал Володя Устименко. Все было интересно, все важно, необходимо, даже неинтересное было интересным, потому что требовало активного к себе отношения. А так хотелось сбегать выкупаться в Унче или вдруг все бросить и, свистнув разбойничьим посвистом у старого степановского дома, глубокой ночью побродить с Варей по набережной, послушать, как зевает Варвара и несет свои глупости об искусстве. Она уже научилась говорить «на театре» вместо «в театре» и про уважаемого в городе артиста Галилеева-Пресняка сказала, что он все играет «третьим номером». «Артисты работают на нервах»,— утверждала Варвара. Володя хихикал, она дралась.

— Послушай, у тебя же рука тяжелая! — говорил он.

Раньше она получала сдачи, теперь это сделалось почему-то невозможным. И бороться они перестали. Но все чаще и чаще Варя обижалась и плакала своими милыми, мгновенно проливающимися слезами, а Володе делалось смертельно жалко ее и стыдно перед ней, но он никогда не извинялся, а только бурчал:

— Ну чего ты? Ну что особенного? Берешь хорошее стихотворение и воешь его, а не говоришь! Слушать же противно...

— Дурак, ты не понимаешь, что такое ритм, а берешься судить. У нас в студии Эсфирь Григорьевна...

— Ну хорошо, ну ладно, перестань только реветь...

Ужасно, в общем, он ее мучил. Она была моложе его и очень старалась, но иногда ей делалось не под силу.

— В твои годы Герцен и Огарев...— начинал Володя.

— Но я же не Герцен и не Огарев,— ныла Варвара.— Я Варя Степанова и ничего о себе не воображаю...

— В субботу я дал тебе «Анти-Дюринг». Ты еще...

— Ох, Володичка...

— Повторяю, в субботу...

— Но именно в субботу,— приходя в отчаяние, кричала Варя,— именно в субботу у нас была генеральная репетиция!..

— А сегодня какой день?

— Суббота.

— И ты за неделю просто не раскрыла книгу?

Варя молчала — раздавленная.

— Сиди здесь и читай то, что я тебе велю, а я буду заниматься,— следовало приказание.— Никаких театров, никаких киношек, никаких клубов. И почему ты надушилась? Тебе известно, что душатся главным образом нечистоплотные физически люди?

— А вот я сейчас тебя укушу,— как-то сказала Варвара и действительно очень больно укусила Володю за ухо. Потом ободрила: — Могло быть и хуже! Знаешь, какие у меня зубы? Напрочь могла откусить твое дрянное, грязное ухо!

Володя позвал:

— Тетя Аглая! Убери свою Варьку, она кусается...

И все-таки им было необыкновенно славно вдвоем: они могли подолгу молчать словно не замечая друг друга, занимаясь каждый своим делом, потом неожиданно радовались, что они вместе, неподалеку: Володя за столом, Варя у окошка, и всегда им было о чем поговорить, было из-за чего на ходу, очень быстро поссориться, и тут же помириться.

Иногда Варвара приносила «свои» книги — художественную литературу. Если Володя был в добром расположении духа, он снисходительно позволял Варе немного почитать особо отмеченные ею места. Варя очень краснела, заправляла прядку волос за розовое ухо с сережкой и искательным голосом читала какое-нибудь описание природы.

— Длинно! — говорил Володя, нарочно позевывая.— К чему это? Небо лиловое, а ветер хлестал, как полотенцем?

— Тут же не так! — сопротивлялась Варя.— Тут совсем не так...

— Читай дальше!

Варвара читала, торопясь и словно бы оправдываясь.

— И не изображай! — прерывал Володя.— Зачем кривляешься? Ты же все равно не можешь говорить за гусарского полковника!

— Но я...

— Читай!

Изнемогая, Варя читала. Володя постукивал карандашом, шуршал какими-то бумагами, потом, против своей воли, заслушивался. Никогда нельзя было знать заранее, что именно заберет его за живое. Но постепенно

Варя поняла, какие произведения ему нужны. Это было точное слово «нужны», точнее она не могла подобрать. В первый раз она поняла, что нравится Володе, когда читала ему «Севастополь в декабре месяце» Льва Толстого.

— «Вы начинаете понимать защитников Севастополя,— читала Варя, волнуясь и поглядывая на Володю искоса: он больше не шуршал бумагой, а сидел неподвижно, потупившись.— Вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову,— и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством».

— Это — настоящее! — вдруг сказал Володя.

— Что настоящее? — не поняла Варя.

— Это. Про стыдливость перед собственным достоинством. Читай дальше!

Она читала, он лежал на своей узенькой коечке, закинув руки за голову. Словно смутные тени пробегали по его лицу: он то хмурился, то чему-то, на мгновение, радостно улыбался. И, слушая, он думал, он всегда думал, Володя Устименко, всегда решал какие-то одному ему ведомые задачи, непременно трудные, почти мучительные.

— Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия,— читала Варвара.— Должна быть другая, высокая, побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого,— любовь к родине».

— Ну хорошо, отлично, а мы? — вдруг, приподнимаясь на локте, спросил Володя.

— Мы? — удивилась Варвара.

— Да, мы два комсомольца — некая Степанова и некий Устименко. Как мы живем? Для чего? Для чего вообще мы рождены на свет?

Варя испуганно моргала. Вечно он вдруг так неожиданно кидался. Что ему нужно? Чего он хочет — этот мучитель? Но Володя успокоился и сказал жестко:

— Ладно, не моргай. А книги все без исключения

должны быть написаны для чего-то. Понимаешь? Вот эти: «закат был лиловый и ветер словно тугие полотенца...»

— Ах, не выдумывай, Володька!..

— Или: «тонко пахло прелой корой прошлогоднего талого снега...»

— Глупости говоришь!

— Не глупости. Книги должны быть такие, чтобы можно было завидовать замечательным людям, хотеть сделаться такими, как они, чтобы, читая, ты мог относиться к самому себе критически, понятно тебе, рыжая?

В минуты особого расположения он называл Варю «рыжей», хотя волосы у нее были светло-каштановые, совсем не рыжие.

— А стихи? — спросила она.

— Стихи — мура́, кроме Маяковского!

— Да? А Пушкин? А Блок? А Лермонтов?

Володя насупился. Тогда Варя тихо, едва слышно прочитала одну блоковскую строчку:

«И вечный бой! Покой нам только снится...»

— Это что? — удивленно спросил он.

Варвара прочитала все стихотворение. Володя слушал с закрытыми глазами, потом повторил:

«И вечный бой! Покой нам только снится...»

— Здорово? — осведомилась Варвара.

— Я не про то,— продолжая думать о чем-то, сказал Володя.— Я про другое. Вот бы, знаешь, так прожить свою жизнь, чтобы действительно «и вечный бой! Покой нам только снится...»

— А ты не сумасшедший? — осторожно спросила Варя.

— Нет, я нормальный. А теперь ты будешь заниматься своей художественной декламацией сама, а я буду заниматься делом. Химия. Слышала про такую науку?

Он сел к столу, зажег свою старенькую лампу с заклеенным зеленым абажуром, насупился и забыл про Варвару. А она смотрела сзади на его тонкую шею, на узкие плечи и думала счастливо и бурно: «Вот сидит великий человек в будущем. И я его первый, самый главный друг. И, может быть, гораздо больше чем друг, хоть мы еще даже не поцеловались».

Не сознавая сама, что делает, Варя поднялась, сзади подошла к Володе, протянула ему руку к самому его лицу и велела:

— Поцелуй!

— С чего это? — удивился он.

— Поцелуй мне руку! — повторила Варвара.— И сейчас же!

— Вот еще новости!

— Никакие не новости! — сказала Варя.— Мы, женщины, всех вас мужчин родили, и за это вы нам должны быть вечно благодарны...

Володя взглянул на Варю снизу вверх, усмехнулся и неловко поцеловал ее широкую теплую ладошку.

— Вот так! — удовлетворенно сказала Варя...

Глава шестая

Развод

Поздней ночью, «мимоездом», как он выразился, приехал Родион Мефодиевич. У Валентины Андреевны были гости — две курящие, немолодые дамы, обе полные и любящие поговорить о своем дурном настроении, о каких-то таинственных сердечных «перебоях» и о том, что все в конечном счете «от нервов». Была дочь декана Института имени Сеченова Ираида — высокая, гибкая, зеленоглазая, вся в каких-то цепочках, медалях и брелоках, словно премированная на выставке кровного собаководства. Была знаменитая в городе портниха «мадам» Лис, к которой подлизывались, и двое мужчин — Даниил Яковлевич Полянский, картинно раскуривающий трубку, и его приятель Макавеенко, плотный блондин с брюшком и с весело-наглыми, всегда вытаращенными глазками. Ждали еще профессора Жовтяка, но он позвонил, что приехать не сможет и «в совершеннейшем отчаянии». Послушав контрабандные пластинки Вертинского и Лещенки, отужинали и сели за кофе с бенедиктином. Разговор шел об испанских событиях. Даниил Яковлевич — Додик — рассказывал о премьер-министре Испании Хирале, как о своем хорошем знакомом. И о Хосе Диасе он тоже рассказывал кое-что. Родион Мефодиевич терпеливо послушал и курящих дам, и Макавеенко, и дочь декана Ираиду. Они все высказались насчет Испании и по поводу того, что Михаил Кольцов пишет интересные и острые корреспонденции. Впрочем, Додик не разделял этот взгляд.

— Знаете,— сказал он,— об Испании каждый очевидец может написать еще, может быть, покрасочнее и поколоритнее, чем товарищ Кольцов. Главное — быть там вместе с народом...

— А бои с быками — это тоже, кажется, в Испании? — своим привычно утомленным голосом спросила Валентина Андреевна.

— Обязательно! — подтвердил Макавеенко.— Это у них национальное, вроде как у нас карусели или там на кулачки дрались. В Мадриде это дело самое уважаемое...

Родион Мефодиевич поставил чашечку с недопитым кофе на поднос и вышел. Варвары, конечно, не было дома. Евгений в кухне хлебал борщ.

— Ну как? — спросил Родион Мефодиевич.

— Газету верстали,— вяло сказал Евгений.— Измучились! Шрифтов нет, материал неинтересный, поверхностный, за всех приходится писать самому, хоть плачь. Я ведь, пап, редактор многотиражки институтской.

— А ты за всех не пиши! — посоветовал Степанов.— Это жульничество получается, если за других писать...

— Идеалист ты, папахен! — вздохнул Евгений.

Родион Мефодиевич походил по комнатам, покурил, потом, болезненно морщась, нечаянно услышал, как Алевтина разговаривала в передней с Додиком.

— Вопрос надо решать кардинально,— говорила она,— и в категорической форме! Я не намерена больше терпеть приезды этого человека, чуждого мне и морально и вообще. Господи, как ты не понимаешь — мне душно в этой обстановке...

— Хорошо, хорошо, я готов,— торопливо обещал Даниил Яковлевич,— но не сегодня же...

— Я скажу сегодня! — пообещала Алевтина.

Входная дверь хлопнула. Женщина, которую Степанов считал своей женой, вошла в столовую. Крепко сжимая кулаки, неподвижный и бледный, Родион Мефодиевич потребовал:

— Скажи сегодня!

— Ты подслушивал! — взвизгнула Алевтина.— Очень красиво, этот человек к тому же еще и подслушивает!

— Ты должна сказать сама,— повторил он.— Я знаю все это давно, нужно быть дураком, чтобы не видеть, но ты должна сказать свое последнее слово. Говори!

— Что?

— Ты желаешь разойтись?

— Я хочу человеческой жизни! — крикнула она.— Ты должен мне дать жизнь, а что я имею? Для чего я столь-

ко лет переживала? Другие всё имеют: машины персональные, дачи, в Гагры ездят по три раза в год...

Начиналась старая история — слезы. Сейчас она потребует валерьянки, потом Евгений будет считать ей пульс. Нет, он больше так не мог.

— Давай разойдемся мирно,— заговорил он спокойным, хоть и слегка хриплым голосом.— Ты уедешь к Додику...

— Очень красиво,— сказала она.— Я в одну комнату, а ты здесь барином. Не выйдет, товарищ Степанов...

— Значит, дело в комнате?

— И во всем остальном. Я не желаю оставаться нищенкой. Что наживали, то все пополам...

Степанов кивнул, говорить больше он не мог. А Валентина Андреевна через десять минут уже деятельно и бодро звонила из передней по телефонам, что-то рассказывала своим подругам, понемножечку каждой рыдала, а кому-то посетовала:

— Ах, деточка моя, ты же знаешь: из хама не сделаешь пана.

Надо было кончать все немедленно. Дождавшись Варвару, он собрал всех в столовой, выпил большой стакан холодной воды, сказал, отрывая слова:

— Мы с Алей решили разойтись. Вы люди взрослые, всё понимаете сами. Но один вопрос должны решать вы. Кто желает остаться со мной, кто отбудет... с мамой.

Варвара молчала, крепко вцепившись в рукав его кителя. Красные пятна горели на ее щеках. Евгений, в сетке на голове, в полосатой пижаме, прогуливался возле буфета.

— Женя! — молитвенно воскликнула Валентина Андреевна.— Женя, как ты можешь еще думать?

Евгений погасил окурок, усмехнулся и произнес, щурясь:

— Ты странный человек, мама! Неужели ты предполагаешь, что я буду менять Родиона Мефодиевича на этого... прости меня... солидного, красивого, элегантного, но все-таки... проходимца...

Степанов смотрел на Евгения не отрывая взгляда. Что означали эти слова? Что он думал в эти минуты?

— Не вдаваясь в лишние подробности,— произнес Женя,— я желал бы остаться сыном человека, которому я обязан всем. Да и тебе, мамуленька, будет куда проще:

свободна, молода, жизнь начинается сначала. Так?

Он обнял ее за плечи, поцеловал и ушел.

Утром на своем автомобиле приехал чем-то крайне раздраженный Додик, сухо поздоровался с Родионом Мефодиевичем и прошел в комнату Валентины Андреевны. Потом постучал к Степанову.

— Нам надо поговорить как мужчина с мужчиной,— произнес он, усаживаясь и прижимая пальцами табак в трубке.— Нужно уточнить квартирные вопросы, всё, что касается имущества, и прочее и прочее. Валентина Андреевна нервничает, вы уезжаете...

— Да, я уезжаю,— перебил Додика Степанов.— Уточнять вы можете всё с Евгением, он парень с головой. Вот так.

И отвернулся к окну.

Было слышно, как они ушли — Алевтина и ее Додик, как хлопнула парадная дверь и отъехал от дома автомобиль. Тихонько вошла Варвара, спросила:

— Пап, хочешь чаю?

— Нет,— уныло ответил он.

— А кофе хочешь я тебе сварю?

— И кофе не хочу.

— Может быть, тогда ты выпьешь водки?

Степанов усмехнулся:

— Это ты решила меня утешить? Не надо, дочка. Мужик я двужильный...

— Может быть, ты хочешь, чтобы мы с Женей переехали к тебе в Кронштадт?

Родион Мефодиевич подумал, потом сказал:

— Видишь ли, девочка моя золотая, говорю тебе доверительно: переезжать вам покуда нет смысла, потому что я сам не знаю, где буду завтра.

— Это как?

— А вот так. Могут услать в длительную командировку. Афанасий Петрович уже две недели как уехал.

Варвара прижалась к плечу отца, сказала шепотом:

— Я понимаю, я понимаю, пап. Но Володя ведь ничего не знает...

— А мы погодя к нему отправимся, он и узнает.

Пока Варвары и Родиона Мефодиевича не было дома, Евгений весело и свирепо торговался с Додиком по поводу вещей, книг, мебели, размена квартиры. Додик в конце концов пожаловался:

— Послушайте, что вы делаете из меня дурака. Я же не мальчик...

— И я не мальчик! — сказал Евгений.— Я делю все имущество на четыре части: три четверти наши, остальное ваше. Пойдите к любому юристу — другого выхода нет. И вообще даже смешно, Даниил Яковлевич: вы влюбились, вас любят, а тут какая-то ерунда с барахлом. Неприлично, если хотите знать. Темочка для фельетона...

— А рояль? — невесело осведомился Додик.

— Не рояль, а пианино. И зачем вам оно? Мама же не играет...

— Вы какой-то кремень! — рассердился Даниил Яковлевич.

Степанов уехал вечерним поездом.

Мы, красные солдаты...

С этого дня Володя и Варя стали еще ближе друг к другу. Теперь у них была одна общая тайна, тайна от всех, была одна общая гордость и одно общее, постоянное волнение — волнение за отцов: за летчика Устименко и военного моряка Степанова. Никто не был посвящен в эту тайну — даже тетка Аглая. Так Володя и договорился с Родионом Мефодиевичем: незачем волновать Аглаю, слишком много горя испытала она, чтобы еще каждодневно и еженощно думать о жизни брата. Аглае было сказано, что Афанасий Петрович отбыл на инструктаж.

— В Испанию? — спросила она строго.

— Нам знать не положено! — багрово краснея, ответил Степанов: он совершенно не умел врать.

Тетка кивнула. Считалось, что ей ничего не известно. Карту Испании повесили нарочно не в Володиной комнате, а у Варвары. Но Аглая, тайно от Володи, купила и себе карту. Рассматривала она ее по ночам, запершись от племянника. Афанасий был там — она знала это. Он не мог не быть там, так же как покойный муж Аглаи непременно был бы там. Она знала это поколение большевиков, этих хлопцев, прошедших огонь, воду и медные трубы, громкоголосых, никогда не унывающих, полуграмотных в годы гражданской войны и кончивших академии нынче. Они всё могли, эти стальные люди:

в лютые морозы они могли биться за Пермь и в дикий зной рубить басмачей в Туркестане; голодные, они с наслаждением первый раз в жизни слушали «Евгения Онегина» и, еще не остыв после далеких рейдов в тылы противника, садились за парты и учили два английских падежа — обыкновенный и притяжательный.

Часами, в ночной тишине, одна она вглядывалась в карту, и в ушах ее звучали слова песни, которую так любили Афанасий и покойный муж Гриша:

С помещиком-банкиром на битву мы идем,
Всем кулакам-вампирам мы гибель принесем!
Мы, красные солдаты, за бедный люд стоим.
За нивы и за хаты свободу отстоим...

За окнами свистел холодный ноябрьский ветер. Володя, закинув руки за голову, глядел в темноту, грубыми словами ругал тореадоров Севильи, которые покорились мятежному генералу Кейпо де Льяно. А потом сквозь дремоту виделся ему остров Минорка и валенсийская экспедиция на военном корабле «Альмиранте Миранда». Крейсер стопорит машины, Родион Мефодиевич смотрит в бинокль, а гидросамолеты, ведомые отцом, взмывают вверх, в густо-голубое небо Испании. И самые лучшие летчики, самые верные парни всего мира: итальянцы, немцы, французы, болгары — все ведут свои машины за флагманской — отцовой...

Латынь мешалась в усталом мозгу с испанскими названиями городов; Сарагосса вдруг путалась с мускулюс ректи абдоминис — мышцей живота. Баргас сливался с квадрицепс феморис,— как давно он препарировал труп в последний раз! Надо бы, пожалуй, непременно начать ходить к Ганичеву. А десант на Ивисе? Что там происходит сейчас? Почему молчат газеты?

Варя стала ходить в испанской шапочке. Она похудела, повзрослела. Письма «оттуда» приходили на ее имя. Собственно, оттуда писем не было. Просто незнакомый товарищ передавал регулярно приветы и сообщал, что все благополучно. Иначе и не могло быть, рассуждали Володя с Варей. Даже смешно, если бы они надеялись на другое. Фашистам только дай повод для провокации.

Куда-то далеко, совсем далеко ушли те мелочи жизни, которые казались когда-то существенными. Ужасно было думать Варваре, что она не всегда оказывалась

дома, когда отец ждал ее. Отец, который воюет сейчас за свободу всего мира, там, в такой далекой, удивительной и непонятной Испании. Он, наверное, уже говорит по-испански со своим милым оканьем и, наверное, все ищет, где бы попить крепкого чайку. Ведь испанцы, наверное, не пьют чай? И никто не мог ответить Варе на вопрос: пьют испанцы когда-нибудь чай, или только кофе.

Володя хмурился при каждом дурном известии в газетах и расцветал при каждом хорошем. Ему казалось, что там, где воюет Афанасий Петрович со своими орлами, не может быть плохо. Он так и видел его, отца, с выгоревшими волосами, чисто выбритого, вглядывающегося в далекое небо. Вот он залезает в самолет, примеривается — удобно ли, командует:

— От винта!

Как по-испански — от винта? Приятель — амиго, неприятель — энемиго, а как «от винта»? Ох, повидать бы их всех вместе — Энрико Листера, генерала Лукача, отца — как его там теперь называют? Как Афанасий по-испански? А как Родион Мефодиевич по-испански? Видятся ли они — моряк и летчик?

И все больше и больше задумывался Володя о том, для чего живет человек. Все дальше сторонился он сокурсников-зубрил, сокурсников, обсуждающих проблемы того, как бы остаться при институте, в аспирантуре; сокурсников, умненьких девушек и юношей, прикидывающих, с какой специальностью больше шансов остаться в городе, а меньше — попасть на периферию.

А папы и мамы?

Эти плачущие мамы у двери ректора; эти папаши — в кителях, в пиджаках, в толстовках, в тужурках,— «нажимающие» на декана; эти записки с просьбой «оказать содействие» тому или иному студенту, в очередной раз провалившемуся на том предмете, который обязан был знать врач!

К нему в бюро комсомольской организации с этим не совались. И даже декан Павел Сергеевич, слабый человек, случалось, обращался к Устименке за помощью, когда атаки становились слишком обильными и грозными. И Володя отбивал декана от атакующих — резко, грубо, беспощадно.

— Ханжа! — сказала ему Нюся Елкина.

Он невесело усмехнулся.

— Устименко один кончит Институт имени Сеченова,— выразилась про него Светлана.— Один — достойный!

— Ортодоксальнейший из ортодоксов! — съязвил Миша Шервуд.

Володя, прищурившись, взглянул в недобрые, светлые, выпуклые глаза Шервуда. Этот мальчик далеко пойдет! Он уже сейчас, ничего совершенно не имея за душой, ищет тему для защиты кандидатской диссертации сразу после окончания института. Но только кому нужны их даже хорошие отметки, их экзамены, их диссертации? Кому, кроме них самих?

Старик

В это именно время Володя особенно и душевно сблизился со Стариком, или Пычем, как звали на курсе Павла Чиркова, попавшего в институт тридцати четырех лет от роду.

Пыч был молчалив, суховат, насмешлив. Светло-голубые маленькие его глаза имели свойство вдруг впиваться в кого-либо надолго и пристально, словно два холодные шильца. Учиться Пычу было трудно, труднее, чем кому-либо в институте, но тем не менее учился он основательно и знал гораздо больше, чем многие способные студенты. Часто Устименко ему помогал. Пыч никогда не благодарил, не жал руку, только вздыхал:

— Способный ты, Владимир!

Но без всякой притом зависти, а с какой-то суровой нежностью. Оба они хвостом ходили за Ганичевым и Полуниным, и обоих их в один и тот же день Ганичев оставил в аудитории, закрыл дверь и сурово сказал им:

— Вот что, полупочтеннейшие. С некоторых пор стал замечать я, что, может быть, и не без моего участия заразились вы отвратительной и постыдной болезнью, именуемой медицинским нигилизмом. Слова «шарлатанство», «научная демагогия», «латинская поварня» то и дело слетают с ваших, извините, младенческих уст. Вы еще полузнайки, и не вам, чертям полосатым, глумиться над веками трагических исканий истины. Мы с профессором Полуниным будоражим вашу мысль, а не призываем вас к насмешечкам по поводу современного со-

стояния науки. Ищите, но не глумитесь! Не смейте глумиться! Великий человеческий разум без всяких еще приборов при выслушивании сердца с точностью определяет, какой именно из его клапанов действует неправильно и в чем суть этой неправильности — в недостаточности или в сращении клапана. А обезболивающие средства! А вакцины!

Он рассердился, очень громко высморкался и приказал:

— Идите! Почитайте Пирогова! И сделайте выводы!

Он протянул им книгу с закладками, и они ушли.

— Расстроился! — сказал Пыч.

— Это я виноват,— произнес Володя.— Помнишь, вчера я затеял этот разговор насчет шарлатанства в фармакологии. Он еще огрызнулся: когда головка болит, пирамидончик кушаете?

Вечером, вместе с Пычем, сидя на его койке в общежитии, они читали Пирогова.

— Ничего себе цифра,— сказал Пыч, закрывая натруженные за день глаза.— Три четверти оперируемых умирает от гнойного заражения!

— Это в пироговские времена,— произнес Володя.

— Понятно...

— «Я ничего положительного не знаю сказать об этой страшной казни хирургической практики. В ней все загадочно: и происхождение, и образ развития...»

Володя полистал книгу, вынул закладку и нашел еще одно место:

— Вот слушай: «Если я оглянусь на кладбище, где схоронены зараженные в госпиталях, то не знаю, чему более удивляться: стоицизму ли хирургов, занимающихся еще изобретением новых операций, или доверию, которым продолжают еще пользоваться госпитали у общества...»

— Какие выводы? — спросил Пыч.

— Листер.

— Антисептика.

— Точно! — сказал Володя.— Ты дико догадлив, Старик! Скажи еще, что хирурги из жалких рабов гнойного заражения стали его повелителями, и все будет совершенно в стиле нашего Огурцова. Он любит так изъясняться.

— А что? Патетика иногда не мешает,— серьезно ска-

зал Пыч.— Все щелкаем языками, щелкаем, а чтобы врачом быть, надо, конечно, в будущего Листера непременно верить.

— Одной верой сыт не будешь,— вздохнул Володя.— Помнишь, как с древними греками было? И после? Хризипп запрещал лихорадящим больным есть, Диоксипп — пить, Сильвий непременно заставлял потеть, почтеннейший папаша Бруссе пускал им кровь до потери сознания, а Кэрри сажал в холодные ванны...

— Ладно, читали мы Вересаева,— сердито сказал Пыч.

— Что ж, прекрасный доктор.

— Слушай, иди домой,— велел Старик.— У меня и так голова гудит.

Но Устименко не ушел. Пыч стал стаскивать свои старые, стоптанные сапоги, вернулись другие ребята, а Володя все философствовал:

— Физиология уже дала очень много,— говорил он,— и с каждым днем дает все больше и больше. Где-то я читал, что физиология и есть теоретическая медицина. Вот из нее и нужно выводить необходимые применения, тогда будет создана прикладная, практическая медицина. А поваренная книга...

— А пока сидеть сложа руки? — спросил Саша Полещук.— Да?

Все загалдели в комнате. Пыч машинально стал обуваться. Это осталось у него еще с гражданской войны: как только в комнате поднимали шум — он, сонный, обувался.

— Уйти в надзвездные области чистой науки? — налетал на Володю редкозубый, веснушчатый Огурцов.— Говори, Устименко! И вообще, что ты тут за чепуху разводишь...

— Почему чепуху? — вмешался Миша Шервуд.— Устименко прав. Один мудрый арабский врач писал, если кто помнит: «Честному человеку может доставлять наслаждение теория врачебного искусства, но его совесть никогда не позволит ему переходить к врачебной практике, как бы обширны ни были его познания...»

— Как? — тенорком спросил Пыч.

Шервуд повторил.

— Правильно, договорились! — буравя своими голубыми глазками Володю, заговорил Старик.— Вот это

мудро! Мы честные до того, что только наслаждаться станем теорией врачебного искусства. Мы, понимаешь, до того чистенькие и совестливые, что покуда теория не будет до конца закончена, на народ плюнем. Пускай бабы от родов помирают, пускай младенцы сотнями мрут, пускай наш советский народ косят дифтерит, тиф, испанка,— мы никуда не поедем! Мы в лабораториях будем научно все подрычаживать, мы лучше станем во всем сомневаться и начисто разуверимся в нашем деле, оно спокойнее...

Он встал, выпил стакан воды и в тишине заговорил опять, но с такой силой и страстью, с такой убежденностью в голосе, какой Володя еще никогда не слыхал:

— У нас полком командовал Жилин некто, героический, легендарный человек. И на марше схватила его болезнь. Пурга пуржит, холода, жрать нечего, и комполка бредит, чушь несет, ничего понять не можем. Был при нас фельдшер, старичок, Туточкин фамилия, мобилизованный; подушку ему на седло привязывали пуховую, конник — потеха! Посмотрел Жилина — говорит: корь. Корюшка, говорит. А у Жилина и сердчишко не тянет. За баснословные деньги достали подсолнечного масла, на том масле вареном растворили камфару, стали уколы делать. Вот в таких фурункулах был Жилин! А только опять сел в седло и повел полк на беляков. Ну? Наука? Эмпирика? Пусть меня здесь на Туточкина вырастят и выучат, чтобы из моих рук покойник в строй вернулся такой, как Жилин,— потом комдив и командарм легендарный. Пусть! И говорю я вам как коммунист: мы обязаны понять всю сложность и тяжесть нашего дела, говорю, как Ганичев и Полунин нас учат: обязаны к каждому новому больному относиться с полным сознанием новизны и непознанности, неизвестности болезни, должны искать, не успокаиваться, но должны дело делать. А эти арабские теории товарища Шервуда — безобразие, и по ним надо врезать как следует. Тебе тоже, Устименко, советую задуматься. Патетика ему, вишь, не нравится. А мне патетика нравится. И все. Спать пора.

Старик вновь стал разуваться, Володя тихонько вышел из общежития, спустился по ступенькам, подставил горящее лицо холодному, морозному ветру. В поземке слепо подмигивали, желтели круглые фонари. Было

стыдно, ужасно стыдно. А тут еще его доконал Шервуд, заговорил аккуратными, закругленными фразами:

— Убедительно прошу вас, Устименко, поддержите меня, если Пыч решит устраивать историю. У меня свой, выработанный разумом взгляд на вещи, у него свой, но он желает, чтобы все смотрели так, как смотрит он, а я...

— Я во всем согласен со Стариком,— сказал Володя,— и ни в чем не согласен с вашим арабом. По этим взглядам надо бить! И бить беспощадно!

— Ах, вот как? — спросил Шервуд.

— Да, вот как! — подтвердил Володя.— И если вы именно эти взгляды положите в основу вашей будущей кандидатской диссертации, то гепнетесь со свистом!

— В основу моей будущей диссертации будут положены соответствующие нашему мировоззрению взгляды, а не какие-либо другие, Устименко! Выражение же «гепнетесь» — блатное, жаргонное, и вам совершенно не подходит!

Шервуд подтянул руками спадающее пальто и возвратился в общежитие. Володя погнался за трамваем, вскочил на ходу, сказал «скотина» и поехал к Варе каяться и жаловаться на самого себя. Степановы жили теперь на Красивой улице. Дверь открыл дед Мефодий: Родион Мефодиевич приказал Варваре выписать старика и не отпускать больше ни под каким предлогом.

— Добрый гость завсегда к ужину поспеет,— сказал дед Мефодий двусмысленно и отправился в кухню, откуда аппетитно пахло жарящейся картошкой.

— Володька? — спросила Варвара.

— А кому еще быть! — ответил из кухни дед. И закричал: — Варвара, кликни кота, он сметану нанюхивает...

Варя вышла навстречу, розовая, в пуховом платке. Кот Вакса терся об ее ноги.

— И все-таки, Вовочка, геологиня из меня не получится,— сказала Варя тоскливо.— Нынче решила твердо — пойду в актрисы. Бесповоротно. Что ты вытаращился?

— Кончи сначала техникум! — попросил Володя.

— Для чего?

— Потому что ты... Я ведь знаю тебя... Ты не сможешь быть артисткой...

— Я не талантливая?

Он молчал, грустно глядя на нее из-под своих длинных ресниц. Она ждала, кутаясь в свой платок. Вакса все терся об ее крепкие, стройные ноги.

— Понимаешь, Варюха, — сказал Володя, — дело в том, рыжая, что вот мы сейчас спорили в общежитии. Мне трудно тебе объяснить, но главное, как я понимаю, в том, чтобы дело, которое ты делаешь, было интересно и нужно не тебе одному или одной, а всем, обществу, народу. Тогда оно становится навсегда интересным и нужным. А если только тебе, то вдруг оно обессмысливается...

— Чего в сенях стоите, идите в избу,— велел дед Мефодий из кухни.— Картошка поспела. Варвара, собирай на стол. И огурцы принеси.

За ужином молчали. Дед уж очень участвовал в беседах и весьма категорически высказывал свое мнение. Так что обычно говорил он один — и вволю. Но нынче был не в духе, бранил только Ваксу:

— Балованный, спасу нет. Мышов не ловит, моргает на них, крыса давеча пожаловала, он — дёру. Хвост ему обрубить, что ли?

— Это зачем? — всполошилась Варвара.

— А затем, что обрубленный кот попроворнее,— набирая в тарелку квашеной капусты, сказал дед.— В стране Сибири мужички всем котам хвосты рубят. Посуди сама — морозы лютые, котища входит в избу медленно, хвост палкой. Покуда его выпустишь — холоду наберется. А ежели он укороченный — в два раза арифметически скорее входит и выходит. И попроворней в хозяйстве. Опасается, как бы еще не укоротили.

— Если ты, дед, его укоротишь, я из дому уйду! — сказала Варвара.— И пожаловалась Володе: — Малюта Скуратов, а не дед.

Потом Варя в кухне мыла посуду, а Володя жестоко ругал себя и хвалил Пыча. Пришел Евгений, сурово попенял Володе:

— Почему в клубе не был? Вечно ты манкируешь общественными мероприятиями. К нам, студентам, в гости приехал известный писатель Лев Гулин. Мы, советское студенчество, обсуждаем его книгу, дискутируем, оживленно, по-товарищески, а две трети ребят не являются. Какое-то хамство.

— А если я не читал Льва Гулина? — спросил Володя.

— Печальный факт твоей биографии. Лев Гулин делает поездку по Союзу и осуществляет встречи с читательским активом.

— Хорошо, запиши нас в пассив,— рассердилась Варвара.— Что пристал, в самом деле?

— Для вашей же пользы,— обиженно произнес Евгений.— Как вы не понимаете, честное слово, жизнь есть жизнь. надо, чтобы тебя замечали, видели, слышали. А на ужин только картошка? — не меняя интонации, спросил он. И, сильно работая челюстями, стал рассказывать, как выступил на обсуждении Гулина и как не впрямую, но все-таки выразил ту мысль, что в облике студента Шемякина писатель вольно или невольно оклеветал советское студенчество, изобразив нашего человека карьеристом, пронырой, жуком.

— А ты книгу-то прочитал? — спросила Варвара.

— Просмотрел перед обсуждением. И критические статьи просмотрел в читальне, так что я сориентировался, можете за меня не беспокоиться...

— Ох, далеко ты, наш Женюра, пойдешь! — вздохнула Варвара.

— А я, сестричка, близко и не собираюсь останавливаться. Мне близко нельзя, тогда все разглядят, что Евгений Родионович Степанов не слишком одаренный человек. А если подальше, да еще, бог даст,— повыше...

— Уйди! — крикнула Варя.— Уйди, Женя, милый!

На другой день Володя подошел к Пычу и сказал, что во всем с ним согласен и что с дурацким нигилизмом, действительно, пора кончать. Старик отнесся к Володиному покаянию крайне спокойно, и Устименко даже немножко обиделся. Но ненадолго. Тут же они заговорили о так называемом «хорошем дыхании». Устименко вычитал об этом «хорошем дыхании» нынче утром, пока ехал в институт, и рассказал Старику, что турецкие знахари обычно долго колдуют над своими больными, обвешивают их амулетами, бормочут заклинания, окуривают дымом, пляшут, воют, а под конец сильно дуют на пациента. Но излечивать людей по-настоящему может только ходжа — знахарь с «хорошим дыханием». И действительно, по уверению автора брошюры — крупного врача, долго изучавшего в Турции знахарей,— «хорошее дыхание» играет очень большую роль: больные излечиваются.

Пыч подумал, потер своим характерным движением усталые глаза, потом сказал:

— Я-то лично думаю, что тут дело в доверии больного врачу. Чего мы с тобой, Устименко, будем стоить, если при точности диагноза недуга, при нормальном лечении не овладеем, извини, душой больного. Больной, как солдат в бою, должен безоговорочно верить своему командиру: он-де не подведет, с ним-де мы и неприятеля раздраконим, и сами живы-здоровы останемся.

— Пожалуй, правильно...

С этого дня Володя и Старик, ни о чем не уславливаясь, всегда занимались вместе. Пыч вечерами приходил к Устименкам, съедал большую тарелку борща, закуривал козью ножку из махорки, и оба принимались за дело. Старик был невероятно упорен, Володя — талантлив. Пыч надолго иногда застревал на одном месте, Устименко далеко обгонял его, но, случалось, по верхам. Пыч поднимал тяжелые пласты знания, Володя фантазировал. Хриплыми от споров голосами они подолгу переругивались, но друг без друга решительно не могли обходиться.

— Кончим — попасть бы нам в одну больницу! — сказал как-то Володя.

— Нельзя! — угрюмо ответил Пыч.— Привыкли грубить друг другу. А в больнице знаешь как? «Извините, Павел Лукич».— «Нет, что вы, Владимир Афанасьевич»... Авторитетно надо держаться...

Так наступила весна.

Скорая помощь

Лето выдалось сухое, совсем без дождей, с частыми, пыльными, душными грозами и внезапными вихрями. За Унчой горели леса, дым полз на город. И в самом городе участились пожары — в грозу выгорела Ямская слобода, старые пакгаузы на Поречной улице, у пристаней.

Володя работал санитаром «на скорой помощи». Так говорили почему-то медики — не «в скорой помощи», а «на скорой помощи». Это напоминало шахтеров — «на гора», или моряков — «на флоте». Автомобилей было всего два — очень старенькие, разбитые «рено» с низкими кузовами и короткими радиаторами. Зато рессорных карет с красными крестами и дребезжащими стеклами, замазанными белой краской, хватало с избытком, и лошади содержались в образцовом порядке. Устименко обычно сидел рядом с кучером, на козлах, и всегда волновался — поспеем ли вовремя. Потом с деревянной шкатулкой в руке сопровождал врача. Шкатулка тоже была с красным крестом, Володя сам стучал в избу или звонил в дом, в квартиру, а когда из-за двери спрашивали: «Кто там?» — отвечал нетерпеливо: «Скорая!»

Он уже не раз и не два видел смерть. Видел тягчайшие, необратимые кровотечения. Видел агонию. И видел *возвращение* человека «оттуда», как он называл это для себя самого. Для старенького, очень близорукого врача Микешина в том, что называл Володя «возвращением», не было чуда. Устименко же испытывал почти благоговейное счастье, энергично помогая Антону Романовичу. И приходил в мрачное отчаяние, когда чудо не совершалось, когда Микешин, поправляя очки своим

характерным жестом, покашливая, поднимался, чтобы уйти из комнаты, где «наука была бессильна».

— Тут, видите ли, вот какая штукенция,— говорил Микешин, забираясь в карету,— тут, Володя, мы припоздали. Если бы часика на два раньше, пожалуй...

Дверца захлопывалась, карета, гремя на булыжниках, покачиваясь, уезжала. Володе страшно и стыдно было обернуться: казалось, вслед смотрят ненавидящие глаза родных умершего, казалось, они все проклинают науку, Микешина, Устименку. Но следующий вызов заставлял забыть только что пережитые чувства, человек на Володиных глазах возвращался к жизни очень быстро — после того как ему ввели камфару с кофеином и морфий. Тягчайшие страдания исчезали, больной удивленно осматривался, шприц, ампулы, руки Микешина, его опытный мозг возвращали «оттуда».

— Вот так! — говорил Микешин и поправлял дужки очков за ушами. — А теперь, знаете ли, покой — и все наладится.

«Наладится! — хотелось крикнуть Володе.— Вы, жена, дочь, вы все, как вы смеете не понимать, ведь этот человек, который сейчас просит *кисленького*,— он же был мертв...»

А карета вновь дребезжала по старым булыжникам Плотницкой слободы, и кучер Снимщиков, оглаживая одной рукой свою «богатую» бороду, предсказывал:

— Обязательно сегодня вызовов будет вагон и маленькая тележка. Чует мое сердце. И в баньке не попаришься!

Особенно поразила Володю одна, в сущности, простая история, в которой он увидел подлинное чудо и которая запомнилась ему на много лет: после полуночи, в середине августа, их вызвали на Косую улицу — во флигель, к некоему Белякову. В низкой, чистенькой комнате, на широкой постели трудно и мучительно умирал уже немолодой, до крайности исстрадавшийся человек. Широкая, ребристая грудь его вздымалась неровно, лоб, глазницы, щеки — все было залито пóтом, продолжительные судороги заставляли Белякова скрипеть зубами и стонать. Худенький подросток-школьник быстро говорил Микешину:

— Сначала папа все беспокоился, то вскочит, то сядет, то в сени вдруг побежал, затем, товарищ доктор,

он дрожать стал. Уж такая дрожь сделалась, никогда ничего подобного я не видел... И кушать захотел. Предлагает — давай, говорит, Анатолий,— Анатолий — это я,— давай ужинать будем...

— А это что? — спросил Микешин, держа двумя пальцами пустую ампулу.

— Это? Инсулин он себе вспрыскивает,— сказал подросток.— У него диабет.

Микешин кивнул. Секунду-две всматривался он в лицо Белякова, потом велел скорее дать сахару. Белякова опять свела судорога, так, что затрещала кровать, но Микешин повернул его навзничь и быстро, ловкими, мелкими движениями стал сыпать ему в рот сахарный песок. А Володе в это время он велел готовиться к внутривенному вливанию раствора виноградного сахара. Минут через двадцать, когда судороги прекратились, Микешин сделал еще инъекцию адреналина. Беляков лежал благостный, удивлялся. Худенький мальчик, шмыгая носом, плакал в углу от пережитого страха, а Антон Романович говорил:

— Это, милый мой, у вас передозировка инсулинная. Если еще, от чего боже сохрани, как чурались наши деды, если еще почувствуете нечто подобное — скорее кусок белого хлеба или сахару два кусочка, но сейчас же, не теряя времени. С этим делом не шутите. А завтра в поликлинику...

В темных сенях Микешин вдруг чертыхнулся, крикнул:

— Что я, поп, что ли? Или архиерей?

А влезая в карету, пояснил:

— Мальчишка этот руку полез мне целовать.

Володя взобрался на козлы, сказал Снимщикову сдавленным голосом:

— Нет ничего величественнее науки, товарищ Снимщиков. Сейчас Антон Романович буквально спас человека от смерти, неминуемой смерти.

— От неминуемой спасти нельзя! — строго обрезал Володю кучер.— От минуемой можно. Ты вот с нами всего-ничего ездишь-то, а я поболе двадцати годков на науку на вашу гляжу... Спас, как же! И профессора не спасают, не то что наш очкарик...

Снимщиков был скептиком и Микешина нисколько не уважал. Слишком уж часто тот говорил «пожалуй-

ста», «будьте добры», «сделайте одолжение». И пальто Антон Романович носил круглый год одно и то же «семисезонное», как определил кучер.

Был третий час ночи, луна катилась над городом, над его пыльными площадями, над бывшим Дворянским садом, над бывшим Купеческим, над куполами собора и над широкой Унчой. Лаяли, гремели цепями во дворах Косой улицы злые, некормленные псы. Из Заречья несло лесной гарью. Когда подъехали к станции «скорой помощи», Микешин вылез из кареты, снял белую шапочку, сказал сипловато:

— Благодать-то какая, а, Володя?

— Спасибо вам, Антон Романович,— буркнул Устименко.

— За что?

— За то, что вы... учите меня, что ли?

— Я? Учу? — искренне удивился Микешин.

— Не в том смысле. А вот, например, сегодня...— совсем смешался Володя.

— Ах, сегодня? — грустно произнес Микешин.— Беляков этот, да? Так ведь это фокус-покус, случай элементарнейший...

И в голосе Антона Романовича послышалась Володе знакомая, полунинская нотка — чуть насмешливая, ироническая, немножко усталая.

Перед самым началом занятий в Заречье загорелись лесные склады. Пожар начался под утро, мгновенно, в бараке, в котором спали грузчики, никто вовремя не проснулся. Дул сильный, порывами ветер, нес раскаленные угли, обжигающий пепел; вороные кони Снимщикова храпели, пятились, воротили с дороги в канаву. Пожарные части одна за другой неслись, гремя колоколами, по мосту через Унчу; пожарники в дымящихся брезентовых робах таскали из огня обожженных людей, санитары беглым шагом несли пострадавших дальше, к своим каретам и автомобилям. Когда кончился этот ужасный день, Микешин сказал:

— А ожоги мы и вовсе лечить не умеем...

Глаза у него были воспаленные, белую шапочку он потерял, волосы торчали словно перья, губы пересохли.

В этот трудный день Володя видел Варвару: она шла по улице Ленина и узнала его — на козлах, чуть подня-

ла даже руку, но помахать не решилась. Слишком уж измученное и строгое было у него лицо.

К началу первого семестра нынешнего года для Володи уже многое осталось позади: и признаки воспаления, которые когда-то заучивались наизусть, как стихи: калор, долор, тумор, рубор эт функциолеза, что означало — жар, боль, припухлость, покраснение, нарушение функций. Позади осталась и уверенность, что понимать сущность предмета не так уж трудно. Позади остались и споры о загадках средневековой медицины и о докторе Парацельсе, который лечил больное сердце человека листьями в форме сердца, а болезни почек — листьями в форме почек. Позади, далеко позади осталась робость перед тяжелой дверью прозекторской, над которой были выбиты слова: «Здесь место, где смерть помогает жизни». Тут Володя чувствовал себя уверенно, почти спокойно, смерть была теперь не таинством, а «курносой гадиной», с которой предстояли тяжкие и повседневные сражения. Но как вести эти бои?

Труп не страшил более Володю. Но ему было не по себе, когда на секционном столе он увидел тело девятнадцатилетнего спортсмена — загорелое, великолепное, тренированное для долгой и здоровой жизни. Как могли не спасти этого человека? Почему тут победила проклятая «курносая гадина»? И сколько еще времени врачи будут вздыхать, разводить руками, болтать о том, что наука таит в себе много непроявленной и ею же самой не познанной силы?

Очень многое осталось позади, но сколько дверей ему еще предстояло открыть и что ожидало его за этими дверями?

Внезапно с юношеской непримиримостью и категоричностью он стал делить профессоров и преподавателей на талантливых и бездарных. Но Пыч довольно резонно ему ответил, что Лев Толстой, Чайковский, Менделеев, Ломоносов, Маяковский, Шолохов — нужны человечеству именно потому, что они есть единственные гении, в то время как врачи не могут быть только гениями. «Гениев не хватит,— сказал Старик,— от Черного до Баренцова. Ясно тебе, завиральный Владимир?»

Год начался трудно.

«Светя другим — сгорать самому»,— оказалось не такой простой штукой. Прежде всего нужно было научить-

ся «светить» с толком. А как, если опытный Микешин — хороший и добросовестный доктор — не один раз за лето говорил Володе:

— Этого, коллега, мы еще не умеем.

Или:

— Процесс необратим.

Или еще:

— Послушайте, Володя, что вы себя мучаете, мы же насморк толком не научились лечить.

Умница Полунин иногда отвечал на вопрос о назначении:

— Ничего не надо. Пройдет!

Больную, голубоглазую, белокожую польку Дашевскую в полунинской клинике курировал Устименко.

— Пройдет! — сказал Полунин.

— Как пройдет? — удивился Володя.

— А так! Возьмет и пройдет!

— Само?

— Ну, покой, рациональное питание, сон, беседы с вами,— вы же неглупый юноша, хоть и чрезмерно сурьезный (Полунин всегда говорил вместо серьезный — сурьезный). И со временем все пройдет. Хотите возразить?

Возражать было нечего.

Сам профессор Жовтяк

Странные наблюдения тревожили Устименку: чем деятельнее и хлопотливее «лечили» больного, чем больше учиняли над ним всяких процедур, чем чаще давали лекарства, тем благодарнее делался он. А если лекарств давали мало, если не заставляли глотать зонд и не интересовались особо анализами, больные, случалось, даже жаловались, что их «мало» лечат. «Мало, плохо и совсем не обращают внимания». Замечал также Володя, что наибольшей популярностью у больных пользовались «добрые» доктора, совершенно притом вне всякой зависимости от глубины знаний, серьезности, одаренности того или иного врача. Любили больные также «профессорскую» внешность врача — бороду, перстни на руках, с почтительностью и уважением взирали на «архиерейские» выходы некоторых медицинских деятелей, знавших цену помпезности в своем ремесле.

— Какой солидный! — услышал однажды Володя восторженное замечание больной старушки Евсеевой, относящееся до самоуверенного и глупого, но притом доктора и профессора Жовтяка.— Сразу видно, что не нынешним чета — действительно профессор!

Благостная улыбка, «коза», сделанная ребенку, анекдотец — все входило в арсенал Жовтяка, ничем он не брезговал ради своей популярности, и больные словно расцветали ему навстречу, в то время как суровый, молчаливый и угрюмый хирург Постников, не имевший, кстати сказать, никакого ученого звания, нередко вызывал нарекания тех самых людей, которые им были вытащены оттуда, куда профессор Жовтяк никогда даже не пытался заглядывать, предпочитая в этих рискованных случаях действовать руками Постникова. В тех же редчайших и совершенно непреодолимых казусах, когда Иван Дмитриевич «срывался»,— профессор Жовтяк долго и укоризненно покачивал своей благообразной, с надушенной плешью головой и говорил бархатным голосом:

— Эк вас, коллега, занесло! Для чего понадобилось оперировать неоперабильного? Зачем *статистикой* рисковать? Он бы и дома, среди близких и дорогих его сердцу *благополучно* опочил, а вы мне *плюсовые* итоги на *минусовые* пересобачиваете. И какая вам-то от этого *прибыль?* Нет, уж вы это оставьте, мой *почерк* не рушьте. У нас имеется авторитет, а еще парочка ваших рисков — и станут про меня *лично* болтать языками, что-де профессор Жовтяк не уследил. А я не последний человек в городе и в области, мне не из чего по вашей милости себе шею ломать...

Представлялся Геннадий Тарасович, в отличие от Ганичева и Полунина, исключительно так:

— Профессор Жовтя́к!

Оперировал он редко, некрасиво, но очень кокетничал и при этом любил произносить все известные истины, «цитировал цитаты», как выразился про него однажды в сердцах Полунин. Без Постникова шеф не рисковал делать решительно ничего, и Иван Дмитриевич всегда стоял рядом с Жовтяком, словно со студентом, держа корнцанг в руке. И все видели, что Постников нервничает, и всем было стыдно, чуть-чуть стыдился и сам Жовтяк, во всяком случае Володя своими ушами

слышал, как, размываясь после особенно неловкой операции, шеф сказал довольно-таки жалким голосом:

— Эх-ма, старость не радость! Бывало...

— Что бывало? — жестко осведомился Постников.

Иногда он вдруг подолгу, словно задумавшись, смотрел своими молочно-льдистыми, непроницаемыми глазами в холеное, с ассирийской бородкой лицо шефа, и никто не понимал, о чем он при этом думает. А Жовтяк, только что разливавшийся соловьем, внезапно путался, краснел, обрывал на полуслове свою лекцию-речь и, заторопившись, исчезал.

Ненавидя Ивана Дмитриевича, он, однако же, решительно не мог без него обходиться. Клиника целиком лежала на плечах Постникова, практически студентов учил Постников, сложнейшие операции производил Постников; ходили слухи, что некоторые статьи за шефа пишет Постников. Жовтяк был занят по горло, всюду консультировал (разумеется, в трудных случаях прихватывая с собой молчаливого Постникова), ездил с начальством на охоту, заседал деловито и строго, был не прочь, когда, разумеется, можно, подать ядовитую реплику, открывал областные и городские конференции врачей, знал, сколько времени нужно аплодировать, стоя в президиуме, и все свои речи начинал так:

— Дорогие товарищи! Позвольте прежде всего по поручению коллектива ученых Института имени Сеченова приветствовать вас! (Здесь он сам, Геннадий Тарасович, аплодировал и раскрывал длинненький блокнот.) Начну с цифр. В 1911 году мы имели по области койко-мест всего лишь сто двадцать два...

— Слушайте, слушайте! — говорил при этом Полунин.— Сейчас вы узнаете сногсшибательную новость: оказывается, что при Николашке со здравоохранением дело обстояло хуже, чем при Советской власти.

И никогда не ошибался. Жовтяк пережевывал всем известные истины, критиковал начальство не выше завоблфинотделом, в президиуме перешептывались, писали друг другу записки, в зале стоял ровный, неумолкающий шум голосов. А Жовтяк, ни на что не обращая внимания, говорил и говорил о своих койко-днях, множил среднегодовые койки на количество дней в году, производил анализ коечного фонда, называл среднюю вели-

чину второго элемента функции койки, производил анализ коечной номенклатуры и наконец, после третьего продления регламента, с высоко поднятой головой покидал трибуну.

— Зачем это он? — спросил как-то Володя Полунина.

— И терпентин на что-нибудь полезен! — загадочно ответил Пров Яковлевич.

— Какой терпентин? — не понял Володя.

— Почитайте «Плоды раздумья» Козьмы Пруткова. У него же сказано: «Усердие все превозмогает». И еще есть один краткий афоризм: «Козыряй!»

С грустной усмешкой Полунин отвернулся от Володи.

Студентов, особенно тех, про которых говорили, что они способные, Жовтяк ласкал. Ласкал и Женьку Степанова — редактора институтской газеты. Ласкал и сурового Пыча-Старика — на всякий случай, его тревожило, когда он чувствовал неодобрение, пусть даже молчаливое. Но больше всех ласкал он Володю, и потому, что о Володе говорили как об очень способном студенте, и еще потому, что Володя на него смотрел невыносимо неприязненно. Но как ни ласкал Геннадий Тарасович хмурого Устименку, тот быстро раскусил велеречивого профессора и невзлюбил его так же бурно и пылко, как полюбил строгого и невеселого Постникова. А может быть, и не раскусил Володя Жовтяка, а просто со свойственной ему наблюдательностью заметил особую, подчеркнутую вежливость, даже насмешливую галантность Полунина по отношению к шефу хирургической клиники.

Глупый Жовтяк не понимал, что Полунин бывает так вежлив только к людям, им глубоко презираемым, а Володя знал и Полунина и Ганичева, замечал, как они переглядываются, слушая «беллетристику» Геннадия Тарасовича, и однажды еще отметил про себя короткий разговор обоих профессоров, происходивший на любимой их скамеечке в парке.

— И правильно, что презираем,— скучным голосом произнес Ганичев.— Презрение, Пров Яковлевич, есть ненависть в состоянии покоя.

— Не рано ли нам переходить в состояние покоя? — желчно осведомился Полунин.— И не слишком ли мы

занимаем постороннюю позицию по отношению к этому паркетному шаркуну и нечистоплотному шалуну?

Ганичев ответил вяло:

— Ах, оставьте! Мы свое дело делаем честно, чего же вам еще? Ведь если с ним завестись, на это сколько времени уйдет?

Володя, сидя на соседней скамье, покашлял, чтобы не вышло, будто подслушивает. Полунин лениво на него взглянул, потянулся и сказал фразу, надолго запомнившуюся Устименке.

— Беда наша, Федор Владимирович — вялость. Моя — в меньшей степени, ваша — в большей. Видим сукиного сына, надо его беспощадно бить, а мы? Посмеиваемся...

Володя мотал на ус: «Вялость,— думал он,— вялость! Прав Полунин. Возраст утомляет людей, что ли? Но ведь Жовтяк — бодрячок. Он и кусаться, наверное, умеет!»

С этого дня начала для Володи меркнуть звезда Ганичева и разгораться новая — Постникова. Аккуратный, педантичный, строгий, с торчащими пиками седых усов, Иван Дмитриевич тоже заметил Володю и позволил ему не только присутствовать, но и помогать, постоянно уча делу, которое сам выполнял с таким блеском, что у Володи даже дух захватывало от зависти.

На восторженные Володины рассказы о Постникове курс реагировал по-разному. «Настоящий, несомненно, мужик!» — согласился Пыч. «Но почему же все-таки даже не кандидат?» — усомнилась Нюся Елкина. А Женя Степанов промямлил: «У тебя вечно телячьи восторги, Владимир! Ничего, разумеется, особенного, толковый практический врач, никто не отрицает. Но Нюся права: В нашей стране не иметь даже кандидатского звания? Может быть, биография с белыми пятнами?» Светлана заявила, что Геннадий Тарасович ей импонирует — добродушный, простой, вежливый. Огурцов кинулся защищать Постникова, Сашка Полещук назвал Светлану почему-то киселем овсяным, а Миша Шервуд, на всякий случай, промолчал. Он теперь не позволял себе болтать лишнее, да и экзамены принимал все-таки не Постников, а Жовтяк.

Иван Дмитриевич

Все началось с того, что Володя увидел, как Постников пришел к Прову Яковлевичу в терапию на консультацию, как сел на крашенную белой эмалью табуретку, наклонился к больному землемеру Добродомову и занялся перкуссией. В палате, где лежало пять человек, было совершенно тихо. Полунин предупредил о том, чтобы не шумели. Иван Дмитриевич делал перкуссию пальцами, он не признавал ни плессиметров, ни молоточков. Щуря холодные глаза, Постников выстукивал то сильно и часто, то еле уловимыми движениями пальцев. Прошло не менее тридцати минут. Равномерный, тупой звук навевал дремоту. Володя не без раздражения думал: «Кокетничает товарищ хирург, спектакль устраивает!»

Внезапно Постников разогнулся, взял из рук сестры банку с йодной настойкой и помазком нанес на синюшной коже Добродомова квадрат:

— Вот здесь абсцесс. Переводите ко мне в хирургию.

Встал с табуретки, не забыл прикрыть землемера одеялом и, высоко неся голову, ушел из палаты.

— Видали? — восхищенно спросил Пров Яковлевич Володю.

— Видали! — машинально повторил Володя.

— И что увидели?

— Здорово!

Во вторник Добродомова оперировали, и диагноз Постникова был подтвержден полностью. Полунин посоветовал Володе:

— Теперь учитесь у Ивана Дмитриевича, как выхаживать больного после такой операции. Амбруаз Паре в шестнадцатом веке говаривал: «Я их оперировал, пусть бог их излечит». Поучитесь у бога. Постников — врач-стратег, не эмпирик, очень даже размышляющий врач. Учась у него, что тоже небесполезно, подготовите себя к работе в любых условиях, мало ли, знаете, вдруг война. Рентгеновский аппарат не везде отыщется. Предупредить должен: если сгрубит Постников — не обижайтесь, он человек дела и не выносит, когда мешают делу. И праздно любопытных он терпеть не может. Но, вообще, берите от него как можно больше, черпайте, изящно

выражаясь, из этого источника полными пригоршнями, добром помянете...

Устименко передал слова Полунина своим на курсе, Евгений возмутился:

— Ну знаешь, прелесть моя, я не желаю готовить себя к условиям, в которых и рентгена не окажется. Да и плохо я себе представляю такие условия. А вообще, душок какой-то исходит от рассуждений вашего Полунина, эдакое что-то...

— Опять? — угрожающе спросил Пыч.

— Да, опять! — воинственно сказал Степанов. — Опять! Ганичев, Полунин, теперь Постников — не наши это люди, вот что! Не наши! Такова моя точка зрения!

Недели через две Полунин осведомился:

— Черпаете?

— Черпаю.

— И как?

— Достается.

— То-то похудели.

— Знаю я еще очень мало! — пожаловался Устименко. — Это ужас, до чего мало.

Пров Яковлевич застегнул плащ на все пуговицы, протянул Володе большую, теплую руку:

— До свидания. А что знаете мало — это ничего. За вас ваш Степанов знает много, и все притом не посредственно.

Володя вздохнул и, шаркая от усталости ногами, вернулся по кленовой аллее клинического парка к приземистому зданию оперативной хирургии. Здесь, в лаборатории, томился трехцветный измученный Устименкой дворняга Шарик.

Хлопнув дверью на блоке, Володя повернул выключатель и позвал собаку. Шарик слабо вякнул в своей низкой клетке и едва-едва вильнул хвостом. «Я его мучаю, а он мне хвостом еще машет!» — сердито подумал Володя. Когда ему было кого-нибудь жалко, он непременно сердился.

В тишине лаборатории деловито хрупали свои кочерыжки кролики, возились в стеклянных банках белые мыши, вздохнула в станке подопытная собака Миши Шервуда. Рядом за дверью работал Постников — Володя услышал его характерное «ну-ну». Тут Иван Дмитриевич проводил не меньше двух часов в день, экспери-

ментировал, размышлял, опять экспериментировал. В «руководимой мною клинике», — вспомнил Володя профессора Жовтяка.

К дверце Шарик едва подполз. Он все время зализывал швы и крупно, мучительно дрожал.

— Вылезай, дурак! — шепотом сказал Володя. — Я тебе котлету принес и сахару. На, Шарик!

Ему самому очень хотелось есть, котлету он принес себе, собственно не котлету, а бутерброд с котлетой. Но так как Шарик булку не желал есть, то по праву слабейшего получил котлету, Устименко же съел булку.

— Ах, не нравится? — спросил Володя. — Вам уже и котлета не подходит?

Шарик вяло понюхал котлету, потом отвернулся, положил голову на передние лапы и закрыл влажные, страдающие глаза. Тогда Володя отломил кусок котлеты, размял пальцами и пихнул собаке под губу. В это время, стаскивая с рук резиновые перчатки, вошел Постников.

— Манькин заболел, ангина у него, — заговорил Постников, — животные не кормлены (Манькин, старичок санитар, ведал кормлением подопытных зверей). — Нынче мы с Аллочкой накормили Ноев ковчег с грехом пополам...

Хорошенькая Аллочка подмигнула Володе из-за плеча Постникова. Иван Дмитриевич наконец сорвал с левой руки щелкнувшую перчатку, швырнул на стол, постучал ногтем по банке с мышами.

— Советую вам, Устименко, взять вашего Шарика домой, — продолжал Постников. — После резекции, учиненной вами, вы здесь собаку на ноги не поставите. А в домашних условиях, может быть, вам и удастся восстановить силы животного. Впрочем, это ваше дело. Шервуд, например, мне заявил, что его родители не любят собак.

Вечером Володя привез Шарика домой и позвонил Варваре.

— Вот что, Степанова, — сказал он сухо, голосом, похожим на постниковский. — Приедешь ко мне сейчас, срочно...

— А у меня... — начала было Варвара, но Устименко перебил:

— Что у вас — это ваше дело, но приехать вы должны, и именно сейчас!

Тетки Аглаи дома не было. Шарику он постелил старое ватное одеяло в своем закуте. Пес все дрожал, лизался, даже кряхтел человеческим голосом. Володя согрел ему молока, чтобы было чуть теплое, подсластил его, вбил туда яйцо. Шарик понюхал и отвернулся.

«Здесь медик, кажется, должен передоверить свои функции гробовщику», — подумал Володя старой фразой из какой-то книги. И с ненавистью покосился на репродукцию «Урока анатомии». Попробуй светить другим, если даже собаку не можешь вылечить, хоть и знаешь точно, что с ней происходит.

Когда пришла Варя, он по-прежнему сидел над Шариком и ел холодную вареную картошку.

— Собачка! — закричала Варвара. — Это ты мне собачку купил?

— Ох, да не вопи! — попросил Устименко.

— Она больная? Ты ее лечишь? Володька, вылечи мне собачку! — опять затарахтела Варя. — Она породистая, да?

И села рядом с Володей на корточки.

— Не укусит?

— Я удалил у нее порядочный кусок кишечника, — угрюмо произнес Володя. — И еще кое-что мне пришлось с ней сделать. А она лижет мне руки и относится ко мне по-товарищески. По всей вероятности, это единственное живое существо, которое принимает меня за врача.

— А я? Разве я не принимаю тебя за врача?

— Короче, Шарика я должен вылечить. И ты мне поможешь. Ясно?

— Ясно.

— Вот, занимайся с ним, а я еду на всю ночь в клинику. Если что, позвони по телефону в хирургию, запиши...

Варя покорно записала. Он вымылся в ванне, побрился, съел что-то очень странное, сжаренное Варей на сковородке, «фантазия» — сказала про это кушанье Варя, — и уехал, забыв даже попрощаться с ней. Впрочем, он постоянно забывал здороваться, прощаться, спрашивать, «какие новости», бриться, стричься, забывал делать то, что Варя называла «вести себя по-человечески», а Евгений — «соблюдать общественную гигиену»...

Дверь захлопнулась, Варя нашла у себя в кармане залежавшуюся конфетку, сполоснула ее под краном и

сунула зазевавшемуся Шарику в рот. Тот похрустел и вильнул хвостом. Тогда Варвара высыпала под усатую и бородатую собачью морду всю сахарницу. Шарик лизнул сахар, и через минуту на полу не осталось ни крупинки.

— Умница, собача, какая собака, собачевская, собачея, —говорила Варвара тем голосом, которым разговаривают люди наедине с животными — особым, дурацким, голосом, — собачевская-собача, кушай молоко, Шарик-Шариковский, ты кушать будешь, и кишки у тебя новые вырастут, ты моя собака великолепная, только ты будешь не Шарик, а Эрнс! Да? Умный, грозный, великолепный Эрнс!

Володя вез из перевязочной каталку, когда дежурная сестра Аллочка позвала его к телефону. Шел одиннадцатый час, больные в клинике профессора Жовтяка уже засыпали, разговаривать надо было почти шепотом.

— Она ест! — закричала Варя в ухо Володе. — Ест! И молоко хлебала.

— Благодарю! — сказал Володя.

— И название у нее теперь не Шарик, а Эрнс! По буквам: Элеонора, Ры, ну какое имя на Ры — Рюрик, Николай, Сережа. Выводить ее надо? Или, знаешь, я нашла тут такую прохудившуюся кастрюлю...

— Очень благодарен! — сказал Володя и повесил трубку.

— Устименко, вы каталку так тут и оставите? — спросила Аллочка, сверкнув на Володю великолепными зрачками; ей он очень нравился, этот неистовый студент с мохнатыми ресницами и еще припухлыми губами. — Может быть, вам показать, где полагается быть каталкам?

Впрочем, хоть в Володю она была почти влюблена, Аллочка попросила его посидеть за ее столиком часок-другой, а сама завалилась спать. Она была из тех людей, которые считают, что, как ни старайся, всех дел на земле не переделаешь, и даже не стеснялась говорить, что свое здоровье «ближе к телу». Про таких Володя думал, что они все из «армады» Нюси Елкиной. И только удивлялся, что Постников не понимает, какая она, Аллочка, и хоть строго, но хвалит ее, а она ведь сама ложь.

И два часа прошло, и три, и четыре, Аллочка все спала. Володя ходил на звонки в палаты, ввел одному боль-

ному морфий, другому помог удобнее уложить оперированную ногу, с третьим посидел, потому что ему было «страшно». А в четыре часа утра дежурный врач-хирург, очень высокая, с острым носом — Лушникова, — позвонила домой Постникову насчет срочной операции. И именно Постникову, а не Жовтяку.

Володя стоял так близко от телефона, что услышал обычный ответ Ивана Дмитриевича:

— В добрый час!

Аллочка, свежая, отоспавшаяся, еще раз сверкнула на Володю глазами и шепнула:

— Люблю бабайки!

Володя отвернулся.

Во время операции вошел Постников, колючие его усы торчали пиками в стороны, молочно-голубые глаза смотрели спокойно, холодно, словно две маленькие льдинки. Он всегда приходил так — не вмешиваясь до того мгновения, когда его совет, или указание, или помощь становились необходимыми. И, если все шло благополучно, он уходил молча твердым, упругим, еще молодым шагом, высоко неся голову.

Уходя нынче, он сказал Володе:

— Завтра воскресенье, если не имеете ничего лучшего в перспективе, приходите ко мне после восьми вечера. Но не позже девяти.

— Спасибо! — обалделым голосом произнес Володя.

— Пожалуйста! — кивнул Постников.

— Что, он вас к себе пригласил, да? — заспрашивала Аллочка, как только Постников исчез за поворотом коридора. — К себе на квартиру, да?

— Да.

— Черт, везучий вы какой!

У нас разные дороги

В шесть утра он открыл своим ключом дверь. Трехцветный Шарик, слабо ступая, закидывая зад, пошел к Володе навстречу. Варя, одетая, подложив ладошку под щеку, спала на его кровати. Настольная лампа была затенена так, чтобы свет не падал на то место, где положено было лежать Шарику. И «прохудившаяся» кастрюля, изящно прикрытая розовой крышкой из картона,

стояла рядом с постелью выздоравливающего будущего Эрнса.

— Володя! — тихонько окликнула тетка Аглая.

В носках, стараясь не скрипеть половицами, он вошел к ней. Укрытая до плеч, она ласково смотрела на него своими чуть раскосыми глазами.

— Намучился?

— Есть маленько!

И шепотом он стал ей рассказывать, как его нынче пригласил Постников. На мгновение Володе показалось, что тетка тоже что-то хочет ему рассказать, но он забыл об этом, потому что захотелось еще поделиться разными институтскими новостями, а потом сразу же надо было спать. Сон всегда скручивал его мгновенно, одним ударом сбивал с ног. Засыпая, проваливаясь вместе с раскладушкой во что-то мягкое и уютное, он услышал еще теткин голос про какие-то ее новости, но выслушать не мог — спал.

— Вот так-то, Шарик, — вздохнула Аглая и погладила будущего Эрнса по жесткой шерсти возле уха. — Никому до меня нету дела.

Шарик посопел носом и осторожно почесался — он очень себя берег и всячески соблюдал свое здоровье.

— А мне все про него интересно! — поглаживая пса за ухом, тихонько говорила Аглая. — Почему так? Да не скули, не больно тебе, мнительная какая собака!

Завтракали втроем, несмотря на сердитые телефонные звонки деда Мефодия, который кричал в трубку, что «девке не из чего по людям ночевать и людей объедать — чай, не нищие побирушки, изба есть, и завтраком, слава богу, не обижены». Аглая настороженно поглядывала на Володю — спросит ли про вчерашние ее новости, но он не спросил. Варвара учила повеселевшего бывшего Шарика давать лапку, он рассеянно позевывал, отворачивался.

— Как ты думаешь — Эрнс поправится? — спросила Варя Володю.

— Угу! — ответил он.

— А почему он все зевает? Это не кислородное голодание?

Устименко промолчал.

— Не снисходит до нашей милости! — сказала Варя Аглае Петровне. — Великий человек, будущее светило,

— И рассеянный, как все великие! — подтвердила Аглая.

— Но великие люди не гнушаются обычными гражданами — ведь так? — осведомилась Варвара.— А ваш племянник гнушается.

Вдвоем — Аглая и Варя — сели на один стул и, обнявшись, принялись говорить про Володю так, будто его вовсе здесь не было.

— Он из тех, кто интересуется только собой.

— Дутая величина. Воображения больше, чем соображения.

Володя отсутствующим взглядом посмотрел на тетку и на Варю, спросил, который час, и вновь принялся рыться в своих конспектах.

— Еще из него, может, ничего и не выйдет! — предположила Аглая. — Внешне — сама наука, а внутри пустота.

Варвара печально согласилась:

— Смотреть противно.

— Конечно, противно! — подтвердила Аглая. — Ведь фундаментальных знаний ни на грош, один только фасон. У нас на рабфаке таких называли барон фон Мыльников.

— А может быть, он просто, Аглая Петровна, тупица и зубрила?

— Даже наверное. С ограниченным кругозором.

— Послушайте! — жалким голосом произнес Володя.— За что вы так на меня?

И вдруг Аглая заплакала. Но не так, как плачут обычно женщины, а по-особому, по-своему. Она даже смеялась, а слезы между тем словно брызгами летели из ее глаз.

— Что ты, о чем? — совсем растерявшись, спросил Володя. Только теперь ее бесполезно было спрашивать.

Она не отвечала, подбирая пальцами крупные, словно горошины, слезинки. Варвара налила воды, Аглая подошла к окну, распахнула, высунулась наружу. Было видно, как вздрагивают ее плечи. Потом, внезапно успокоившись, сказала:

— Не обращайте, дети, внимания. Я что-то устала за это время, знаете, как бывает. Живешь-живешь — и устанешь. Ну, а теперь совсем трудно мне. Справлюсь ли?

— С чем? — тихонько спросила Варя.

— Со всем, — задумчиво ответила Аглая.

Накинула плащ и ушла.

Потом Варя, притворяясь хорошей девочкой, мыла посуду, а Володя читал газету и внезапно понял, о какой своей «новости» хотела давеча рассказать тетка. В «Унчанском рабочем» была напечатана заметка о конференции педагогов Каменского района и о том, что там выступила завоблнаробраза т. Устименко А. П.

— Ты понимаешь, Варя? — спросил Володя. — Ох, я — свинья. Конечно, ей очень трудно, первые дни такой работы, и вчера, когда я вернулся... Ох, как паршиво...

Варя села, развязала тесемки фартука, кинула полотенце на стол.

— Ну скажи же что-нибудь! — велел Володя.

— Что?

— Ведь не так уж я виноват...

— Тут ничего не поделаешь, — вздохнула Варвара. — Ты такой! Самое главное твое не здесь, а там.

— Где там? И какое главное?

— Не сердись! — попросила Варя грустно. — Может быть, это и хорошо, но это трудно, Володя. Там, в институте, ты, наверное, вовсе не эгоист, но тут — это даже страшно.

Удивительно, как умна бывала эта девочка. И как умела угадать самое существенное. Но тут же она сморозила дичайшую глупость.

— Мне цыганка нагадала,— сказала Варя,— знаешь, в прошлое воскресенье. Честное слово... не веришь — честное пионерское! Такая страшная цыганка, старая, носатая, глазища — во! Нагадала, что... в общем про нас с тобой. Будто я тебе не нужна. Будто у нас с тобой разные дороги...

Володя молчал отвернувшись, глядел на красные гроздья рябины под открытым окном, ежился от холодного осеннего ветра.

— Ну ладно, Варюха, я, конечно, скотина, — подавленно согласился он, — но не такая уж. Вот увидишь, переменюсь в корне. Буду чутким и как его... есть еще всякие сахаринные слова...

— Ты не сможешь.

— А вдруг?

— Не сможешь! — повторила Варвара, глядя прямо в глаза Володе. — Тогда это будешь не ты. Это будет

другой человек. А мне нужно, чтобы именно ты не ушел разной дорогой. Ты!

— А ты? — спросил он.

— Что я?

— Ведь и ты можешь уйти разной дорогой. Твоя дурацкая цыганка сказала, что у *нас* разные дороги, а не у *меня*.

Он подошел к Варваре и взял ее за руки повыше кистей. Любя ее, никак он не мог решиться сказать это словами. И не то, чтобы не мог решиться, а просто стыдился. Скажешь: я тебя люблю, а она ответит: ну и что же? С Варьки все могло статься. Да и так она сама все понимает.

— Ты понимаешь, рыжая? — спросил он.

— Что? — простодушно ответила она.

Тогда он сжал ее запястья. Никак Володя не мог отвыкнуть от этих школьных мальчишеских штук — дергать ее за косы, крутить руки. Но сейчас ничего не получилось — маленьким дракам наступил конец. Чувство жалости и нежности было куда сильнее того мальчишества, которое еще осталось в нем.

— Так-таки ничего не понимаешь?

— Ничего! — пряча лицо, ответила Варвара.

— Тогда берегись! — жестко сказал Володя и, неудобно притянув к себе Варю, прижал ее спиной к подоконнику.

Холодный ветер хлестал ему в щеку и шумел ветвями рябины за открытым окном, но он ничего этого не замечал, он не слышал, как Варя, высвободив руки, толкала его ладонями; он начал соображать только тогда, когда между своими губами и Вариным розовым ртом увидел ее ладошку, которую она ловко подсунула в самое последнее мгновение.

— Вот! — сказала она.

— И очень глупо! — все еще задыхаясь, рассердился Володя.

— Ты должен объясниться мне в любви! — поправляя волосы, серьезно, без улыбки велела Варвара. — Понимаешь? На микробов и на Пастера с Кохом у тебя есть время, а на Степанову нет? Не бойся — не засмеюсь.

— И предложить руку и сердце?

— Сердце — да, а руку — обойдусь!

— Значит, ты не пойдешь за меня замуж?

— Это мое дело!
— Я-то предполагал, что оно все решено.
— То есть как это? — удивилась Варвара.
— Довольно просто: мы с тобой женимся.
— В твое свободное время, да, Володичка?
Он молчал, моргая: сердце все еще колотилось у него в груди. А Варя, высоко подняв локти, заворачивала на затылке свою взрослую прическу.
— Я очень тебя люблю, Варюха! — сказал Володя.
— По-товарищески? — хитро осведомилась она.
Володя немножко смутился.
— И как товарища — тоже.
— На досуге?
— А что ты, собственно, хочешь? Башню из слоновой кости?
— И башню неплохо! — покладисто согласилась Варвара. — А еще лучше хижину на озере. И чтобы мы с тобой, и еще такие беленькие барашки. Шарика возьмем переименованного...
Глаза ее лукаво светились.
— Ужасно ты боишься быть сентиментальным, Вова, — сказала она, — ужасно. Ну так боишься — хуже смерти... А это ведь грустно. Покуда крутил мне руки или за косы дергал, еще была какая-то романтика, а теперь «коротенько», как любит выражаться наш Женюра: пойдешь за меня замуж — и все. Ах ты, Вова, Владимир. Иногда мне кажется, что я гораздо старше тебя.
— Не понимаю — чем уж я так плох!
— А ты и не плох. Ты даже хорош. Конечно, в свободное время.
Не глядя на него, она сметала ладонью крошки со стола, и еще раз Володя подумал, как верно Варя видит и как точно размышляет. Что это за чудо — юность? Совсем еще девчонка, а уже умеет заметить смешное и скверное, умеет наказать словом, умеет зацепить за больное место.
Очень ему досталось от Вари в этот день.
Он только ежился.
Но потом она его похвалила.
— Работник из тебя получится недурной.
— Всего только? Недурной? — обиделся он. — А вот из тебя работник будет никакой, это уж можешь мне поверить.

— Не все в этом грешном мире гении.

— Это пóшло.

— А попрекать меня моей ординарностью — это не пóшло?

— Перестань, надоело! — велел Володя.

— Знаешь, что еще в тебе плохо, — словно не слыша его, сказала Варя, — знаешь? Ты — беспощадный! Ах, какой ты беспощадный, Вовка, какой ты мучитель. Это невозможно объяснить толком, но ты либо терпеть не можешь, либо — обожаешь.

— Тебя я обожаю, — сердито пробурчал Володя, — особенно, когда ты не говоришь длинные речи...

Стуча когтями, в кухню пришел Шарик-Эрнс, несколько раз покрутился у Володиных ног и улегся. Варвара продекламировала, как всегда, неточно:

Затоплю я камин, буду пить,
Хорошо бы собаку купить...

Она сердилась, на щеках ее горели красные пятна.

— А тебе я нужна, знаешь, для чего? — спросила Варя погодя. — Знаешь? Я, Вовик, умею слушать твои бредни не тогда, когда мне интересно, а когда ты хочешь выговориться, когда тебе нужно, чтобы тебя слушали. Я знаю и цену тебе, и цену мне. Конечно, все твое интереснее и важнее. А вот тебе все, что происходит со мной, совершенно неважно и совсем неинтересно. Все, что у меня, — все это непременно глупо. Скажешь, нет? И если желаешь, то вчера в одной книге я прочитала меткие слова, прочитала и запомнила: «В их отношениях наступила осень». Это про нас.

— Все-таки ты еще совсем девчонка! — снисходительно заметил Володя.

А вот именно этого не стоило говорить. Варвара обиделась, ушла и даже хлопнула дверью. Володя остался один со своими печальными мыслями и с хворым Шариком. И, надо отдать ему справедливость, — как следует всыпал себе за свое равнодушие, за черствость, за хамство, за проклятый эгоизм, даже за подлость по отношению к тетке Аглае. Он сказал себе слова куда похлеще, чем давеча говорила ему Варя. Он поклялся прекратить это свинство. И разве он был виноват, что в то время, покуда поносил себя, потихонечку, как бы шепотом, в нем начали бродить давно, исподволь липнущие к нему

мысли о возможности группировки болезней, о нарушениях химизма человеческого тела,— и он, крадучись, воровато, стесняясь сам себя, стянул с этажерки книгу Гамалея — для того, чтобы еще раз прочитать только один интересный абзац. Только один, напомнить себе идею, проверить...

Но тут же потребовался справочник — и, естественно, он не слышал, как Аглая Петровна открыла своим ключом дверь, как вошла к нему в закуток, как спросила:

— Обедать будем, юродивенький?

— М-м-м! — сказал он, перелистывая справочник.

— Варвара давно ушла?

— Кого?

И, только по дороге к Постникову, Володя вспомнил, что опять так ничего и не спросил у тетки.

Я — пью!

Как странно было то, что он здесь увидел, как не похоже на то, чего ждал. В воображении рисовался ему Иван Дмитриевич и дома у себя жестким аскетом, живущим в унылой комнатке с койкой, столом да табуретками, среди книг, которых по Володиному представлению, было у Постникова изобилие. «Предложит, конечно, чаю, — рассуждал Володя, — я, пожалуй, откажусь!»

Дверь открыл Полунин, в фартуке, в самом обыкновенном фартуке, какой надевала, хозяйничая дома, Варвара. А Ганичев был по животу повязан полотенцем, и еще какой-то незнакомый коренастый человек, очень загорелый, в жестком крахмальном воротничке, с лицом чуть калмыцким — тоже был повязан суровым широким полотенцем. И руки у всех троих, а у Ганичева и лицо, были в муке. «Чего это они?» — на мгновение даже испугался Володя, но его тотчас же посадили к огромному кухонному столу, за которым лепились пельмени. Постников, раскатывая тесто скалкой, кивнул Володе, Полунин сказал: «Вы познакомьтесь, Устименко, с Николаем Евгеньевичем», а загорелый внимательно словно бы пощупал Володю взглядом и скороговоркой, окая, произнес:

— Очень приятно, здравствуйте, Богословский я...

Володя напрягся и вспомнил — эту фамилию не раз

слышал он и от Полунина, и от Постникова, да и в городе часто называли Богословского, — он был главным врачом в больнице в Черном Яре и там же заведовал хирургическим отделением. Об этом бритоголовом, мужиковатом докторе рассказывали много интересного, и Володя с любопытством стал приглядываться к «врачу милостью божьей», как высказался про Богословского однажды нещедрый на похвалы Пров Яковлевич.

Разговор же между всеми троими продолжался:

— И последнее,— говорил Полунин,— больше не стану вас тормошить, иначе вы сердиться будете. В истории медицины, если на то пошло, есть один честный человек, и имя ему — Время. Не согласны?

Богословский едва заметно улыбнулся:

— Ишь хватил! Один! Все тебя, Пров Яковлевич, заносит — один во всей истории медицины.

— Так ведь речь идет не о субъективной честности, а о другой, об объективной.

Полунин ловко швырнул несколько красиво слепленных пельменей на противень, посыпанный мукой, и посоветовал:

— Ты, Николай Евгеньевич, проверь сам умственным взором. Самые честнейшие первооткрыватели, заблуждаясь, защищались, а самые честные люди, тоже заблуждаясь, противились неоспоримым нынче истинам. Я столько лет живу и все думаю...

— Годы не мудрецов делают, а лишь старцев, не хвастайтесь! — заметил Постников. — По себе знаю.

Он отложил скалку и умело, длинными пальцами принялся лепить пельмени. А у Володи они не получались — начинка вылезала сквозь лопнувшее тесто, края не слипались. Впрочем, никто этого не замечал или все делали вид, что не замечают.

Вода на плите уже кипела, Полунин вызвался накрывать на стол и позвал с собой в комнату Володю.

— Пельмени Постников готовит неслыханные, — говорил Пров Яковлевич, расставляя тарелки. — Едят их по-всякому, но здесь классика в чистом виде. Без пошлостей, без эклектики, пельмени без всякого украшательства. Водку пьете?

— Пью! — немножко слишком бодро солгал Володя.

— И умеете?

— А чего же тут уметь?

— Не скажите!

Таская из маленького буфета тарелки, рюмки, блюда, вилки, ножи, Володя понемножку оглядел всю комнату. Наверное, здесь было очень хорошо когда-то, но нынче все сделалось немного запущенным, чуть-чуть нежилым. Словно хозяину неинтересно было приходить сюда, словно он не то сегодня приехал, не то собрался уезжать. Ковер на полу лежал криво, портьера с оборванной подкладкой висела только на одном окне, скатерть нужно было доставать из чемодана. Книги лежали и на полу, и на гардеробе, и на подоконниках. Лампочка не горела. А на письменном столе лениво потягивался кот, из тех, которых называют «помойными», ему здесь все разрешалось, и пахло тут не человеком, а котом.

— Пельмени у нас традиция, — говорил Полунин, раскуривая папиросу, — раз в год, в день его рождения. Постников вдов, мы приходим без жен, всё по-холостяцки. Непременно поминаем Ольгу.

— А кто — Ольга?

— Ольга Михайловна? Жена его покойная, вот взгляните.

Володя поднял голову и словно встретился взглядом с живыми, смеющимися, еще юными глазами милой женщины с пышными, наверное очень мягкими волосами. Прическа у нее была странная, «дореволюционная», — подумал Володя, в руке она держала стетоскоп.

— Тоже врач?

— Да. И очень хороший.

— А отчего умерла?

— Заразилась, — сильно затянувшись толстой папиросой, сказал Полунин. — В восемнадцатом году. В военном госпитале. В госпитале и умерла.

— Это как же? — спросил Володя.

И вдруг увидел фотографию Аллочки, той самой, которая говаривала про себя, что она «бабайки хочет». Фотография была в красивой кожаной рамке с медными уголочками, и смотрела Аллочка вызывающе, словно бы утверждая, что она тут настоящая хозяйка, а не та, которая умерла в восемнадцатом году в госпитале.

— Что ж, — сказал Володя, попеременно взглядывая то на фотографию Аллочки, то на портрет Ольги Михайловны,— что ж, Иван Дмитриевич любил свою жену?

— Очень! — спокойно и веско ответил Полунин. — И нынче любит и помнит...

— Почему же здесь тогда Алла? — жестко произнес Устименко. — Вот — фотография.

— Уже и осудили? — угрюмо усмехнулся Полунин. — Успели осудить? Тяжелый из вас произрастет фрукт, Устименко, крайне тяжелый. Советую: полегче с людьми, да еще если это настоящие люди...

Володя хотел ответить, но не успел.

Иван Дмитриевич ногой распахнул дверь, внес огромную суповую миску. Перед пельменями выпили холодной калганной водки — по полной, обратившись к портрету. Слов никаких никем сказано не было, впрочем, знал покойную только Полунин. Пельмени были действительно удивительные, ароматные, легкие, страшно горячие. Постников каждому перчил «особенно», потчевал весело, говорил, что любит «угощение с хорошим поклоном». За калганной выпили перцовой, за перцовой пошла рябиновка на смородиновом листе, потом таинственная «гудаутка», — «всем водкам генерал-губернатор», как представил ее Иван Дмитриевич. Володя захмелел сразу, раскраснелся, замахал руками, уронил нож.

— Вы — водки поменьше, пельменей — побольше! — посоветовал Полунин.

Сам он пил, ни с кем не чокаясь, графин «зверобоя» стоял возле его локтя, наливал он себе не в рюмку, а в тяжелую, зеленого стекла стопку.

— За вас, Пров Яковлевич! — возгласил Устименко.

— Лучше пельменем! — предложил Полунин.

— А я не мальчик!

— Конечно, кто спорит...

Было весело, вкусно и шумно.

И немножко чуть-чуть совестно за тот глупый разговор, который Володя затеял с Полуниным по поводу фотографии Аллочки. Действительно, мало ли как случается на свете.

— В конюшне у меня... — рассказывал Богословский.

— Разве у вас конюшня, а не больница? — спросил Володя.

— При больнице у меня есть подсобное хозяйство, — сухо пояснил Николай Евгеньевич.

«Ох, кажется, я пьян! — с тревогой подумал Володя и налег на пельмени. — Главное — молчать!»

На секунду красивые тарелки, с нарисованными синими кавалерами, домами, мельницами, лодками и собачками, поплыли перед ним. Но он сжал зубы, и тарелки с картинками остановились. «Главное — сила воли!» — сказал себе Володя. Тарелки опять поехали: «Т-п-р!»

Ах, как было отлично. Как интересно они разговаривали, если бы только он в состоянии был слышать все подряд, а не отрывочные фразы.

— Перестаньте! Всякая сеть, в конце концов, состоит из дырок! — вдруг сказал Полунин.

«Ну и здорово! — вновь напрягся Устименко. — И как верно! Всякая сеть из дырок. Это Варьке понравится. Впрочем, она на меня сердита».

С величайшим усилием он как бы просунул себя в их умный разговор. Но они теперь говорили вовсе не о сети, а о хирургии.

— Спас прав, — сидя против Володи, размышлял вслух Постников. — Спас во всем прав...

«Он о Христе?» — пьяно изумился Устименко и не сразу сообразил, что речь идет о профессоре Спасокукоцком.

— Хирург часто не умеет владеть инструментами, — продолжал Иван Дмитриевич. — Я и сейчас испытываю наслаждение, любуясь работой плотника, столяра, портного. Как они артистически действуют долотом, пилой, иглой, сколько у каждого своих приемов — целесообразнейших, точно рассчитанных, а мы, бывает, знаете, как мальчишки над девчонками смеются: как камень кидаешь? — по-девчоночьи; так и мы по-девчоночьи орудуем инструментами. Черт дери! Столяр и портной имеют дело с доской или куском сукна, а у нас жизни человеческие...

— Правильно, абсолютно согласен! — крикнул Володя. И ревниво подумал: «Неужели он об этом же разговаривает с Аллочкой?»

— Я очень рад, что вы согласны! — кивнул Постников. — Николай Евгеньевич, подложите юноше пельменей.

Володя съел еще полную тарелку. «Юноша? — подумал он. — Как это понять?»

— Кстати! — стараясь говорить трезво и точно, заявил Устименко. — Если память мне не изменяет, профессор Спасокукоцкий является автором лозунга: «Ни

капли крови на пальцах хирурга после грыжесечения». Так?

— Так точно! — подтвердил Богословский, смеющимися глазами глядя на Володю. — Но к чему это вы?

— Просто спросил, — сильно шевеля губами, сказал Володя. — Позволил себе задать вопрос. Впрочем, простите. Я, кажется, помешал? И еще два слова, вернее один важный, жизненно важный вопрос: о взглядах Сергея Ивановича на научную работу...

Все молчали. Тихо и страшно сделалось за столом. Устименко опять сжал зубы: «Вы думаете, я пьян? Вот увидите сейчас — пьян я или нет!» И, собрав все свои силы, аккуратно и громко выговаривая каждый слог, Володя спросил:

— Правда ли, что Сергею Ивановичу Спасокукоцкому принадлежат слова о том, что *только* научная *инициатива* характеризует возможности научного работника?

— Правда! — внимательно вглядываясь в Володю своими, вовсе не холодными на этот раз глазами, сказал Постников. — Спасокукоцкий также постоянно предупреждает от *мультипликации* своих научных работ, то есть от болтовни об одном и том же под разными соусами.

— Прекрасно! — опять слабея, сказал Володя.

Страшное мгновение миновало. Он выдержал. А теперь ему можно отправиться на диван как бы для размышлений.

— А, киса! — сказал он бодро помойному коту. — Здравствуйте, киса!

И закрыл глаза. Кот тотчас же замурлыкал у него на коленях. Размышлял Володя порядочно, во всяком случае пельмени были давно уже убраны, и все пили густой, как деготь, черный кофе, когда он возвратился к столу.

— Да, если бы молодость знала, если бы старость могла, — услышал он слова Постникова.

— О чем речь? — мятым голосом спросил Володя у Богословского.

— Вздремнули?

— Так, задумался...

— Душа нараспашку, знаем, на поверку эти добрые малые за столом оказываются мало добрыми на деле, —

сердито говорил Полунин. — И вообще, Федор Владимирович, все это из тех же милых рассуждений, что добрые люди почти всегда пьяные люди, а пьяные люди непременно добрые люди.

Володя придвинул себе большую чашку кофе, потянулся за коньяком.

— Устименко, довольно! — приказал Полунин.

— Вы считаете, что я пьян? — грозно спросил Володя. — Я сейчас еще бацну, и ничего не будет.

— Будет! И сидите спокойно! Вы же уже поспали!

— Может быть, мне совсем уйти?

— Совсем не надо, а взрослым не мешайте.

Они спорили опять насчет Жовтяка, но при Володе не называли его фамилию, наверное из педагогических соображений. Ганичев рассердился, махнул рукой, сказал, что Полунина не переговоришь, и принес от постниковских соседей гитару с большим пестрым бантом.

— Вот, учитесь! — сказал Пров Яковлевич Володе. — «Возле речки, возле моста» — по-латыни.

И запел негромко, под гитару:

— «Проптер флюмен, проптер понтем...»

А погодя стал рассказывать:

— Всё с его слов, всё точнехонько, такие ничего не стесняются. Он ведь из фельдшеров. Хитер, бестия, хитер, редкостно хитер...

— Хитер, да родиться маленько припоздал,— дробно посмеиваясь, перебил Богословский. — Не его время.

Ганичев, перебирая струны, меланхолически, словно мелодекламируя, произнес:

— Для таких всегда время, о, всегда оно для них — время...

— Да слушайте, черт возьми,— крикнул Полунин.— Такое не часто услышишь. Родила у них где-то в войну, под Волочиском, супруга штабс-капитана, урожденная цу Штаккельберг унд Вальдек. Это я хорошо запомнил, потому что холуй наш и лакей эти самые «цу» и «унд» выговаривал с захлебом, с восторгом. Родила, и все врачи ей не нравятся, недостаточно, видите ли, внимательны к ее, «унд-цу», бебешке. Сатана-баба загоняла денщиков; штабс-капитан, и тот валерьянки запросил. Тут наш орел и надоумил — его позвать. «Я, говорит, ваше благородие, все в аккурат обработаю, очень будете мною довольны». Явился. Погоны и френч знакомый зауряд-врач одолжил.

Вот и явился наш деятель, первая наша лошадь в конюшне медицинской службы области, — явился, неся с собою лошадиные инструменты — «подзанял у ветеринара» — подобающих, разумеется, габаритов. Еще буссоль с треногой была у саперов прихвачена. Поразилась мадам цу Штаккельберг унд Вальдек, поразилась, растрогалась и навсегда уверовала в медицину после того, как невежественный Хлестаков ее с отпрыском лошадиными инструментами измерял, бусоль на нее наводил и через два часа поставил диагноз: «Все благополучно, ребенок же несколько нервный и требует особого к себе внимания, невозможного в прифронтовых условиях». Цу отбыла, развязав руки штабс-капитану, имевшему шашни с милосердной сестричкой, орел наш получил сотенную от мадам и сотенную же от месье. Тут и решил он твердо идти на медицинский, ибо понял, что к звездам, вопреки Сенеке, ведет вовсе не такой уж тернистый путь. И поехал на происхождении. Поймии поймай, верно ли товарищ из донецких шахтеров или, как некоторые говорят, из хитрого купеческого роду. Ищи-свищи...

— Поймаем! — твердо сказал Богословский.

— Да? — удивился Ганичев.

— Не нынче, так позже...

— Перестаньте, Николай Евгеньевич, — устало сказал Постников. — Он далеко не самое худшее... И, главное, вечен он. И раньше такие были, и сейчас существуют.

— Покуда вы все будете его трепетать — он вечен, — сурово и неприязненно ответил Богословский. — А когда за него перестанут работать, писать статьи, ставить диагнозы...

Полунин поднял руку:

— Всё! По домам! Иначе — передеремся.

На улице он предложил:

— Давай еще пройдемся. Ведь рано совсем, а?

Но Богословский и Ганичев отказались за поздним временем. Володя же, конечно, пошел. Вечер был холодный, поздняя осень брала свое, под ногами потрескивал ледок. Полунин низко нахлобучил шляпу, поднял воротник пальто.

Глава восьмая

Ночной разговор

— Вы помните ваш вопрос Постникову,— спросил Полунин неожиданно, — о том, что только научная *инициатива* характеризует возможности научного работника? Помните или, напившись, забыли?

— Разумеется, помню! — обиженно буркнул Володя.

— А про Мстислава Александровича Новинского вы знаете?

Устименко о Новинском не знал решительно ничего.

— Тогда пойдем ко мне! — строго приказал Полунин. — Холодно что-то. Будем чай пить, а?

Они миновали Базарную площадь, прошли мимо собора и спустились вниз на Приречную. Здесь, во флигеле, неподалеку от речного вокзала, жил Полунин. Открыв своим ключом, он пропустил Володю вперед, в теплую и темную переднюю, повернул выключатель и распахнул дверь в кабинет. Володя пригладил ладонью торчащие вихры, оглядел стеллажи с книгами, желтые, лакированные ящики картотеки, огромный письменный стол, заваленный рукописями; прислушался к тяжелым шагам Полунина в глубине тихой квартиры и, воровато крутанув ручку эриксоновского желтого ящика, снял трубку.

— Центральная! — ответила станция.

— Шесть тридцать семь — продолжительный! — сказал Володя. И, услышав Варин сонный голос, велел: — Степанова, не спи! Скоро приду. А может быть, и не скоро. Жди. Есть о чем поговорить...

Шаги Полунина послышались ближе, женский голос, ласково и уютно позевывая, посоветовал:

— Чай в левом ящике, Провушка, а мармелад...

— Шоколад-мармелад, — проворчал Полунин. —

двенадцати часов нет, а она улеглась... Поговорили бы...

— Поговорили бы, поговорили бы, — смешно передразнивая Прова Яковлевича, сказала женщина. — Двадцать два года спать мне не даешь, поговорили бы...

Полунин вернулся, сел в глубокое, вытертое кожаное кресло, кивнул головой на картотеку:

— Интереснейшее занятие. Для войны — самоновейшее оружие, такое, что исход сражения предрешить может. Чрезвычайно важна тут систематизация. Сам изобрел, чем и горжусь без всякой меры. Анекдотцы собраны весьма поучительные, и непременно одна лишь правда. Так вот, желаете анекдотец о Новинском? Покуда, до чаю. Коротко...

Он выдвинул ящик картотеки на странное слово «фельдфебель», вытащил пачку мелко исписанных карточек, раскинул их веером, словно бы игральные карты.

— А Новинский был фельдфебелем? — спросил Володя.

— Ни в малой мере, — с тихим смешком произнес Полунин. — «Фельдфебель» на данном ящике означает грибоедовское «фельдфебеля в Вольтеры дам». Помните? Проходили, как нынче изволят выражаться школьники? Так вот, Новинский...

Откинувшись на спинку кресла, чуть опустив веки, пощелкивая карточками и не глядя в них, Полунин рассказал: в 1877 году, после осуществления ряда опытов по прививкам злокачественных опухолей, Новинский написал диссертацию, имеющую мировое значение. Называлась диссертация — «К вопросу о прививании злокачественных новообразований (экспериментальное исследование)». Работа эта послужила отправной точкой для развития экспериментальной онкологии на многие годы вперед. Рак подвергся первой настоящей атаке.

— Понятно это вам, Устименко?

— Да, понятно, Пров Яковлевич.

— А можете вы теперь себе представить, что этот, весьма, вероятно, великий в будущем ученый и истинно первооткрыватель, «по случаю назначения Донского казачьего № 2 полка в распоряжение генерал-адъютанта графа Лорис-Меликова», был в этот полк № 2 направлен и более уже в науку прорваться не мог?

— Это как же? — пугаясь бешеного выражения глаз Полунина, спросил Володя.

— А так же! — крикнул Пров Яковлевич.— Так же! Исправлять службу врачу Новинскому согласно всем там чертовым табелям надо было? За право учения в Медико-хирургической академии он по нищете своей не платил? Так служи же царю и отечеству! Пошли бумаги, пошла переписка, и как за Новинского ни сражались порядочные люди, загнали-таки, куда Макар телят не гонял. Служи, — велел генерал-фельдфебель, грибоедовский фагот, и лишилась Россия великого сына своего, онкологию на много лет заколодило, а потом, после службы в армии, надо искать средства к существованию, службишку для пропитания животишек, — где же тут эксперимент?

Полунин принес чайник, мармелад в коробке, налил Володе и себе стаканы. Посасывая погасшую папиросу, перегоняя мундштук губами, краем глаза еще заглянул в карточки, прочитал:

— «Определен был к службе пунктовым ветеринарным врачом в С.-Петербурге. По должности лежал на нем осмотр привозимых в столицу убойных и племенных животных, а также лошадей и осмотр всех животных, вывозимых из столицы». Вот-с, в сущности, и все.

— Умер? — тихо спросил Володя.

— А как же! — с горькой злобой ответил Полунин. — Непременно. И совершенно нынче забыт. Николай Николаевич Петров в десятом году о нем еще писал, а вот иностранец Блюменталь недавно книжку выпустил — и нету там нашего Новинского, а есть опять-таки иностранцы — Ганау и Моро. Да дело не в этом — дело в другом, в гораздо более непоправимом. Единым росчерком фельдфебеля останавливается, быть может, величайшая эра в науке, прекращается цветение ума великого, вероятно, ученого.

Пров Яковлевич уложил карточки обратно, задвинул ящик, прошелся по кабинету из угла в угол, сказал с невеселой усмешкой:

— Тоже темочка для небезынтересной статьи под названием, допустим, «Осторожнее, господа генералы!»

И неожиданно спросил:

— Понравился вам Богословский?

Не ожидая ответа, заговорил опять·

— Удивительный совершенно человечище. В грустные и злые минуты подумаешь о нем, и легче станет. Именно такие, как Николай Евгеньевич, перевернут мир, образуют в нем истинный порядок, расставят все по своим местам. Предполагаю, придется вам с ним иметь дело, послушайте, небезынтересно...

Володя выпил стакан чаю до дна, голова теперь стала совсем свежая, слушать басистый ровный голос Полунина было приятно. Пров Яковлевич сел на своего любимого конька — говорил о настоящем человеке, не злился, любовался.

...Богословский приехал в Черный Яр совсем еще молодым врачом с женой-гинекологом Ксенией Николаевной и дочкой Сашенькой. Командовал в больнице тогда некто Сутугин — член союза Михаила-архангела, погромщик, служил когда-то верой и правдой помещикам Войцеховским, купечеству черноярскому и от всей этой теплой компании посылаем был даже в Петроград, в Думу с некоей петицией. Встретил Сутугин Богословского, разумеется, в штыки: «Ах, большевичок? Ну, попробуйте товарищ большевичок, нашего черноярского хлебца-соли». Внешность Сутугин имел англизированную, курил сигары, носил гетры, ездил верхом, купался зимой в проруби, а в больнице вши, холод, вонища, ватеры не работают, — Полунина посылали туда посмотреть,— и в те времена ясно было, что Сутугин ничем не прикрытый саботажник. Лечить не желал, операций не делал, для некоторых случаев приходилось ему выписывать из губернского города хирурга, но медперсоналу Сутугин строго-настрого к больным прооперированным подходить воспретил. Не мы, дескать, оперировали, не с нас и спрос. И еще формулировочка: «чем хуже, тем лучше».

Встретил Сутугин Богословского и сразу осведомился — не сын ли он отца Евгения Богословского, протоиерея Каменского собора. «Да, — отвечает Николай Евгеньевич, — сын». — «И как же, — это Сутугин спрашивает, — в коммунисты записались, дабы сохранить себя на антихристовы эти времена?» — «Нет, — отвечает Богословский, — не для этого. А для того, чтобы таких мерзавцев, как вы, на пушечный выстрел к народному здравию не подпускать!»

Ну и пошло.

Богословский работает, а англизированный Сутугин на него доносы пишет. И в губком, и в уком, и в военкомат — военкому, и тому писал. И чем лучше работает Николай Евгеньевич, тем больше сыплется на него комиссий, обследований, вызовов, запросов...

И доносы не анонимные, а такие, знаете ли, что в печке не сожжешь. Все с обратными адресами, и всё адреса бывших, прежних сливок черноярского общества, всех дружков Сутугина.

Стал нервничать наш Николай Евгеньевич. Доносы и вытекающие из них ревизии, обследования и запросы, как известно, не способствуют плодотворной человеческой деятельности, а работы-то много, по ночам следует высыпаться, а не думать горькие думы...

Но однажды в больницу приехал секретарь укома РКП, товарищ Комарец. Полунин знал его. Это был плотогон с Унчи, рыжий красавец и силач, песельник и удалая голова. С ним вместе приехала совсем молодая женщина, тогда работник губкома РКП, — некто Устименко Аглая Петровна — не родственница ли она Володе?

— Однофамилица,— угрюмо солгал Володя: тетку многие знали в городе, а он не хотел слыть родственником выдающейся женщины.

— Ведь врете? Ну, как знаете!

И Полунин стал рассказывать дальше.

Собрав всех, кто работал тогда в Черноярской уездной больнице, Комарец предложил побеседовать о нуждах и перспективах учреждения, которое из-за странной своей архитектуры называлось местными жителями «аэропланом». Пришли и многие ходячие больные. Во время беседы выяснилось много хорошего, сделанного самим Богословским. Тогда молоденькая Устименко поднялась и вслух, ровным голосом прочитала все доносы врача Сутугина, написанные им под разными именами и в Москву, и в прокуратуру, и в милицию, и в РКИ, и в ГПУ, и в военкомат. Читала Устименко и выводы всех обследователей. Служащие и больные сидели понурившись, всем было страшно; люди уже знали своего Богословского, любили его и ужасались мере падения Сутугина. А тот все улыбался блуждающей, угрожающей и испуганной улыбкой.

— Ну так как же, писатель? — спросил Комарец Сутугина.— Как считаете — что это все было?

Виталия Викторовича Сутугина выгнали. Комарец и Аглая Петровна сказали Богословскому немало добрых слов, посоветовали забыть всю эту мерзость и работать спокойно. Напоследок они обошли еще раз всю больницу. Она была отремонтирована, паровое отопление действовало, но с инструментами дело обстояло из рук вон плохо. И белья не хватало, и одеял, и кроватей. А больных появлялось все больше и больше, в этот год впервые за все существование «черноярского аэроплана» здесь было сделано более двухсот операций.

— Думать надо и думать,— сказал Комарец,— но поможем вам обязательно...

Покуда Комарец думал, Николай Евгеньевич поехал в Сибирцы на стеклодувную фабрику и провел там митинг. Рабочие постановили: отчислить однодневный заработок в пользу новой больницы. И на лесопильном заводе имени Розы Люксембург, и на кирпичном заводе, и на паровой мельнице имени Солдат революции — всюду отчислили однодневный заработок. Рабочий класс понимал, что значит своя больница и как надо ценить такого доктора, как Богословский.

Собрав семьсот сорок четыре червонца семь рублей девять копеек, Николай Евгеньевич зашил купюры в тряпочку, тряпочку Ксения Николаевна суровыми нитками накрепко заделала в жилетку, и главврач отбыл в Москву. В это время Сутугин накропал донос в губком. Коллектив рабочих якобы обращался с просьбой прекратить вымогательства со стороны «врача-самозванца» Богословского. Подписи были разборчивые, за пильщика Артюхова, действительно существовавшего, подписался очень похоже бухгалтер Сидилев, за электрика — он же, в бухгалтерии больницы нашлись подписи, которые можно было скопировать. За мастера-мукомола и некоторых других постаралась супруга «писателя» Виталия Викторовича. Покуда ловко состряпанный донос-фальшивку проверили, перепроверили и пока окончательно во всей этой пакости разобрались, в Москву была послана телеграмма, чтобы Богословский ничего не покупал, а деньги препроводил в уком. Николай Евгеньевич, еще ничего не купивший, деньги перевел в уком товарищу Комарцу почтой, а сам заказал все потребное для больницы наложенным платежом «товарищу Ко-

марцу Черноярский уком РКП». Всю обратную дорогу главврач ел одни только желтые огурцы с хлебом.

Инструменты и инвентарь прибыли, Комарец, уже успевший разобраться в последнем художестве «писателя», приказал оплатить наложенный платеж. Сутугина наконец арестовали, а больница стала совершенно неузнаваемой. К Богословскому пошли оперировать застарелые грыжи, неудачно сросшиеся переломы, пошли просить «вытащить» осколок, застрявший еще с империалистической, под Перемышлем, поехали из дальних сел и деревень бабы с «грызью», «колотьем», «щипом», «неудою» и прочими загадочными недугами. Служить в «аэропланном монастыре» стало честью, у Богословского блестели глаза. Похохатывая, поглядывая своим смешным, петушиным взглядом, он говорил:

— Если использовать все скрытые возможности нашего советского государственного устройства, можно черт-те что совершить...

Пильщик Артюхов, мужчина солидный и положительный, возглавил специальную тройку по оказанию помощи больнице. Коммерческий директор стеклодувной фабрики в Сибирцах, тоже член тройки, отгрузил для больницы «бой» — бракованную стеклянную посуду. С мельницы, при помощи члена тройки Холодкевича, в больницы поставляли отруби.

Здесь развернулась другая сторона дарования Богословского — его хозяйственность, понимание того, что такое «хлеб наш насущный», привычка к деревенской жизни, энергическая любовь к земле и ее благам. «Книга-почтой» посылала в Черноярскую больницу все новинки по животноводству, откорму свиней, огородничеству и полеводству. Построив при больнице прачечную, Богословский и завхоз больницы Племенчук открыли в Черном Яре приемочный пункт стирки белья. В уездном городе подивились на такое новшество, потом понесли на пробу — небось жавелем пожгут в прачечной. Но ничего не пожгли. На доходы от заведения под красивым названием «Белоснежка» Богословский купил для больницы первую корову и назвал ее тоже «Белоснежкой». С этого началось. Через три года больница имела уже свое стадо, больные получали молока, творогу, сметаны вволю, медперсонал имел право покупать в подсобном хозяйстве продукты «для личного пользо-

вания». Из соседней губернии, из совхоза, кругленький Племенчук привез поросят. Основалась ферма. Еще через некоторое время еженедельно били свинью. Все свое свободное время Николай Евгеньевич проводил, командуя хозяйством, с доярками, с конюхами, в полях. Летом кожа на лице его лупилась, рубаха к вечеру крепко пахла потом; вперемежку с медицинскими журналами он читал об отеле коров, о силосовании, о куроводстве. Племенчук жалобно вздыхал:

— Поставить бы нам сыроварню, Николай Евгеньевич, дело не так уж хитрое, мне несколько даже знакомое. Гнали бы сыры на продажу — деликатесные — лимбургский, бакштейн, жидкие в коробках. Большие деньги с такого предприятия можно нажить. И, глядишь, по прошествии времени возведена бы была нами новая, культурная покойницкая...

— Слишком уж вас, Племенчук, на коммерцию поводит,— отнекивался Николай Евгеньевич.— Не люблю я этого...

Погодя завхоз ужасно проворовался. Приезжий адвокат яростно защищал его и, поглядывая на Богословского оловянными глазками, намекал суду на то, что его подзащитный виновен только в том, что выполнял приказы своего главврача. Судья не раз одергивал адвоката, но Николай Евгеньевич чувствовал, что он все-таки в грязи и что ему чего-то стыдно. В последнем слове подсудимого Племенчук сквозь слезу (он вообще был склонен к слезам) сказал, что не будь в больнице такой «обстановки», он бы остался совершенно чистым.

Суд приговорил Племенчука всего лишь к трем годам, но прокурор опротестовал приговор и добился пяти лет заключения.

А подсобное хозяйство стали шельмовать. Проклятый Племенчук надолго опорочил нужное, важное и полезное дело. Жена бывшего завхоза, работающая в уездном финансовом отделе машинисткой, распространяла всякие слухи и слушки, с которыми Николай Евгеньевич не в силах был бороться. И теперь нередко случалось, что больные, попивая холодное, с ледника, молоко, говорили между собой о том, что ежели им ни в чем не не отказывают, то как же тогда ворует больничное начальство, как подторговывает, какие капиталы наживает! И всегда при этом вспоминали уже полузабытого

завхоза, называя его то бывшим главным врачом, то женой заместителя, то старшей сестрой. И председатель уездного исполкома, добрый и покладистый мужик Васильчаков, как-то сказал:

— А не пора тебе, Николай Евгеньевич, друг ситный, навести порядок в хозяйстве? Болтает народишко разное...

— Порядок давно наведен,— отвечал главврач усталым голосом.— На чужой же роток, как известно, не накинешь платок.

Приезжали ревизии; ревизоры, вздев очки, копались в книгах, составляли акты, произносили двусмысленное ревизорское «гм»... Требовали циркуляров, на основании которых в Черноярской больнице было заведено подсобное хозяйство. Требовали визы наркома, республиканских органов, губернии. Цену на молоко, отпускаемое больным, назвали произвольной и, просидев еще четыре дня, повысили до двадцати девяти копеек.

— Вы ведь врач-хирург,— сказал в заключение пятой по счету ревизии главный ревизор — мужчина с губчатым носом и отвислой губой,— для чего вам, доктору, марать свое доброе имя этими пустяками. Отдайте все совхозу имени Первого мая, оформим, сдали-приняли — и кончено. Читал я в свое время книжку о докторе Газе, он делал свое гуманнейшее дело без всяких ульев, коровников, свиней и куриц...

Богословский поднял измученную голову, и воспитанный, очень интеллигентный ревизор услышал фиоритуру — мужицкую, грубую, точную и сердитую. Главврач был ругатель и любил отвести душу, не стесняя себя. У ревизора еще больше отвисла губа, губчатый шишковатый нос заалел.

— Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей,— сказал ревизор.

— Я тоже! — ответил Богословский.— В последнее время вы все, черт бы вас задрал, забыли, что, кроме подсобного хозяйства, у меня больница, в которой я не только главврач, но еще и заведую хирургическим отделением со всеми вытекающими из этого последствиями...

К той весне Богословскому стало совсем невмоготу. Тихая Ксения Николаевна собрала тройку под председательством старика Артюхова, тайно от мужа. Было

написано письмо и собраны подписи тех людей, которых оперировал и лечил Николай Евгеньевич. Письмо после долгих размышлений отправили лично Аглае Петровне Устименко, которую хорошо знали и в городе, и в губернии, и в Сибирцах, и в Черном Яре. Думали, что приедет сама Устименко, но она не приехала, а приехал маленький, коренастый, в сильных очках — корреспондент «Уничанского рабочего». Не разобравшись, в чем дело, Богословский принял его за очередного ревизора и побеседовал с ним довольно грубо. Но Штуб — так звали коренастого заведующего отделом губернской газеты — не обиделся. Поселившись в Доме крестьянина, он холодно и спокойно занялся своей работой. Ни патетическое письмо больных, ни горы доносов не произвели на него никакого впечатления. Он приехал за *правдой.* И, действуя по своей системе, спиралеобразно — от далекого к центру,— Штуб, не тревожа Богословского, восстановил для себя, день за днем, месяц за месяцем, год за годом прекрасную, человечную, мужественную и партийную работу деревенского доктора. Узнал он и про то, что когда Богословский покинул своего отца, протоиерея Евгения, то суровый священнослужитель проклял единственное чадо с амвона Каменской церкви, узнал о том, как, кончив медицинский институт и имея возможность остаться при кафедре, Богословский отправился в сельцо Щетинино, узнал и о такой существенной мелочи, как, например, то, что семья Николая Евгеньевича никогда не получала с подсобного хозяйства *ничего,* «ни молока, ни меда, ни яиц, ни творогу, ни свинины». Узнал дотошный Штуб и о больных — они нынче ехали в Черный Яр не только из уезда, но и из губернии, даже из очень дальних городов. Был сюда привезен даже один мальчик-калека из Астрахани, другой, немолодой уже землемер, приехал из Калуги. Хирургическая сестра Мария Николаевна, педиатр больницы черненький и энергичный Смушкевич, санитар дядя Петя, заместитель главного врача старик Виноградов, заведующая бельевой тетя Паня, завхоз Рукавишников — рассказали Штубу много интересного.

А умненькая, хорошенькая, бойконькая докторша Александра Васильевна Петровых рассказала Штубу про минеральную воду, открытую при рытье артезианского колодца. Про эту воду знал еще «писатель» Су-

тугин, в губернском губернаторском архиве имелось письмо старого пройдохи, где он объявлял воду своей собственностью, ссылаясь на то обстоятельство, что господа Войцеховские подарили ему открытый им источник целебной воды, названной им «Черноярской». Но это все Штуб раскопал позже, после рассказа Петровых. Она же сообщила журналисту, что Богословский повез пробы воды в Москву, получил там результаты анализов и долго пытался уговорить какого-то скучного человечка, чтобы тот приказал построить маленький заводик минеральных вод возле больницы. Но человечек этот все позевывал и говорил, что нынче прямо-таки какое-то поветрие на минеральные воды, все находят минеральные воды, и неизвестно только, кто их станет пить. Да и с бутылками имеются затруднения. Судя по характеру Богословского, беседы кончились фиоритурой со стороны Николая Евгеньевича, вернулся он домой взбешенным, собрал свою тройку и каким-то удивительным, хозяйственным способом стал сооружать трубы для подводки целительной воды в палаты, в перевязочную, в столовую для ходячих больных и в кухню. Привез завхоз Рукавишников из города и тонкие железные трубы для поливки минеральной водой больничного огорода. Земля не замедлила отдать то, что получила в долг: урожайность больничного огорода повысилась чуть ли не в два раза. Богословский построил парники, больные вдосталь имели ранней зелени — молодого луку, всяких там петрушек и укропов, и даже огурцы свежие ели тогда, когда черноярцы об этом и не помышляли.

Особо смеялся и радовался Штуб, узнав от старика Артюхова, безмерно влюбленного в Богословского, о той «штуке, которую удрал наш Николай Евгеньевич с местным и вредным попишкой Ефимием».

Дело заключалось в том, что собор во имя Петра и Павла, построенный в прошлом веке иждивением купцов-хлеботорговцев братьев Жуковых, имел при себе обширный парк, переходивший постепенно в кладбище для особо именитых черноярцев. Парк и доселе был любимым местом гуляния жителей уездного города, а кладбище заглохло, никого там не хоронили, великолепная же чугунная решетка с крестами существовала как бы сама по себе, никому не нужная и даже лишняя. А проклятый «аэроплан-больница» не имел вовсе никакого за-

бора. Штакетник Богословский ставить не хотел, а на высокий заборище, который бы охватывал всю больницу с огородами, садом, службами, никак не хватало денег. Отсутствие же забора чувствительно давало себя знать: больные прогуливаются, а родственники приносят им солененьких грибков, или рассолу, или квашеной капусты, или даже сороковку хлебного вина.

Поразмыслив по этому поводу, Николай Евгеньевич надел на себя черную, для посещений Москвы построенную пиджачную тройку и отправился к местному попу — отцу Ефимию. Ходил доктор Богословский к злому и вредному черноярскому батюшке, как на службу, ежевечерне и добился созыва церковной десятки. На заседание десятки он привел свою тройку во главе с Артюховым. Здесь Николай Евгеньевич показал себя глубочайшим знатоком Священного писания, Евангелия, Псалтыря и иных духовных сочинений. Имел место спор — вначале приличный, потом с витиеватостями, потом с фиоритурами. На основании отлично подобранных цитат из отцов церкви Богословский неопровержимо доказал десятке, что чугунная решетка должна быть перевезена к больнице, так как призревание страждущих — дело гораздо более христинское, нежели украшение храмов. Ефимий, споря, сорвал глотку, мнения членов десятки вначале поколебались, затем разделились, затем восемь человек из десяти поддержали Богословского. Решетка собора во имя Петра и Павла иждивением больничного персонала, на больничных подводах была перевезена к «аэроплану» и там благополучно установлена. Вскорости же вредному Ефимию Николай Евгеньевич сделал удачнейшим образом грыжесечение, и старый поп, прохаживаясь больничными, огороженными церковной решеткой огородами, попивая минеральную воду и изумляясь на прекрасный урожай огурцов, лука, капусты и иных «богославящих злаков», в умилении напевал сиплым тенорком псалмы, вздыхал и в конце концов сознался Николаю Евгеньевичу, что был неправ, грубя ему и ругаясь «черными словами» в те, недавние дни.

Пробыл Штуб в Черном Яре около месяца. Из канцелярии больницы, из личного дела главврача была им похищена фотография Богословского. Эту фотографию он переснял и уехал. А через неделю в «Унчанском рабочем» была напечатана статья с портретом Богословс-

кого, читая которую Ксения Николаевна плакала и говорила Сашеньке:

— Видишь, дочь, отец был прав. Трудно ему, но он всегда прав. И очень мне хочется, чтобы ты выросла такой, как он.

Сашенька тоже плакала: она любила отца, втайне страдала, когда унижали его все эти ревизоры, подслушивала разговоры измученного Николая Евгеньевича с матерью. И вот теперь всему этому пришел конец. Кто он такой — Штуб? Почему он все знает? Почему здесь все правда? Есть же такие удивительные люди!

Отец вернулся в тот день поздно, какой-то непохожий на себя, сконфуженный и смешливый. Ксения Николаевна испекла пирог с черникой, совсем к ночи пришли другие доктора — Виноградов, Александра Васильевна Петровых, Смушкевич с бутылью самодельного яблочного вина, санитар дядя Петя Семочкин, хирургическая сестра Мария Николаевна с наливкой собственного изготовления. Пришел и Артюхов. Пели «Гаудеамус игитур», «Выйду, выйду в рожь я высокую», «Очи черные, очи жгучие» и «Чайку», как «шутя ее ранил охотник безвестный, и она умерла, трепеща, в камышах». В это время верхом приехал рыжий Комарец, обнял Богословского, поцеловал, сказал речь «от имени и по поручению» и исчез в звездной теплой ночи.

— Пресса, когда она стоит на высоте своих задач,— говорил Смушкевич, черненький и тоненький врач,— пресса, когда она ответственна и понимает свою миссию, пресса...

— Послушайте, давайте танцевать,— попросила Ксения Николаевна,— ведь мы с Колей хорошо танцуем, честное слово! И мазурку, и польку, и вальс, и краковяк, и падеспань...

А Виноградов, расстегнув рубашку и растирая рукой волосатую грудь, объяснял Александре Васильевне:

— Думаю, что итог нашего спора может быть таковым: делай или советуй делать больному только такую операцию, на какую ты согласился бы при наличной обстановке для себя самого или для самого близкого для тебя человека.

— Тривиально! — воскликнула Александра Василь-

евна.— Это в восемнадцатом веке еще англичанин Сайднэм утверждал...

Щеки у нее горели, и ей хотелось танцевать. А танцевать было не с кем. Смушкевич все еще толковал о прессе.

— Ну и я, конечно, на том пиру был, мед пил,— вздохнув, закончил Полунин свое повествование.— Впрочем, не то что на пиру, а на консультации. Но победу Богословского и вашей родственницы Аглаи Петровны видел своими глазами. Хорошее было дело сделано.

— И все это теперь у вас тоже в картотеке? — спросил Володя.

— Нет. Здесь — в желтых этих ящичках — только мертвые. Это, Устименко, гробики. А все живое — ваше. Когда начнете врачевать, равняйтесь на таких, как Богословский.

Часы где-то в глубине квартиры пробили час, Володя поднялся. Полунин проводил его до калитки, велел на прощанье:

— Размышляйте. Помогает. Но не слишком. Человек живет на земле делами своими.

Было уже совсем поздно, когда он подходил к Варвариному дому. Но надо же было и ему выговориться в конце концов.

— Будешь рассказывать? — спросила Варвара, подворачивая под себя ноги.

— Буду. Ты не сердишься, рыжая?

Она не сердилась. Разве она умела толком сердиться на него?

— Ты молодец, а я, конечно, свинья! — сказал Володя.— Но, понимаешь, рыжая, человек живет на земле делами своими!

Сконфузился и добавил:

— Это не я говорю, это Полунин говорит...

— Ладно, рассказывай все! — велела Варвара.— Только по порядку, я не люблю, когда через пень-колоду. Значит, ты пошел на пельмени к Постникову. Вот ты вошел...

— Вот я вошел,— начал Володя.—Вошел и стал лепить...

В Черноярский аэроплан!

Перед самым отъездом на практику Володя в саду имени X Октября встретил Прова Яковлевича Полунина. В белой раковине ухал медью военный оркестр, уже цвела сирень, пожилые горожане прогуливались в чесуче, звезды в глубоком темном небе казались теплыми. И Варина рука тоже была теплой.

— Устименко! — окликнул Полунин.

Володя сильно сжал Варин локоть, давая этим понять, что сейчас произойдет нечто интересное и значительное. Варвара же мгновенно узнала в огромном мужчине Володиного легендарного профессора Полунина.

— Держись, будто ты очень умная! — посоветовал Володя и сухо поздоровался: — Здравствуйте, Пров Яковлевич.

Чем больше привязывался он к Полунину и Постникову, чем крупнее казались ему их характеры, чем значительнее их нравственный облик, тем настороженнее он с ними держался: а то еще подумают, что он аккуратный подхалим вроде Мишеньки Шервуда или еще хуже — что он «лезет в приятели».

— Отбываете?

— Да, еду.

— Слышно, к Богословскому в Черный Яр? (Полунин отлично знал, что Володя едет именно к Богословскому).

— Да, туда.

— Рад за вас. У Богословского есть чему поучиться не только студенту, но и врачу, даже опытному. Впрочем, вы ведь его знаете?

Володя чуть-чуть покраснел, вспомнив осенние пельмени и то, как он тогда бойко напился.

— Познакомили бы со спутницей вашей! — перевел разговор Полунин.

— Варя! — сказала Варвара, протягивая свою широкую, всегда теплую ладошку. Она смотрела на огромного Полунина совершенно уже снизу вверх, даже закидывая голову.

— Посидим, подышим,— предложил Пров Яковлевич.— Совсем нынче душно, просто деваться некуда от духоты...

Широкая грудь его вздымалась с трудом под тонким

полотном рубашки, взгляд был тоскливо-напряженный, но, вкусно закурив толстую папиросу и длинно затянувшись, Полунин заговорил:

— По странному совпадению, нынче как раз размышлял я о будущем вашем и, в частности, о Богословском еще, хоть мы о нем и говорили порядочно. Попрошу вас только вот о чем, Устименко: когда будете у Николая Евгеньевича учиться,— примечайте, например, такого рода явленьица: во-первых, несомненно, что хорошего хирурга меньше можно узнать по тому, что он оперирует, чем по тому, *чего* он не оперирует...

— Здорово! — воскликнула Варя.

— И я думаю, что здорово,— кивнул Полунин,— потому что,— продолжал он,— сама операция в разной, разумеется, степени — вопрос техники, воздержание же от нее есть искуснейшая работа разума, строжайшей самокритики и точнейшего наблюдения.

— Не понимаю! — сказала Варя и сморщила лоб.

— Помолчи!— прошипел Володя.

— И второе, что вам следует замечать, работая у Богословского,— сосредоточенно говорил Полунин,— это роль самой личности врача в общении этой личности с больным. Понимаете ли, какая штука! Есть больные, для которых врач только тогда врач, когда он профессор. Но вполне можно быть профессором и никак не врачом...

— Это Жовтяк ваш, да, Володька,— спросила Варя,— который лысинку надушивает, правда?

Пров Яковлевич едва заметно улыбнулся, Володя же слегка толкнул Варю локтем, чтобы она не вмешивалась.

— И никак не врачом. Между тем,— говорил Полунин,— что касается меня, то судите меня как хотите, но ничего еретического нет в том, что мне порой наш деревенский доктор, вооруженный термометром и стетоскопом, иногда по сердцу ближе и опытом своим, и остротою ума, и наблюдательностью, и ясностью мысли, а главное — человечностью. Да, да, рентген, лаборатории — все так, все верно, но человеку хочется доверять больше, чем технике. И дело наше с вами *человеческое,* это непременно надо понимать. Вот вы в этом смысле присмотритесь-ка к постановке дела у Богословского, к идейной сущности его работы. Он — доктор идейный,

сильный духовно, закаленный боец. У него не только на технику и науку ставка, но больше на личности врачей обыкновенных и удивительных в то же время. А лучшие врачи — это, разумеется, те, которые соединяют в себе и знание, и технику, и личные качества. Вот личных качеств вы и набирайтесь там побольше, набирайтесь той нашей настоящей гордости, которая заставила немца Швенингера в минуту отчаяния у постели больного воскликнуть: «Вы меня никогда не увидите исчерпавшим все мои средства!» И склонен я предполагать, что не средство в данном случае, а восклицание, сила духа подняли больного с одра болезни.

— Согласна с вами,— сказала Варя,— абсолютно согласна!

— Это очень приятно, что вы согласны,— вежливо кивнул Полунин.— Вы тоже медичка?

— Нет. Я лично работаю в искусстве. То есть еще и в техникуме...

— А искусством дома?

— Нет, в студии.

— Даже так? И что же это — скульптура, живопись?

— Нет, театр, Пров Яковлевич.

— Стало быть, в актрисы себя посвящаете?

— Ага. Нам преподает Эсфирь Григорьевна Мещерякова.

— Так ведь разве она Эсфирь? Она Евдокия, а фамилия у нее двойная — Мещерякова-Прусская.

Варя кивнула. При всей ее преданности Мещеряковой ей всегда было немножко совестно, что у той и фамилия и имя двойные.

— Странно это у старых артистов,— сказал Полунин,— у молодых этого не бывает. А старые непременно — чтобы двойное и благозвучное. Помню, лежали у меня в одной палатке актер старый Вронский-Голундо и бывший вор-медвежатник, специалист по вскрыванию несгораемых шкафов. Так тот все над Голундой посмеивался: «У меня, говорит, шесть фамилий — Шкурин-Боровиков-Зундер-Прентковский-Иванов-Кассис, так я «с них красиво жил»... Так, так. Ну, а чему же Мещерякова научить может?

— Как чему? — удивилась Варя.— У нее техника изумительная.

— Но ведь артистка-то она бездарная? Вы меня, по-

жалуйста, простите, я совершенно как профан говорю, но только искусству можно, по всей вероятности, лишь у талантливых людей учиться? Врач учащий непременно должен, кроме техники, обладать еще и некоторым даром...

— Талант у Мещеряковой очень тонкий, своеобразный, тут вы неправы,— сказала Варя.— Что же касается техники, то ее сама Глама за технику хвалила.

— Ах, Глама? — с характерным своим смешком удивился Полунин. — Ну, если Глама, тогда, конечно, тогда мне и спорить никак не возможно. Только ведь хвалила ли еще Глама? И в похвалах ли суть? Вот, простите, нашего Ганичева — учителя Устименки — как раз чрезвычайно часто, жестоко, оскорбительно даже ругали, а Ганичев есть Ганичев, и никуда не денешься. Так-то вот...

И, обращаясь только к Володе, Пров Яковлевич сказал:

— Еще раз очень я рад, что едете вы именно к Богословскому. Передайте ему привет и наилучшие пожелания. Когда пароход?

— Ночью. В три часа.

— Значит, до осени. Жаль, что мало вы с ним потрудитесь. Где-то я читал, что и у профессуры следует, прежде чем пускать оную к студенчеству, спрашивать — был ли ты, пресветлая твоя ученость, хоть годик деревенским врачом...

Он засмеялся, протянул руку.

— До первого сентября. До свидания, будущая актриса. Как это Чехов писал своей супруге? «Милая моя актрисуля!» А был, между прочим, Антон Павлович великолепнейшим доктором и в самом высшем смысле этого слова «деревенским доктором».

Варя и Володя поднялись. И только в Черном Яре из Вариного письма Володя узнал, что именно в эту ночь, на этой самой скамье, где они сидели втроем,— Пров Яковлевич Полунин скончался. У него было очень больное сердце, он никогда толком не лечился и умер мгновенно, с недокуренной папиросой в руке. Может быть, это была та самая папироса, которую он так вкусно курил при них, может быть, оркестр все еще играл «Тоску по родине», может быть, они с Варей не ушли далеко, и Полунин, почувствовав себя плохо, даже окликнул их.

Все могло быть. Но никто этого не знал и теперь уже никогда не узнает.

На пароход Володю провожала одна Варя, тетка Аглая была в районе. Из вещей Устименко взял с собою пару юфтовых добрых сапог, плащ из брезента, торчащий колом, два тома работ Николая Ивановича Пирогова и отдельно связку книг. Был у него еще сверток с селедками, приобретенными по настоянию деда Мефодия, который утверждал, что в Черном Яре с селедками положение напряженное. Было белье, надувная резиновая подушка, конверты, заадресованные рукой Вари на «ул. Красивую, дом 6, кв. 5, т. Степановой Варваре Родионовне», Варина маленькая, любительская фотография и фотография отца времен гражданской войны: батька, совсем молодой, ужасно простоватый, картинно стоит у машины «сопвич» и улыбается — смотрите, люди, какой я здоровый, добрый, весь вот он я!

Пыч уже уехал, Огурцов тоже. Варя дрожала — ночь была прохладная, а у Варвары к Володиному отъезду было сшито новое, белое, без рукавов платье. Ей хотелось, чтобы он помнил ее такой — необыкновенной, удивительной. Но он даже не заметил это новое платье, так был поглощен завтрашним днем.

— Эй, молодожены, очисть дорогу! — велел матрос с большим тюком.

Внутри парохода приглушенно подрагивала машина, сходни колебались, борт терся о пристань.

— Обними меня,— попросила Варвара,— мне холодно!

— Ну вот еще, телячьи нежности! — сказал Володя.

Тогда Варвара сама подлезла ему под мышку и пристроилась так, что оказалась с ним под его пиджаком. Так близко еще никогда не приходилось им бывать, и Володя с радостным изумлением посмотрел в Варины хитрые и счастливые глаза. От волос ее славно и свежо пахло речной сыростью, сердце ее билось совсем рядом, ладошка была в его руке. Володя опустил мохнатые ресницы, прижался щекой к ее пушистой голове, сказал сипло:

— Рыжая! Я же тебя люблю.

— Любишь-любишь,— сквозь внезапно сладкие слезы ответила она.— А все только Павлов, да Сеченов,

да для чего рожден человек, да Герцен. Сейчас третий гудок будет, поцелуй меня...

Володя поцеловал ее сомкнутые, мокрые от слез губы.

— Не так,— сказала она,— так покойников целуют, поцелуй страстно!

Он рассердился, нажал зубами, губы ее поддались, крепкое, юное тело приникло к нему совершенно. Где-то рядом над ними заревел пароходный гудок.

— И ничего особенного! — выкрутившись из его сильных рук, сказала Варвара.— А в книге я читала, что поцелуи бывают терпкими.

— Дура! — обиделся он.

Трап выскользал из-под его ног, Володя прыгнул, пароход «Унчанский герой» медленно пополз к фарватеру широкой реки. Почти всю ночь Устименко просидел на палубе, бормоча: «Рыжая, я же тебя люблю, люблю, люблю!» И с тоской вспоминал часы, которые они могли проводить вместе, а проводили порознь, вспоминал свои глупые остроты, насмешки, свой дурацкий иронический тон и ее всегда распахнутые навстречу его взгляду глаза, ее готовность в любой час дня и ночи повидаться, ее милую смешливость, ее старательность, когда подолгу он толковал ей то, что занимало его и не могло быть интересно ей. «Милая, милая, самая милая рыжая Варюха! — думал он, наступая на сонных палубных пассажиров и не слыша ругательств, несшихся ему вслед.— Милая, а я дурак, хам, ничтожество».

К утру Володю свалил сон, потом он поел хлеба с вареной колбасой, запил теплой водой из палубного бака, хотел еще подумать о Варе,— но не успел: пароход, шлепая плицами и давая гудки, разворачивался возле пристани Черного Яра...

— Здравствуйте, Устименко! — сказал Володе еще более загоревший, чем тогда осенью, Богословский.— Не узнали?

Он был в ситцевой, застиранной, расстегнутой на груди косоворотке, в штанах из чертовой кожи, заправленных в сапоги, с кнутом в руке И эта рубашка, и сдвинутый на затылок картузик гораздо более шли к нему, чем суконный пиджак и тугой воротничок там, в комнате Постникова.

— А вы уезжаете? — спросил Володя, думая, что

Николай Евгеньевич пойдет сейчас к трапу, и даже уступая ему дорогу.

— Ни боже мой. Пришел вас встретить.

Их толкали сундуками, корзинами, мешками, но очень многие при этом здоровались с Богословским. Володя глядел на главврача с изумлением. Это же неслыханно — встречать студента-практиканта. Рассказать в институте — не поверят.

— В свое время,— словно отвечая на Володины мысли, заговорил Богословский,— приехал и я вот эдак же, но только уже с дипломом. Лошадей за мной не прислали, старичок из эсеров, приличный, впрочем, доктор, встретил меня — мордой об стол. А добираться надо было двое суток. Надолго, знаете ли, горькое чувство осталось...

Бойкая серая лошадка в яблоках тащила рессорную тележку наверх, от пристани в город. Богословский сидел рядом с Володей на удобном, с пружинами, сиденье, ловко держал вожжи, здоровался направо и налево:

— Почтение, Мария Владимировна, Акинфичу почтение, здорово, Петрунька, Лизавета Никаноровна, почтение!

Перекладывая тоненькую папироску языком из одного угла рта в другой, мужицким, дробным говорком рассказывал:

— Комнату вам подобрали с полным пансионом недорого, хозяйка славная — старушка, некто Дауне — латышка, садовница на удивление, я у нее многому полезному научился. Молоко будете получать от больницы. Молоко вам, горожанину, у истоков жизни находящемуся, непременно надо пить в изобилии, до отвращения. Оно у нас идет по себестоимости — литр двадцать девять копеек. Анна Семеновна, привет и наилучшие пожелания! Заметьте, коллега, собор во имя Петра и Павла, о нем особо. Работы вам предстоит до чрезвычайности много, поэтому на питание обратите ваш взгляд. Семен Трифоныч, здравствуйте. Подчиняться, коллега, будете исключительно мне, я певец единоначалия, бард его и величайший поклонник. Демократический централизм — великое дело...

Серый, в яблоках круп бойкой лошадки потемнел от пота, Богословский ловко кнутом подсек овода, заговорил про нонешний урожай. Володя пристально вгля-

делся в руки Николая Евгеньевича — уж не наваждение ли, разве бывают такие хирурги? Говорит гладко, бойко, взгляд необыкновенно лукавый, какое-то молоко по себестоимости, лошадью правит, словно потомственный кучер! Но руки, ах, какие руки: огромные, широкие, сильные, покрытые рыжими веснушками, бог мой, что только можно делать такими руками! И вновь, то ли читая Володины мысли, то ли перехватив его взгляд, удивительный доктор сказал:

— Я от природы к тому же левша, дорогой мой коллега. Если недостаток врожденный использовать целесообразно и разумно — результаты окажутся весьма плодотворными. И против Колчака помогала мне левая рука, и в хирургии. К сожалению, никому не могу передать свой опыт по этой части. Если есть у вас знакомый студент-левша, пришлите ко мне, я из него отличного хирурга изготовлю...

Ехали полями. В голубом горячем небе пели тонкими голосами жаворонки. Рубаха на плечах Богословского пропотела, в воздухе приятно тянуло конским потом, пыльной дорогой, кожей, дегтем.

— Вот и «аэроплан» наш виден,— сказал Богословский, щурясь и показывая кнутовищем — извечным кучерским жестом — вдаль.— Бывшее имение господ Войцеховских. В империалистическую эти русские патриоты ничего лучшего не могли придумать, как построить при своей усадьбе госпиталь для пленных офицеров-австрийцев. Австриец, барон архитектор, построил вот это дикое сооружение...

Володя, тараща глаза, смотрел вниз — в долину. Здесь, среди высоких берез и лип, глупо и нагло выглядело здание, построенное в виде аэроплана, с крыльями, с фюзеляжем, с хвостовым оперением. И ночь в кабинете Полунина, его рассказ о Богословском вдруг так ясно вспомнились Володе, словно все это было только вчера.

— Пьете? — неожиданно спросил Богословский.

— То есть как это? — мучительно краснея, ответил Володя.

— А так — водку. Вы ведь при нашем знакомстве изрядно наклюкались, чем произвели на меня отталкивающее впечатление.

— Это случилось со мной один только раз в жизни,—

сдавленным голосом сказал Володя.— Наверно, я не рассчитал или недостаточно закусывал.

— В психологию мы не будем вдаваться,— перебил Богословский.— Лучше вот глядите на наше хозяйство, отсюда с откоса все как на ладошке. Нам пришлось в свое время расхлебывать фантазии глупого барона...

Тпрукая лошади и умело сдерживая ее на крутизне, он кнутовищем показывал Володе расположение больничных служб, подсобное хозяйство, молочную ферму, огороды, поселок...

У околицы шумела стайка ребятишек, веселилась со щенком. Время было послеобеденное, сонное. Тут уже все редкие прохожие кланялись Богословскому. Остановив лошадь у белого, чистенького домика под железной крышей, Богословский отпустил на своем сером подпругу, открыл уютно скрипнувшую калитку и сказал кому-то в глубину садика:

— Вот, Берта Эрнестовна, прошу любить и жаловать. Владимир, а по отчеству...

— Да просто Володя.

— Нет, не просто,— строго и даже жестко сказал Богословский.— Вас будут звать все *только* по имени-отчеству. И если наша Мария Николаевна — старая хирургическая сестра — назовет вас Володей, вы поправите ее. Поняли?

— Понял.

— То-то! Итак, Владимир...

— Афанасьевич Устименко...

— Целиком, значит, Владимир Афанасьевич Устименко. Очень хорошо. А теперь пойдем, посмотрим, как вы устроены...

Старуха Дауне, несколько робея, пошла вперед, открыла одну дверь, другую, пропустила жильца в его комнату. Пахло свежевымытыми полами, печеным хлебом, в открытых низких окошках, на сквозняке красиво вздрагивали цветущие крупными розовыми чашечками необыкновенные вьюнки. И сразу же появился ярко начищенный, шумно фыркающий кривобокий самовар, булки с тмином, варенье в прозрачной вазочке — удивительное, из ревеня.

— Ну, как? — строго спросил Богословский.

— Великолепно! — ответил Володя.

— Деньги заплатите Берте Эрнестовне вперед за ме-

сяц,— так же строго продолжал Николай Евгеньевич.— И на молоко дадите — она вам будет приносить. Клопов и прочей живности здесь нет, ручаюсь. А теперь сядем и попьем чаю, я устал сегодня, оперировал и ночью не выспался — дважды вызывали в больницу.

Он сел, утер огромным, очень чистым платком лицо, шею, сам заварил своими ловкими руками чай, налил Володе послабее, себе очень крепко. Широкоскулое, лобастое, загорелое лицо его было задумчиво, сейчас оно казалось прекрасным — лицо русского мужика, редкостно здорового, и нравственно и физически, человека.

Володя тоже молчал, наслаждаясь тишиной, ветерком, вкусным чаем, присутствием Богословского, не без гордости размышлял: «Вот ведь — сидит со мной такое удивительное создание, сидит и не торопится. Значит, и я ему чем-то интересен?»

Фиоритуры

Выпив вторую чашку и еще утеревшись платком, Богословский заговорил, не глядя на Володю, довольно угрюмо:

— Должен вас предупредить, Владимир Афанасьевич, по поводу одной частности. Парень вы — смазливый, возраст у вас молодой. Насчет любви, влюбленности, вплоть до самых высоких материй и соответственных переживаний, приводящих со временем всех нас в отделы записей актов гражданского состояния, или как оно там называется,— дело ваше. Но если вы, коллега, задумаете у меня в больнице с персоналом затеять...

И тут, совершенно неожиданно, будничным, угрюмым и даже скучным голосом Богословский завернул такую сочную и выразительную фиоритуру, что Володя даже оглянулся — нет ли поблизости старушки Дауне.

— Так вот этого, вышеизложенного,— опять интеллигентно продолжал Николай Евгеньевич,— я никак не потерплю и, буде замечу, а замечу непременно, выгоню в то же мгновение и даже подводу до пристани не дам. В этом именно смысле утверждено за нашей больницей наименование «Богословско-аэропланный монастырь». Предупреждены?

— Предупрежден.

— Предупредил, простите, потому, что прецедент имел место. Теперь же перейдем к нашим делам.

Впоследствии, уже в зрелые годы, вспоминая двухчасовую эту беседу, Владимир Афанасьевич Устименко, человек не робкого десятка, покрывался тем, что в народе именуется «цыганским потом». Прихлебывая пятую чашку чаю, поглядывая на Володю цепким, ласково-въедливым взглядом, Богословский атаковывал его таким градом совершенно неожиданных вопросов, так прощупывал со всех сторон его знания, так вдруг разъяренно наступал, так заставлял сомневаться в правильности своих собственных ответов, так переспрашивал и при этом посмеивался, таким потоком своего «ну, а если, допустим, к данным симптомам присовокупить» засыпал бедного Володю, что тот к исходу второго часа даже побледнел и почувствовал ту тошноту, которую испытывают начинающие верхолазы и новички-пассажиры в авиации.

— Устали? — спросил Николай Евгеньевич.

— Подташнивает что-то,— сознался Володя.

— Это вы за нашей беседой целую плошку варенья уплели,— заметил Богословский.— Тут не менее фунта было. Запейте чайком... Прополощитесь...

«Как же, варенье! — со злобой подумал Володя.— Тоже еще, на варенье валить. Симпатичным прикидывался! Черт, а не мужик!»

И верно, что-то сатанинское почудилось ему в скуластом хирурге-левше, в том, как довольно он пофыркивал и как боком, по-петушиному поглядывал на Володю. Но маленький бой Устименко выиграл, это он чувствовал и понимал. Первый бой с Богословским, впрочем, был словесным, предстояло дело. И Володя даже головой покрутил в предвкушении тех испытаний, которые готовила ему судьба в лице главврача Черноярской больницы товарища Богословского Николая Евгеньевича.

А тот в это время, усевшись на подоконник, уже осведомлялся у Берты, чем она намерена кормить молодого *доктора* нынче в обед, и давал ей советы по поводу того, как заставлять *доктора* Владимира Афанасьевича, хорошего доктора, знающего *доктора,* хоть и молодого *доктора*, побольше поправить молоком свое надорванное занятиями здоровье...

«Доктор! — подумал Володя.— Это ведь обо мне — доктор! Я еще и не врач, а он меня уже доктором называет!»

И опять его обуял дух гордыни, ненадолго, впрочем, совсем ненадолго.

— До завтра,— как-то двусмысленно произнес Богословский,— к восьми явитесь, а там посмотрим!

Что означало это «посмотрим»?

— Благодарю за внимание! — сухо ответил Володя. Он тоже был хитрый, как муха, его тоже на мякине не проведешь. «Еще посмотрим,— говорил он себе, расхаживая по скрипящим половицам,— еще поглядим, чем я так уж вам негоден!»

Странное чувство он испытывал: и восторга перед этим человеком, и бешенства. Но восторга было куда больше.

«И вовсе не съел я целый фунт варенья! — опять рассердился Володя.— Тут и было-то всего-ничего». Он уже проголодался, больше не тошнило, только при мысли о завтрашнем дне делалось чуть-чуть страшновато. Но весело-страшновато. «Ладно, погодим! — думал Володя.— И ты, товарищ Богословский, не родился хирургом. И ты был как я!»

Чудовищно наевшись молочным супом, варениками с творогом и сметаной, отдельно сметаной и отдельно творогом с медом, *доктор* Устименко вышел в сад, положил для солидности рядом с собой Н. И. Пирогова том первый, покусал карандаш и принялся писать любовное письмо Варваре. По саду пробежал, свистя в свисток, маленький беленький мальчик, Берта страшно на него зашикала:

— Т-ш-ш, Цезарь, т-ш-ш, токтор рапотает!

Цезарь, который ввиду малолетства еще не носил штанов, испуганно покосился на Володю и убежал куда-то в смородиновые кусты, откуда долго еще доносился шелест и тоненькое покряхтывание. А Володя все писал, писал. Он и сам не думал, что так давно и сильно любил Варю. Впрочем, ему в его нынешнем восторженном состоянии все казалось несколько крупнее, необычнее, даже как-то грандиознее, чем было на самом деле. И этот сад, и стол, на котором он писал, и дочка или внучка Берты — высокая, сильная, плечистая латышка, и теплые сумерки, и что завтра ему надлежало явиться

в кабинет главврача — было необыкновенно, удивительно, первый раз в жизни...

— «Мы красная кавалерия и про нас...» — напевал Володя.

А карандаш его бежал по бумаге.

«Понимаешь, рыжая,— писал Володя, позабыв о том, что предыдущий абзац письма был совершенно посвящен любви,— понимаешь, может быть, он меня и прогонит отсюда завтра, этот мучитель, но я не уйду. Я должен поработать с ним и понять, в чем сила этого человека. Кроме того, знай, что, когда ко мне в будущем приедет молодой доктор...»

Подумав, Володя жирно замазал «молодой доктор» и написал «студент». «Когда ко мне после четвертого курса на практику приедет студент, я встречу его так, как встретили меня здесь...»

Поразительный вздор писал он весь вечер. И долго потом удивлялся, как Варя разобралась в этой сумятице чувств, мыслей, угроз, наглости и перепуга. Перед ужином доктор Устименко побежал к притоку Унчи — Янче, выкупался под ярким лунным светом, поплавал саженками, оделся, половил в траве какую-то неведомую зверюшку и солидно явился домой. Постель ему была уже приготовлена, в доме трещал сверчок, надо было сосредоточиться, «дать себе отчет», как говаривала Варвара, но Володя не успел — уснул, едва прикоснувшись к подушке, и проспал неподвижно до шести часов.

На обходе Богословский представил Володю персоналу больницы.

— Устименко, Владимир Афанасьевич, студент-практикант,— сказал он без всякого выражения в голосе.

Володя глупо поклонился, ужасно покраснел и спрятался в коридоре за шкафом. Обход продолжался два часа. Потом состоялся разговор с врачами. Устименко никак не мог понять, в чем суть дела, но одно понял навсегда: с Николаем Евгеньевичем шутки плохи. Никакие слезы и покаянные вопли черненькой хорошенькой врачихи ничему не помогли.

— Я вас выгоню,— четко и даже торжественно сказал Богословский,— причем характеристику дам самую скверную. Жаловаться можете кому угодно, известный *самодур* главврач Черноярской больницы, поповский сын, кулак и как там еще принято про меня писать в до-

носах,— ничего не испугается. Так и передайте. На этом мы и закончим. Владимир Афанасьевич, вы здесь?

— Здесь! — несколько сдавленным голосом ответил Володя.

— В операционную. Будете мне ассистировать.

В коридоре Богословский задержался. Уже начав мыть руки, Володя заметил возле умывальника седло, вроде велосипедного, повернул его коленкой к себе поближе и уселся.

— Ого! — сказала за его спиной сухощавая, похожая на великомученицу с иконы, операционная сестра Мария Николаевна.

Но Володя не придал этому «ого» никакого значения: он удобно сидел и, посвистывая, мылся, согласно всем правилам науки.

— Еще свищет! — сказал, входя, Николай Евгеньевич. И добавил: — Молоды вы, батенька, сидя мыться.— Вот, оказывается, к чему относилось ироническое «ого».

Володя вскочил, Богословский велел:

— Да уж домывайтесь, чего теперь...

И, нажимая педаль другого умывальника, стал педантично мыть свои, поросшие рыжим пухом, огромные ручищи. Володя скосил на него глаза: хмурясь, Николай Евгеньевич думал.

К двум часам пополудни операционный день закончился. У Володи дрожали коленки, от напряжения ломило в висках, рубашка прилипла к спине. А Богословский был совершенно свеж, словно и не начинал работать. И, размываясь, напевал:

Гори-гори, моя звезда,
Гори, звезда моя заветная,
Ты у меня одна приветная,
Другой не будет никогда...

Ни одного слова о том, как работал Володя, сказано не было. Может быть, этот врач, похожий на лешего, позабыл про Володю?

Аккуратно повесив полотенце, Богословский внезапно спросил:

— А знаете, кого мы с вами нынче оперировали?

— Это желудочно-кишечное соустье?

— Нет, прободение. Сидилев, бухгалтер бывший наш больничный. Все он, знаете ли, помогал Сутугину на меня доносы писать, четырнадцать доносов в самые различные места. Убрали наконец старикашку в Заречье,— и вот судьба. Супруга Сидилева совершенно убеждена, что я его нарочно зарежу, еще утром всем нашим официально объявила. А мне, перед тем как начали ему наркоз давать, ужасно, скажу по совести, неприятно было. Смотрит на меня старик — и вижу я по его взгляду: искренне думает, что наступил час кровавой моей мести. Ах ты, боже мой, пакость какая!

Богословского даже передернуло, и выражение горечи появилось на его лице.

— Зачем же он это все писал? — тихо спросил Володя.

— Да разве он один? — удивился Николай Евгеньевич.— По сравнению с другими — он еще дитя, ангелочек. Тут такие события происходили в свое время.

Миновали тамбур, еще коридорчик дугой — вышли, как показалось Володе, в хвостовое оперенье фантазии архитектора фон Штаубе. За круглыми, настежь открытыми окнами шелестели березы. Сиделка поднялась навстречу Богословскому, он коротко ей кивнул. Володя тоже спокойно кивнул, не ожидая позора, который уже готов был обрушиться на бедную его голову.

Николай Евгеньевич сел возле больного на крашеную эмалевой краской табуретку, взял жилистую, желтую, тяжело-беспомощную руку, посчитал пульс. История болезни лежала недалеко, на тумбочке. Устименко мог взглянуть в нее хоть краем глаза, и тогда все бы обернулось иначе, но врожденная порядочность помешала ему сделать это.

— Егоров! — окликнул Богословский.

— Нет, что вы,— сказала сиделка, —он, Николай Евгеньевич, как привезли — совсем плохой...

— Посмотрите, — велел Богословский Володе. — Обследуйте и подумайте.

Сиделка услужливо помогала Володе увидеть то, что он принял за карбункул. Все, в общем, было до обидного ясным. Ужели Богословскому стоило демонстрировать Устименке такой элементарный случай?

— Ну? — спросил погодя Богословский.

— Надо оперировать,— ответил Володя.

— Вы убеждены? Учтите, что Егоров работает в артели, изготовляющей валенки.

Ох, не следовало ему пропускать это замечание насчет валенок мимо ушей. Но горяча молодость, горяча и обидчива. «При чем здесь валенки? — скользнула мыслишка.— Шуточки шутите, доктор Богословский».

— Оперировать надо непременно,— сухо произнес Устименко.— Посмотрите сами, какой отек. И общие явления тяжелые. Локализация на шее, карбункул может привести к менингиту...

Все с большей и большей неприязнью смотрел на Володю своими чуть раскосыми, татарскими глазами Богословский.

— Ну-с? — спросил он.— Как будете оперировать?

— Крестообразный разрез, проникающий до здоровой ткани, отсепаровка краев кожных лоскутов, разумеется, удаление омертвевших тканей, вскрытие затека, широкое дренирование полости...

Сиделка вдруг скорбно вздохнула.

— И бактериологическое исследование отделяемого вам не кажется необходимым? — неприязненно-спокойным голосом сказал Богословский.— А? Ведь ошибочка может произойти непоправимая.

Больной слабо застонал, заметался.

— Возьмите историю болезни, *доктор* Устименко,— без всякого сарказма, но нажимая на слово «доктор», произнес Николай Евгеньевич.

И, обернувшись к сиделке, велел ей куда-то сбегать,— это Володя слышал уже как сквозь сон, но все-таки понял: щадит его Богословский.

Сибирская язва

«Пустула малигна — сибирская язва»,— вот что прочитал Володя. Пот бисеринками проступил на его лбу. И здесь, в истории болезни, заметил он подчеркнутые красным слова о валеночной артели в поселке Разгонье.

— Ну-с? — опять спросил Богословский.

Долго не мог решиться Володя посмотреть на Николая Евгеньевича, а когда посмотрел, то увидел лицо нисколько не торжествующее, а скорее даже грустное и подавленное.

— Надо, голубчик мой, повнимательнее быть,— словно очень издалека говорил Богословский.— Внимание ведь тоже энергии требует. Вошли мы сюда через тамбур, над которым привинчена доска с надписью: «Изолятор». Миновали еще два коридорчика, и вновь доска была: «Вход в изолятор». Кроме того, я вас предупредил, что Егоров работает на производстве валенок, то есть соприкасается с шерстью животных, могущей быть зараженной. А вы все-таки резать! Экие резаки проворные. Категорически противопоказаны разрезы...

— Теперь-то я...— произнес Володя.

— Категорически противопоказаны,— железным, более того, непререкаемо чугунным голосом повторил Николай Евгеньевич,— категорически противопоказаны,— в третий раз, грозя Володе пальцем, сказал он,— разрезы, зондирование, тампонада и прочее, так как травматизация первого очага вызывает всасывание чего?

— Всасывание бацилл, конечно,— облегченно добавил Устименко,— бацилл в кровь и обусловливает развитие тяжелого септического состояния...

Богословский усмехнулся:

— Паинька! Чем лечить надобно?

Володя назвал сыворотку, внутривенное вливание сальварсана. Богословский опять о чем-то думал — сосредоточенно и угрюмо.

Вернулась сиделка,— только сейчас Володя заметил, что уходила она и пришла обратно в другую дверь — значит, здесь был еще выход и еще тамбур. Так это и оказалось. Они оба тщательно помыли в тамбуре руки и здесь же оставили свои халаты.

— Сейчас получите от меня не слишком веселое поручение,— уже в саду, устало, со вздохом садясь на скамью, сказал Богословский.— Нынче суббота, завтра в Разгонье ярмарка. Надобно местность объявить неблагополучной, провести там все необходимые мероприятия, вместе с ветеринарным надзором осуществить дезинфекцию проклятого этого валеночного заведения. Очаг заразы надо, Владимир Афанасьевич, уничтожить. Дело ведь в том, что Егоров уже третий сибироязвенный больной оттуда. Два летальных случая мы уже имели, одну кишечную форму, другую легочную. С нашим эпидемиологом пришлось мне расстаться (Володя вспом-

шил утренний обход),— бабенка она ничтожная, безвольная, трусливая и склочная. Мне же самому не уехать — операции предстоят, и вообще не оставить нынче больницу. Вам надлежит — объявить карантин, на ярмарку наложить «вето», разобраться на месте в подробностях и избавить людей от сибироязвенной болезни. Пойдем, я вам напишу документы, памятку, фамилии людей, которые могут понадобиться, и кое-что еще...

Покуда Николай Евгеньевич писал, Володя довольно-таки лихорадочно копался в библиотеке, разместившейся рядом с кабинетом главного врача. В общем, все, что касалось профилактики, ему было известно. Еще раз — проверка сырья по Асколи, и он был совершенно готов.

Во дворе усатый санитар грузил в тележку баки со шлангами, бутыли, оплетенные соломой, зачем-то багор, два топора.

— На этого человека можете вполне положиться,— сказал Богословский, глядя в окно.— Я много лет с ним бок о бок проработал, знаю его и верю ему. Его советов — слушайтесь. Предупреждаю также: тамошний деятель Горшков — штука поганая, ядовитая, злобная и вороватая. Чего-то я еще не понимаю, но неспроста он крутит...

Не более как через час Устименко, голодный, усталый, злой и гордый, садился в тележку, запряженную той самой мышастой в яблоках лошадкой, которая привезла его давеча в Черный Яр. День был безветренный, знойный, выжидающе-предгрозовой. Санитар — дядя Петя, с пшеничными усами, с лицом старого солдата,— солидно перебрав вожжи, крикнул больничному привратнику:

— Ей, Фомочкин, распахивай врата!

Лошадка с места взяла ровной рысью. Володя зашуршал газетой. Мятежники вновь наступали на Бильбао. «Безнаказанный террор фашистской авиации, массовое истребление мирного населения,— читал Устименко.— «Юнкерсы» уже уничтожили священный город басков Гернику и теперь хотят сделать из Бильбао новую — большую Гернику».

Володя крепко сжал зубы.

«Где ты, отец? Жив ли? И как тебе трудно там, наверное? Из боя в бой, из полета в полет? Ведь не можешь

же ты сидеть в кафе, когда делается в мире такое?»

Дядя Петя — санитар — оказался человеком разговорчивым. Едва выехали за околицу, заговорил и останавливался только, чтобы закурить еще одну душистую самокрутку — с донником.

— Наш Николай Евгеньевич есть явление выдающее,— говорил дядя Петя таким голосом, словно Володя собирался ему возражать.— И мы, младший медперсонал, которые с ним сработавшись, единственно его выдающе оцениваем и ни-ни в обиду не дадим. Вы — доктор молодой, приехали-уехали, мы таких навидались и свое слово можем сказать при случайном случае, а он — наш. Медицина, конечно, еще не все может свободно решить, но то, что может, то Николай Евгеньевич всесторонне овладевши. Вы — доктор молодой, мы таких к пароходу отвозим, часто случается...

— При чем здесь моя молодость? — обиделся наконец Устименко.— А что к пароходу, так ведь я и не доктор, а студент, мне еще институт кончать надо.

— Дело ваше, мы не вмешиваемся,— тем же ровным голосом продолжал дядя Петя,— но мы видим: покрутился у Николая Евгеньевича, поучился, ему даже не поклонился — и тягу. Мы, младший медперсонал, видим. Молчим, конечно, нас не спрашивают, но видеть — нет, не запретишь! И когда партийное собрание бывает — мы свое слово говорим. Партийный?

— Комсомолец.

— Значит, беспартийный. Партийных тайн касаться не будем. Что говорим на закрытых собраниях, то говорим. И никому спросу нет.

Володя вздохнул. Ехали долго, дядя Петя говорил без умолку. Было нестерпимо жарко и душно. За овражками в мареве расплывались избы, на западе уже погромыхивало, оттуда ползла туча.

— Разгонье? — спросил Устименко.

— Оно! — ответил санитар, раскидывая по сторонам пшеничные усы.— Хлебнем с этим Матвеем горя.

— А кто там Матвей?

— Да Горшков же, председатель. Под ярмарку ныне небось с утра пьян.

Горшков действительно был в подпитии. Сидел на завалинке, учил лопоухую, в болячках собачонку:

— Иси, Тобик! Пиль! Сидеть здесь! Умри!

Взгляд у него был тяжелый, налитой. Рядом, за углом, на площади тюкали молотки, ставилась карусель. Вихрастый, с жирным затылком кооператор командовал возле шатра, к которому приколачивали вывеску: «Закуски, вина, иные изделия». Статный милиционер что-то выговаривал «частному сектору» — старушке с корзиной семечек.

Пузатая молодайка вынесла Горшкову снятого молока, он вынул оттуда длинными пальцами муху, подул, попил, воззрился на Володю:

— Ко мне?

— Если вы Горшков, то к вам,— испытывая неприязнь, как всегда к пьяным, произнес Володя.

— С промкомбинату?

— Нет. У вас в артели обнаружены три случая сибироязвенной болезни.

— Опять двадцать пять,— вздохнул Горшков.— Одну зануду господа-бога прогнал, другой приехал. Тобик, куси его!

Тобик понюхал Володин сапог и улегся.

— Ярмарки завтра не будет! — произнес Володя раздельно и твердо.— Надо расставить людей у околиц. Сейчас же мы начнем дезинфекцию вашей артели, то есть сырья, которое там находится. Кроме того...

— Не пройдет,— ответил Горшков.

— Как так не пройдет?

— А очень просто. Не пройдет, и вся недолга. У нас решение вынесено — мастерские, как очаг и распространитель, спалить. Уже и керосин подвезли, и стружку, и бочки с водой. Бабичев! — вдруг заорал он статному милиционеру.

Тот подошел, мягко ступая тонкими шевровыми сапожками.

— Решено палить?

— Решено,— вглядываясь в Володю масляничтыми глазами, ответил Бабичев.

— А они ярмарку запрещают.

Милиционер картинно засмеялся, показывая очень белые красивые зубы.

— Очаг заразы должен быть уничтожен в своем корне,— сказал он.— Поскольку трупы животных сжигаются, как можно не сжечь шерсть и продукцию, со-

держащую бактерии! Мы здесь не совсем безграмотные болвашки, мы осведомлены...

Он подмигнул Устименке и добавил по слогам:

— Кон-суль-ти-ро-вались.

— С кем?

— С кем надо.

— Слушай, Бабичев,— выйдя из-за Володиного плеча, круто заговорил дядя Петя.— Ты нам вола не верти. Я тебя знаю, и ты меня знаешь...

Они померялись взглядами, и Бабичев словно бы скис.

— С кем вы консультировались?

— Председатель беседовал,— кивнул Бабичев на Горшкова.— Я не беседовал.

Он слегка попятился в своих мягких сапожках.

— Погоди,— велел дядя Петя.— У вас ревизия состояния имущества в складах на данный период сделана? Акт составлен?

Володя, раскрыв рот, словно маленький, смотрел на Горшкова. Только теперь Устименко стал догадываться, в чем дело. Горшков облизал губы, приподнялся, снова сел, потом закричал:

— Да ты в уме, черт усатый? Как я могу туды людей допускать, когда там бактерии ваши так и скачут? Укусит ревизора бактерия, кто виноват? Обратно Горшков? Или вы туда пойдете, заразу споймаете,— чья ответственность? Моя? Я туды ни души живой не допущу. Все опечатано сургучом в присутствии товарища Бабичева печатью нашей правленческой. Муха не залетит, не то что человек.

Бабичев еще попятился — совсем к площади. Дядя Петя проводил его спокойным, туповатым даже взглядом, потом подмигнул Володе и произнес значительно:

— Ладно, мы люди маленькие, не нам решать. Я тут с тобой посижу в холодке, отдохну, а Владимир Афанасьевич съездит за инструкциями — как жечь. Жечь надо не просто, а по-научному, чтобы было не просто *сжигание,* а тем самым и *сквозная дезинфекция «нормалис».*

Научный лексикон дяди Пети совершенно покорил пьяного Горшкова. Бурым ртом он стал напевать что-то пронзительно-веселое, а дядя Петя тем временем шептал Володе:

— Тут дело пахнет Уголовным кодексом и юридическим процессом хищников. Вон она как медицина оборачивается. Я человек тертый, догадался и этим *нормалисом* хапугу добил...

В небе, за ракитами, за добротно выстроенным, совсем новым председателевым домом, ухнул гром. Стало нестерпимо душно, приближалась сухая, пыльная, опасная гроза.

— Садитесь в тележку,— шептал дядя Петя,— дуйте по Старому тракту через мост до самого военного лагеря. Как увидите по правую руку палатки и коновязи — стоп. Спросите военврача товарища Кудимова Егора Степановича. И с конниками — сюда. Иначе все свои амбары пустыми пожгут, ищи потом, куда сибирская язва от нас побежала. И товара на многие тысячи рублей — считай пропащим. И пускай бойца наладят за прокурором или за следователем, за милицией тоже, у нас в Яру конные есть — на страх врагам.

— Чтобы не пристукнули тут вас, дядя Петя! — шепотом предостерег Володя.

На площади для пробы завертелась карусель, Горшков, разевая пасть, орал:

Ох, не калина, не малина, ох,
Ох, ты друг сердечный, ох...

Молодайка вынесла водки, селедку на тарелке, редисок. Горшков позвал:

— Вались сюда, медицина, сделаем дезинфекцию нормалис, хватанем под молнию, загадаем желание...

Дядя Петя сел, раскинул прекрасные усы, большой рукой принял стопку водки. Володя, взглянув еще на него, неумело подобрал вожжи, доверительно сказал серой доброй лошадке:

— Но ты, как тебя! Давай поезжай!

Тележка затарахтела по площади, дядя Петя осведомился:

— Слышь, Матвей, а Бабичев где?

— По должности пошел.

— Ишь! — чокаясь с Горшковым своей стопкой, произнес дядя Петя.— Тоже у него должность. Потатчик.

— Это как же!

Семочкин любил острые разговоры и рискованные

положения. И сейчас он чувствовал себя, словно раскачивая качели:

— Как же? А так же, гражданин Горшков, Матвей Павлович. Дело известное — не тот вор, кто ворует, а кто ворам потакает.

Опять прямой стрелой вниз ударила где-то близ моста желтая молния. Горшков пригнулся, расплескал водку. Мышастая лошадка, которой неумело правил Володя, на мгновение раскорячилась, потом, прядая ушами, перешла в галоп. Устименко повалился, накрутил вожжи на руки, закричал в треске рушащихся молний:

— Тпр-ру, лошадь, т-ш-ш, сумасшедшая...

Хоть бы знать ее имя, этой серой в яблоках, как знают имена собак — Шарик, Бобик, Жучка!

Дальше все совершенно перепуталось: сонный Кудимов, разоспавшийся после обеда, непрерывные, звонко грохочущие молнии, команда длинная, протяжно-бодрая: «По ко-оням!», густая, желтым облаком пыль на тракте, идущие «рысь-рысью марш» кавалеристы, санитарная повозка, Кудимов в седле, на вороном иноходце, горбоносый, иссиня бритый командир эскадрона и возвращение к дяде Пете — уже пьяному, но совершенно благополучному. Опять молнии без дождя, тихие, духота, верховые милиционеры, бидоны с керосином возле запечатанных сургучом построек валеночной артели, орущие дядьки — шерстобиты и иных специальностей,— очень обиженные на все происходящее, лом, которым милиционер взламывал висячий, с печатью замок, угрозы Горшкова:

— И вы ответите! От-ве-ти-те! Дезинфекция!

И смеющийся Кудимов, его прищуренные глаза, хохот:

— Посмотрите, Устименко, совершенно же пустой склад. Все украли, подлецы, все увезли. Впрочем, тут еще какая-то дрянь разбросана — килограммов десять... А готовая продукция? Где валенки? По документам более четырех тысяч пар числится. Так, прокурор?

Готовой продукции не нашлось ни одной пары. Горшкова и Бабичева тут же взяли под стражу. Вместе с прокурором приехал оперативный уполномоченный — таинственный человек с большим пистолетом на боку. Нос у него был утиный, глаза, как показалось Володе, пронизывающие насквозь, лексикон вдруг напомнил Усти-

менке детские годы, когда читал он Конан-Дойля:

— Попрошу не портить мне отпечатки,— говорил оперативный уполномоченный.— Попрошу не нарушать движение сапог преступников...

Уже было совсем темно, все ходили с фонарями «Летучая мышь», было необыкновенно таинственно и жутковато, как в детстве. Володя говорил прокурору — тоже молодому человеку в кожаном картузе и в сером полупальто:

— Нам непременно и сейчас же нужно знать, куда делось сырье и готовые валенки. Споры сибироязвенной болезни чрезвычайно стойкие. Понимаете, товарищи, они погибают лишь после десятиминутного кипячения. Сухой жар при ста двадцати убивает споры только через один-два часа...

— Да пьян этот мерзавец, и не расколоть мне его сейчас! — отвечал прокурор.— Мертвецки пьян, сами видите...

Мужики кругом шумели, требовали председателя судить показательным процессом. Волоокий Бабичев плакал по-женски, утирал слезы маленьким платочком. Дядя Петя разговаривал с конниками, толковал им, что сибирская язва опасна не только животным, но и людям.

Уже к ночи Горшков очухался, понял, что арестован, и быстро, захлебываясь, стал сознаваться во всем. Товар увезли позавчерашней ночью два старых маклака из Зареченска. Увезли на полуторках. Деньги все еще в сохранности, товарищ прокурор может их взять для советской казны, они находятся в старом подойнике, под гвоздями. Прокурор сел за стол, утер потное лицо, принялся считать деньги — забандероленные банковские пачки.Пересчитанное он клал в картуз, путался, опять считал с начала. Бабичев крикнул из угла:

— У меня на квартире имеется две тысячи двести. За попустительство. Попрошу заметить, гражданин прокурор, добровольно сознался...

Все было невероятно интересно. Так как Кудимов уехал спать, то расстановкой карантинных дозорных командовал Володя. Очень вежливо он разъяснял каждому красноармейцу его задачу — ни в коем случае не допускать крестьян на ярмарку, здесь карантин, дело не шуточное. Красноармейцы подремывали в седлах, пламенные Володины речи были чуть-чуть слишком под-

робными и длинными. Но он этого не замечал. Он уже забыл слова, прочитанные так недавно в брошюре по поводу сибирской язвы: «не переоценивать эту болезнь». Ему казалось, что он по меньшей мере — на чуме.

На рассвете два милиционера повезли в Черный Яр арестованных и деньги, прокурор, оперуполномоченный, не имеющий своего транспорта, и дядя Петя сели в больничную тележку, эскортировали их шесть конников. Оперуполномоченный, найдя в Володе достойного слушателя, брехал ему всякие небылицы об ужасных преступлениях, будто бы им раскрытых. Это был малый дока, шутник и любитель позабавиться. Володины глаза под мохнатыми ресницами мерцали, такому интересно рассказывать, особенно когда хочется спать. Прокурор похрапывал, дядя Петя курил и вздыхал. В Зареченск должна была прибыть еще милиция.

— Как бы шухер не заварился! — сказал оперуполномоченный.

— А шухер — это пальба? — осторожно осведомился Устименко.

Сырье и валенки отыскали только на другой день к вечеру, и не в Зареченске, а на хуторе в Глинищах. Еще двое суток Володя и дядя Петя почти не спали. Они насквозь провоняли хлором, поссорились с зареченским ветеринарным врачом, потеряли неизвестно где казенный шланг и только во вторник вечером вернулись в Черноярскую больницу. Вымывшись в реке, переодевшись, расчесав пыльный колтун в волосах, Володя победителем отправился к Богословскому докладывать. Тот выслушал его внимательно, потом спросил:

— Ну, а в Разгонье склады эти и мастерскую вы что же? Так и бросили? Без всякой дезинфекции?

Устименко молчал: он просто забыл об этих пустых сараях. Совершенно, начисто забыл. Так увлекательна была погоня, так блистали молнии, так похрапывали в ночи кавалерийские лошади эскорта, так интересно было слушать прокурора, так важно было отыскать похищенные валенки и сырье...

— Что вы, в сущности еще мальчишка, забыли — это неудивительно, я на вас не слишком рассчитывал, но что опытнейший санитар Семочкин оказался раззявой — это черт знает что! — жестко произнес Николай Евгеньевич и велел сейчас же разбудить дядю Петю.

— Виноват во всем решительно я,— начал было Володя, но Богословский грубо перебил его:

— Помолчите.

Минут через сорок они опять поехали в Разгонье. Ночь была звездная, жаркая, тихая. Дядя Петя Семочкин зевал с воем, караковая кобылка бежала мерно, рессоры сонно поскрипывали. Володя молчал, боясь, что если заговорит, то дядя Петя его как следует отбреет. Но дядя Петя был, оказывается, настроен крайне миролюбиво.

— Говорил вам, Владимир Афанасьевич, явление — наш Николай Евгеньевич. На три аршина под землю видит. Зверский человек. Зато теперь вы не прошибетесь. И я, конечно, виноват. Выпил тогда лишнего с этим ворюгой, упустил свою специальную задачу...

Он еще раз зевнул, потом произнес задумчиво:

— Таким путем наше советское здравоохранение и борется с наследием проклятого царизма. Правильно Николай Евгеньевич разъясняет.

Глава девятая

„Коллега"

И опять никаких похвал не было. О нем и не вспомнили. Он сидел на своем обычном месте за желтым полированным шкафом, солнечные лучи били ему в лицо, а все, что произошло в эти дни — погоня и розыск, конники и герой-сыщик, пьяный Горшков и молнии,— все это оказалось пустяками, не стоящими никакого внимания. Володя, разумеется, обиделся, но что он мог поделать? Подняться и рассказать всем, как это было трудно и даже страшно? Рассказать, что он и дядя Петя Семочкин — молодцы? Нет, на это он не мог решиться. А погодя, захваченный спокойно-деловым ритмом больничной жизни, он уже и забыл о событиях в Разгонье.

С утра Богословский велел ему подготовить к операции некоего Романа Карповича Чухнина — из пятой палаты. Здоровенный Ромка, как звали этого парня другие больные, трусил и, скрывая от себя и от больничного персонала то, что он трус, мучил нянечек, сестру, соседей по палате, кроткую, с кудряшками на лбу докторшу Нину Сергеевну. Самое же противное заключалось в том, что Ромка Чухнин начитался медицинских популярных брошюр и нагло утверждал, будто здесь, в Черноярской больнице, все неучи и отставшие от «достижений современной медицины» безграмотные врачишки. Злой, мордатый, потливый, он похаживал по коридорам больницы, что-то везде вынюхивал, разузнавал, перевирал и с наслаждением рассказывал:

— Давеча старичка одного ночью, неслышно, сволокли в покойницкую. Ошибочный диагноз! Судить их всех, судить беспощадно, жулики, шпана, а не доктора. Девчонку тоже погубили — воздух попал по ошибке

в сердце. В третью кислородную подушку понесли — зачем? Доводят и там своего пациента...

Пищу он ругал, про сестру Сонечку рассказывал чудовищные пакости, соседям по палате толковал, что они выйдут отсюда только ногами вперед.

— У вас совершенно не используется лизатотерапия, это когда, я извиняюсь за выражение, при помощи мочи лечат,— сказал он изумленному Володе.— И вообще, товарищ санитар, или кто вы там есть,— у меня пониженное количество гемоглобина и эритроцитов, надо срочные меры принимать, а вы назначаете операцию.

— Вы — медик? — удивился Володя.

— Нормально — советский интеллигент,— с покровительственным смешком произнес Ромка.— Мы как-нибудь и в анамнезе разбираемся и еще кое-что соображаем.

Он смотрел на Володю нагло и презрительно. В палате пересмеивались. Пожилой мужчина, тяжко страдающий после сложного перелома бедра, покряхтывая, посоветовал:

— Гнали бы вы, товарищ, этого суслика отсюда коленкой под зад. Житья от него не стало. Наше терпенье тоже истощается — сделаем самосуд, как с конокрадом, некрасиво получится...

Ромка вздохнул:

— Вот обстановка. Приехал бы нарком советского здравоохранения, посмотрел бы, полюбовался.

И шепотом добавил:

— Симулянтов двадцать пять процентов в больнице, не меньше. Теперь насчет моего желудочно-кишечного тракта: не в порядке. Как хотите, а я на операцию несогласен.

Володя послал нянечку за Богословским. Покуда та искала Николая Евгеньевича, Ромка измывался над Володей: и над его очевидной молодостью, и над тем, что у него мохнатые ресницы, и над тем, как тот краснеет. Володя, делая вид, что все пропускает мимо ушей, мучился невыразимо.

— Вот что, Чухнин,— сказал Богословский, садясь возле Ромкиной кровати.— Вы к нам в больницу пришли сами с просьбой исправить вам ваше лицо, так как оно испорчено, по вашим словам, в секретном, но героическом деле. Секретного, я выяснил, ничего не было.

Была нормальная пьяная драка в престольный праздник...

Богословский говорил намеренно громко, вся палата слышала его слова.

— Участие ваше в драке тем более противно, что вы человек некоторым образом начитанный, бухгалтер, ходите в галстуке и шляпе и презрительно разговариваете с теми людьми, которые обходятся без шляпы и без галстука. Ввязались вы в драку исподтишка, и я, далеко не сторонник кулачных расправ, считаю, что возмездие свершилось в данном случае справедливо. Повредили вам ухо, и желание ваше исправить свою внешность — понятно. Что же касается до вашего поведения в больнице, то оно — отвратительно. Сегодня мы вас оперировать не будем, что же касается пятницы, то либо вас прооперируют, либо в тот же день выпишут. А если будете скандалить, то выпишем сегодня... Пойдемте, Владимир Афанасьевич!

В коридоре он сказал Володе:

— Дело наше, Владимир Афанасьевич, трудное и крайне неблагодарное. Я, находясь в преддверии труда, полагал, что нам — поелику мы, врачи, работаем в полную меру своих сил и способностей и, разумеется, честно,— в такую же полную меру сыплются добрые слова, сердечные рукопожатия и разные другие сентиментальности, от которых живется веселее. Однако же оно далеко все не так. Доносчик Сидилев, которого мы с вами вытащили из довольно неприятной истории, теперь, позабыв о своих опасениях того периода — помните, когда он предполагал, что я его зарежу,— сердится, что «очень много лишнего ему разрезано», как сегодня он выразился. А мадам его нынче кричала мне, что я «мог бы и лучше постараться для своего бывшего сотрудника». И все это приходится выслушивать потому, что не звать же, в самом-то деле, милицию. Вот тут в четвертой палате лежит некто Лядова Аза Аркадьевна, женщина интеллигентная, жена ответственного товарища. Мы ее, не хвалясь, вытащили из свирепого переплета. Разумеется, страдания она испытывает. Так что же вы думаете? Иначе, как палачами, садистами и даже мазохистами, меня и кротчайшую Нину Сергеевну не называет, в нянечек швыряется чашками, а муж ее, человек порядочный, хороший семьянин и любящий супруг, как принято

выражаться, смотрит на нас волком. И не только смотрит, но и слова говорит, которые опять же приходится выслушивать. Да что! Тут недавно на нашего добрейшего Виноградова с палкой одна любящая мамаша накинулась. Это я вам все в том смысле излагаю, чтобы вы, находясь на пороге начала вашего профессионального поприща, на слезы растроганных родственников, на пожатия руки и на букетики полевых цветов, собранные ручонками благодарных малюток, не надеялись. А особенно, ежели медицина бессильна. Тут уж будьте ко всему готовы. И вызовы в прокуратуру приемлите спокойно, не обижаясь. Сердце любящего родственника крайне бывает мстительно, и вы, случается, выполнивший более того, что в силах выполнить человек с его ограниченными знаниями,— делаетесь даже преступником, пусть не осужденным, но все-таки «на подозрении». Конечно, не легко оно все. Разумеется, бывает и иначе — личные благодарственные письма и даже в редакции газет — очень трогательно, симпатично, прямо-таки до слез. Но примечательно здесь, что благодарности мы получаем чаще всего тогда, когда нам повезло, или где сработала природа, потому что благодарный пациент наш — не врач и не понимает того, что известно нам. Вот Пров Яковлевич — мой добрый товарищ, а ваш учитель — частенько говаривает из Ганди такие слова, на мой взгляд совершенно справедливые: «Я знаю только одного тирана, и это — тихий голос совести»...

Он вздохнул, попил из тяжелого стакана газированной воды и, словно опять читая Володины мысли, произнес:

— Совесть, честь, порядочность мы напрасно, между прочим, игнорируем, предполагая, что оно не из нашей лексики. Оно наше, *только* наше, потому что в мире чистогана врач, случается, делает операцию не потому, что эта операция нужна, а потому, что больной богат и его можно «раздоить» на фунты стерлингов, на франки или на доллары. У них патентованные средства *за деньги* проповедуются именами ученых. Ими же и рекламируются. А мы работаем в мире чести, совести и порядочности, и с теми, кто этот «тихий голос совести» в себе заглушает, надобно бороться, как со всем нам враждебным, потому что, например, некто Жовтяк, именуемый в дальнейшем профессор...

Но тут Богословский взглянул на Володю, вспомнил, что Жовтяк все-таки Володин профессор, смешно смутился и замешкался, фыркнул и сказал:

— Ладно, пойдем, коллега, оперировать, у нас с вами нынче нелегкий день!

«Коллега!»

«У нас с вами»,— сказал этот человек, этот коренастый, плечистый, обожженный солнцем, прекрасный человек. И все время, покуда Богословский оперировал, а Володя то давал наркоз, то переливал кровь, то вводил физиологический раствор, то считал пульс,— все это время в ушах его звучала фраза, сказанная без всякой аффектации, глуховатым мужицким голосом: «У нас с вами». Он был признан, он был своим, он был хоть далеко не самым главным, но все-таки помощником, таким помощником, которому можно было сказать те горькие слова, которые, разумеется, говорят не каждому встречному-поперечному...

Часы в предоперационной пробили час, когда Николай Евгеньевич закурил тоненькую папиросу, держа ее пинцетом. Володя мыл руки, измученный, потный, задыхающийся от все еще непривычного запаха эфира. Старый доктор Виноградов рассуждал:

— Варикозные язвы голени — это просто божье наказание,— говорил он, ни к кому не обращаясь.— Помню я такой случай, Николай Евгеньевич...

В это время приоткрылась дверь, завхоз Рукавишников — мужчина энергичный и полнокровный, добродушный и невозмутимый — произнес:

— Так что, Николай Евгеньевич, косилку собрали, и Вахрамеев с Антошкой ее сейчас опробовать станут. Так сказать, испытание. Вон она, машина — красавица наша...

Косилка, выкрашенная в яркие цвета, ползала за больничной оградой. Володя ничего не понял в ее действиях, но Богословский сердито сказал:

— Непонятно, при чем тут Антошка! Он же вечно что-нибудь ломает. Велите Антошке от машины убраться...

Володе стало на мгновение смешно: он видел, что Николаю Евгеньевичу самому страстно хочется побежать к своей косилке, но он не мог, потому что предстояла еще одна — самая трудная и продолжительная — опе-

рация. Племенной жеребец в совхозе «Знамя труда» ударил копытом в живот конюха — пожилого человека Бобышева, которого только что привезли в больницу. Конюха этого Николай Евгеньевич знал и любил, как очень многих людей в округе — тружеников, делателей, имеющих жизненный опыт. И, сам болезненно морщась (как это ни странно, Богословский при немалом своем опыте совершенно не лишился сострадания), Николай Евгеньевич говорил:

— Боюсь, что имеются разрывы селезенки; заметьте, Владимир Афанасьевич: бледность усиливается, кровяное давление падает, похолодание кожи чувствуете? И тошнота, его все время тошнит... Что ж, начнем...

Изящно, сильно и красиво Богословский сделал чревосечение и стал ровным голосом говорить о том, как именно разорвана селезенка. Марья Николаевна быстро подавала инструменты, слышался только редкий металлический лязг бросаемых Николаем Евгеньевичем то ножниц, то пинцета, то зонда, то скальпеля, да тяжелое, с всхрапыванием, дыхание Бобышева.

— Пульс? — изредка спрашивал Богословский.

Устименко отвечал негромко, в тон всему тому, что заведено было в операционной Черноярской больницы. Посапывал тучный Виноградов. В предоперационной часы пробили два, потом половину третьего. В три часа тридцать две минуты Бобышева увезли. Николай Евгеньевич опустился на табуретку, посидел неподвижно несколько секунд, потом сказал:

— Неужели не вытащили старика?

В это мгновение он увидел косилку, которая шла на чугунную ограду больницы.

— Антошка! — заливаясь гневным румянцем, воскликнул Богословский.— Один Антошка! Ну черти, ну дьяволы, погубят мне машину, где я другую возьму?

Сердито сбрасывая на ходу халат и маску, бегом он бросился прочь из больницы, рванул калитку и, смешно размахивая руками, сильно разевая рот, стал кричать на вихрастого, бесстрашного и белобрысого Антошку. Из окна операционной Володе было видно, как Николай Евгеньевич сам сел на седло любезной его сердцу косилки, как она двинулась дальше и как рядом бежал Антошка, а вынырнувший откуда-то длинноногий

санитар Вахрамеев клятвенно прижимал руки к груди и яростно крестился.

— Господи, ну что это за человек, такой удивительный! — сказала Нина Сергеевна, тоже стоявшая у окна рядом с Володей.— Ведь он же почти в обмороке сейчас был! Вы заметили, Устименко?

— Юродивый, прости господи,— умиленно произнесла хирургическая сестра.— Если хотите знать секрет, то он полночи сам с Вахрамееевым эту косилку нынче собирал.

Минут через двадцать, когда Володя вышел из больницы, Богословский в сорочке и в помочах кричал Вахрамееву:

— Я говорил, что валик нужно было туже подтянуть? А ты что?

Белая шапочка, позабытая на бритой голове Николая Евгеньевича, была задорно и смешно сдвинута на ухо, во всех окнах больницы, и в саду, и в огороде улыбались пациенты Богословского, а он плечом наступал на длинного механика и беззлобно, с тоской спрашивал:

— Где же теперь маховичок взять? Где? Из твоего Антошки вырезать?

— А и вырежьте,— плача сказал Антошка,— вырежьте, если я виноват. Сами валик не туда поставили, а теперь на меня. Всегда Антошка виноват, несчастный я человек, хоть в петле вешайся...

— Я тебе повешусь! — зарычал Богословский.

Два сытых больничных мерина увезли косилку в ремонт, Николай Евгеньевич накинул старенький лицованный пиджак, пошел в канцелярию подписывать бумаги. Из окна маленькой палаты, куда перевезли после операции Бобышева, Володя видел, как Богословский поговорил с садовником Ефимом Марковичем, как погрозил пальцем больному Паушкину — сердечнику, жадно курящему огромную самокрутку, как, миновав двор, главврач вошел в левое крыло «аэроплана».

Здравствуй, милая жизнь!

У двери палаты тихо плакала дочка Бобышева — миловидная растерянная женщина. Было слышно, как тетя Клаша говорила:

— А ты надейся, девушка! У него рука легкая, животворящая. Он хотя и безбожник, но куда любому попу до него. Поп кадит, а он истинно служит. Думай, девушка, надейся!

«Служить, а не кадить,— вновь радостно и твердо определил для себя Володя.— Как это она верно сказала — тетя Клаша, как удивительно верно».

За дверью стихло, вошел Николай Евгеньевич, сказал поднявшемуся с места Володе: «Сидите», и сам сел на другую табуретку. Внимательные, чуть раскосые глаза его всматривались в белое лицо Бобышева, всматривались долго, пристально, спокойно.

— Прекрасного ума человек,— сказал он тихо,— своеобразного, насмешливого, характер чисто русский, приятнейшие часы я с ним проводил. И вообще надо вам знать, очень у нас много в районе отличных людей. Недавно в городе один мой сокурсник, сейчас доктор и профессор, автор ряда медицинских сочинений на общеизвестные темы, но солиднейший и непререкаемый и по внешности эффектный мужчина,— так вот он у меня осведомился: «Тоскуешь, наверное, Николай, и потихоньку пиво пьешь?» Поразительная штука: сколько лет Советской власти, сколько наворочено, какие мечты исполнились, а нормальный профессор все еще про нас с вами думает на основании когда-то прочитанной «Палаты № 6» Антона Чехова, что мы непременно тоскуем и пиво пьем. Ну, поехал я вечером к своему сокурснику, удостоился чести быть приглашенным на *суаре,* как он выразился (заметьте, что и такие слова подпольно, а существуют). И что же? Винтят.

— Как винтят? — не понял Володя.

— Ну, игра есть такая, винт, из умных. Играют страстно, увлеченно, совершенно поглощены своим занятием. И за весь вечер ни одного толкового слова, ни одной мысли. Ах ты, думаю, черт возьми, зачем же я сюда явился, чучело гороховое? Профессор, доктор, автор ряда работ. Недаром, знаете ли, говорится: «Все есть для его славы, только его самого не хватает для нашей». Да почему же он профессор? Нет, думаю, невозможно, ошибаюсь я, не разобрался толком. И заговорил с однокурсником своим о хирургической эндокринологии, так он, представляете себе, вот эдак, покровительственно, меня похлопал по плечу и сказал: «Мы

же отдыхаем нынче, а вот, если угодно, приезжай ко мне в клинику, там с моим ассистентом и побеседуете». Разумеется, ни в какую клинику я не поехал...

Николай Евгеньевич добродушно и тихонько посмеялся, потолковал в коридоре с бобышевской дочкой и ушел в амбулаторию.

Ночью Володя дежурил по больнице вместе с Ксенией Николаевной Богословской и вместе с ней принимал труднейшие роды. Тоненькая, стройная, с высоко уложенными под докторской шапочкой косами, с бледным румянцем и ласково-строгим взглядом, совсем молодая, почти студентка на вид, она, работая, непрестанно объясняла Володе, но так, что ему нисколько не казалось, будто с ним разговаривает опытный врач: просто сокурсница, товарка, больше знающая, чем он сам.

Роженица кричала густым, уже замученным голосом, в родилке было жарко, Ксения Николаевна советовала:

— Вы тужьтесь, милая, тужьтесь, рожать — это тяжелая работа, но зато потом славно вам будет увидеть дело труда вашего — дочку или сына...

Говорила она похоже на Николая Евгеньевича, и Володе тоже хотелось научиться так разговаривать:

— Родите вы сына...

— Дочку хочу,— рыдающим голосом сказала будущая мамаша,— мальчишки все хулиганы, соседский Мотька давеча в нашу корову из лука стрельнул...

Она опять закричала, Ксения Николаевна склонилась над ней, ласково утешая, уговаривая. Володя страдал от сочувствия, морщился, потом даже сам немного потужился — и вышла неловкость: старенькая акушерка заметила, усмехнулась:

— И вы тоже, Владимир Афанасьевич? Очень это забавно, все практиканты непременно для помощи сами тужатся. Чудаки вы народ — молодежь!

К рассвету акушерка взяла ребенка за ножки, хлопнула большой красной рукой по ягодицам, послушала крик, посетовала:

— Хулигана родила, будет из лука, а то еще из рогатки пулять.

Володя помогал Ксении Николаевне накладывать швы; клеенки, простыни, тазы — все было в крови, ро-

женица лежала неподвижно, щеки ее и лоб страшно заливала синева. Володя взял пульс — рука была в липком страдальческом поту.

— Давайте начнем переливание! — велела Ксения Николаевна.— Поднимите ампулу чуть выше. Вот так...

Они перелили пятьсот кубических сантиметров. На рассвете сестра принесла аппарат для введения физиологического раствора. Плохо соображая, Володя делал то, что приказывала Ксения Николаевна. «Смерть,— думал он,— смерть! Что же мы еще можем сделать? Почему мы не зовем всех докторов, почему не посылаем за Богословским?»

Позванивало стекло, спокойно распоряжалась тоненькая Ксения Николаевна,— неужели они ничего еще не понимали?

Но не понимал он. И когда совсем рассвело, Володя увидел, что щеки матери порозовели. В открытых глазах женщины еще стоял туман, она ничего толком не соображала, но это была не смерть, не конец, а жизнь, начало...

Где-то далеко, но пронзительно орали младенцы, уже наступил день, нянечки носили их кормить — пронумерованных мальчиков и девочек, скоро и эта мамаша вложит набухший молоком темный сосок в ротик своего первенца. И забудет, что хотела девочку, станет ласкать сына, петь над ним немудреную материнскую песенку и рассказывать другим, какой он у нее необыкновенно умный... Два чуда свершились на Володиных глазах нынче ночью: женщина, которая по всем канонам старого акушерства не могла родить и остаться при этом живой, родила и осталась живой, и ребенок, который по тем же канонам не мог родиться живым, был жив. И все это сделали люди, много людей, люди, которые не играли, наверное, в винт, не устраивали «суаре» и не выколачивали научные степени ради того, чтобы жирно есть, мягко спать и ходить веселыми ногами в часы величайших народных бедствий...

Сеченов, Губорев, Федоров, Кадьян, Дьяконов, Лондон, Богомолец, Спасокукоцкий — с трудом Володя представил себе их портреты сейчас. «Почему мы так мало знаем о них?» — с обидой и горечью подумал он. Ведь всю нынешнюю ночь они были тут, они участвовали в сражении, они победили смерть, самое смерть, а про них написано только в учебнике очень мало и очень

скучно. «Победители смерти!» — вот как нужно назвать главу про них и про таких, как они.

— Что вы там шепчете? — спросила Ксения Николаевна.— Шепчет и шепчет! Идите, поспите.

— До свидания! — сказал он.

— До свидания, Владимир Афанасьевич,— почему-то с улыбкой ответила она.

Сестра держала полотенце, Ксения Николаевна мыла руки. Володя все стоял.

Он не мог так уйти. Слишком длинной была эта ночь, очень многое понял он в эти часы, огромное чувство благодарности переполняло его.

— Было очень плохо? — спросил он, кивнув на родилку.

— Сложно.

— Очень сложно?

Ксения Николаевна слабо улыбнулась.

— Пожалуй, да.

— А теперь?

— Вы же сами видите...

Давно пора было ему уходить. Зачем он здесь торчал? Ведь ему уже сказали «до свидания!» Черт, дурак, зачем он не убирается...

— Пожалуйста, если я могу быть вам полезен, зовите меня,— угрюмо, стесняясь самого себя, попросил Володя.

Она кивнула. Ему хотелось поцеловать ее руку, такую, казалось, слабенькую, в голубых венках, такую тоненькую, такую прекрасную руку. Но он, разумеется, не посмел. И, пятясь, длиннорукий, длинноногий, в старых, разбитых сандалиях, пошел к двери. А на крыльце остановился и замер: в больничном саду уже разливались, пели птицы, уже просохла роса, но еще по-ночному крепко и сильно пахли цветы. И огромный, толстый, добродушно гудящий шмель ударился о Володину щеку и полетел дальше по своим шмелиным, неотложным делам.

«Жизнь! — чувствуя, что у него перехватывает горло, подумал Володя.— Милая, трудная, настоящая жизнь! Здравствуй! Видишь, я тебе помогаю, жизнь! Я еще очень мало умею, я еще пока только на посылках у тебя, но я буду, непременно буду таким, как они. И ты зауважаешь меня, милая жизнь!»

Он еще навестил Бобышева в это утро. Старик взглянул на молодого бледного доктора недоуменно и пожаловался на боли. Володя посчитал пульс, вздохнул. Боли! Какое смешное слово. Ведь ты жив, милый, старый Бобышев. Ты же жив и, по всей вероятности, долго еще будешь жить. А привезли тебя в больницу почти мертвым.

Но Бобышев не понимал ничего этого. И не удивительно: он ведь не знал, из-за какого порога вытащили его здешние доктора. Теперь ему было больно, и он сердился. И смешно было бы уговаривать его радоваться жизни.

Полдня Володя проспал. В доме старухи Дауне все ходили на цыпочках.

— Ты-ш-ш! — шипела старуха Дауне.— Т-шш-ш, проклятые шерти! Токтор спит. Кокта я фозьму скалку, то я фас фсех убью и токтор не путет фас лечить. Т-ш! Цезарь, прось сфою тутку!

«Дудку,— догадался сквозь дремоту Володя.— Цезарь играет на дудке. Вот оно что!»

В чем же счастье?

Покуда Володя поедал свой обильнейший завтрак, старуха принесла ему письмо от Вари. Чавкая, он начал читать, творожник застрял у него в горле, Володя выплюнул. Пров Яковлевич Полунин умер. Умер. Да как же это могло быть? Как? Нет, наверное тут какая-то ошибка, наверное однофамилец, и все сейчас разъяснится.

Не доев, в спадающей сандалии (он забыл застегнуть ремешок и шаркал подошвой) Володя побежал в больницу. На столе в канцелярии лежала газета «Унчанский рабочий». Институт имени Сеченова с прискорбием извещал о безвременной кончине профессора, доктора и выражал соболезнование семье покойного. И некролог с непохожим портретом в *черной* рамке был напечатан в газете. «Профессор Полунин П. Я., — читал Володя сквозь набегающие слезы,— являясь...»

Господи, как не похожи на Прова Яковлевича были эти скучные, дряблые, нудные строчки, каким он чиновником казался, судя по некрологу, что бы он сам сказал,

прочитав о себе этот напыщенный, серый, пошлый вздор! И зачем слова о «чуткости», о «теплоте», о «незабвенном образе», слова, которые всегда казались Прову Яковлевичу дамскими,— он так и говорил: «Пощадите меня от дамских сентиментальностей, с ругателями же своими я и сам справлюсь...»

— Умер,— прыгающими губами сказал Володя, встретив Николая Евгеньевича.— Полунин умер...

— Я знаю,— ответил Богословский,— сегодня прочитал в газете.

И, сжав большую руку в кулак, кривясь от горя и обиды, заговорил:

— Глупо, безмерно глупо! Как *он* смел, какое право имел вот так цинически откровенно неглижировать, буквально плевать на свое здоровье! Я говорил ему: Пров, перестань дурака валять, что ты с собой делаешь? Бесконечный табак, жирная пища, пироги, целые ночи за письменным столом, кофе, водка, чай... Да вы ведь не знаете, как он отпуск свой проводил. Поедет до самых Больших Порогов на Унче, купит там лодчонку и один спускается. Представляете? Один! Видел я как-то с берега, с камня Плакуна, поверите, мороз по коже продрал. Ну а потом костер, уха, табак и вечные размышления, поиски, напряжение ума, жесткость к самому себе, невероятнейшая требовательность, всегдашнее движение, ни единой секунды внутреннего покоя. Казалось бы, что человеку надо? Доктор, профессор, приглашают в столицу, так нет, посмеивается и баста: «Какой я профессор, я ворон, а не профессор! Каждый человек, братец мой, стоит на поверку ровно столько, сколько он действительно создал, минус его тщеславие. Профессор! А разве мало в истории науки людей, которые при жизни считались дилетантами и не могли получить профессуру, а после их смерти сотни профессоров живут тем, что распространяют, да еще бездарно, их мнения! Тоже скажешь — профессор!»

Богословский помолчал, задумчиво произнес:

— Лет шесть назад вздумали отметить его пятидесятилетие. Господи, великая сила, какой шум поднял. Так и замяли историю. «Это, говорит, пошло, сидеть в кресле и слушать про самого себя надгробные речи. Станут мои работы перечислять, а у меня три четверти вздора, что же — прикажете мне из своего юбилейного

кресла подняться и произнести речь о моих ошибках? И как у меня может ошибок не быть, когда вся медицина есть история человеческих ошибок?» Попробуй, потолкуй с эдаким человеком! Да еще повалил меня на ковер и спрашивает: «Жизни хочешь или смерти?» А теперь вот...

Они помолчали. Николай Евгеньевич мучительно крякнул, заговорил опять:

— Огромная, невозвратимая потеря. Он ведь был к тому же искренний во всем. Не только с друзьями, но и с самим собой. Крупная натура, все широко в нем было, все размашисто. А когда случалось мне говорить ему пошлый вздор о том, чтобы он берег себя, Полунин отвечал: «Мне, Коля, так интереснее». И вот в одночасье, сразу. Впрочем, о такой смерти он именно и мечтал. Чтобы сразу — без микстур, капель, порошков и консилиумов...

У Николая Евгеньевича дрогнул подбородок, тонким голосом он воскликнул:

— А может быть, и верно? Может быть, и правда интереснее вот так, как он? Правильнее для него? Есть натуры, которые не могут, не желают, не умеют, в конце концов, бережливо жить...

Он жадно закурил свою тоненькую дешевую папироску, затянулся глубоко, крепко сдавил руки — кулак о кулак — и спросил:

— Для чего живет человек?

Володя с печальным изумлением взглянул на Николая Евгеньевича: «Неужели этот *старик* (Володе в его возрасте Богословский, естественно, казался стариком), неужели этот доктор, с тем, что он уже сделал в жизни, и с тем, что он делает,— все-таки задает себе этот вопрос...»

— Для чего? — сердито осведомился Николай Евгеньевич.— Неужели вы об этом не думали?

— Думал...

— Короленко, кажется, сказал, что человек рожден для счастья,— продолжал Богословский,— для счастья, как птица для полета. Красиво, но неопределенно. Это самое счастье толкуют и будут толковать по-разному. Вот, например, Полунин и тот мой сокурсник, проживающий нынче благополучно в Москве, о котором я вам, кажется, рассказывал. Кто из них познал истинное

счастье? Всегда и во всем рискованный Пров Яковлевич или винтер Дмитрий Борисович? Отвергатель и разрушитель Полунин или сочинитель никому, кроме него самого, не нужных диссертаций Дмитрий Борисович? Где счастье — в винте или в лодчонке, которую крутят дикие наши пороги и которой управляет Полунин? В полунинском рискованном предположении или в пересказываниях ничему не вредящих, но и ничему не помогающих догм? В полунинском ощущении трагической беспомощности и в попытке восстания против этой беспомощности или в покорном признании беспомощности, да еще эдак, чтобы, сохрани бог, себя не утрудить лишними размышлениями? Но ведь говорит народ, и умно говорит: «Жив, да покойника не стоит». Разве это не глубоко верно? Сильные духом еще во времена древнего Рима утверждали, что нет большего несчастья, чем потерять смысл жизни ради существования. Как это понять? По всей вероятности, можно истинное и даже весьма глубокое счастье испытывать лежа, допустим, на горячем песке у моря и слушая пение, что ли, волн, так ведь? Но разве не совершенно такое же счастье испытывает задравший хвост теленок, знаете, когда он прыжками мечется по зеленому лугу? И то и другое есть счастье бытия, и в этом счастье пребывает множество так называемых людей, но тогда, позвольте, почему же они, люди — цари природы? Любовь мужчины и женщины на протяжении многих веков поэтически сравнивается с любовью голубей: воркующие голубки, целующиеся голуби и иные пошлости, возведенные в высший ранг. Но я не желаю думать о себе, как о голубе. Не говоря о том, что это пожилому мужику смешно, это еще и непомерно глупо. И голубиное счастье людям полунинской складки невыносимо. Если ты человек, то мало тебе физического ощущения блаженства на берегу моря, мало тебе голубиного покоя (да еще заметьте, голуби все попрошайки и приживалки, чем почему-то умиляют человека) — мало тебе всего этого, тебе непременно нужно движение вперед, борьба, проникновение в не познанные до тебя области знания, ощущение твоей необходимости не для тебя самого и не для твоих детей (этого мало обществу), а непременное ощущение делания, созидания, участия в общем созидании...

— То есть счастье в борьбе?

— В борьбе? — задумался на мгновение Николай Евгеньевич.— Что ж, конечно, разумеется, в борьбе. Если мы с вами рассуждаем о человеке в подлинном смысле этого слова, о человеке не только потребителе, а о человеке-движителе, то, разумеется, борьба и есть счастье... Впрочем, пойдем, пора оперировать...

Весь вечер Володя работал в амбулатории и в приемном покое, и, что бы он ни делал, одна мысль не покидала его: «А Полунина нет! Нет, и никогда не будет! Нет, умер, не засмеется своим зычным басом, не войдет в аудиторию размашистым, сильным шагом, не наморщит угрюмо свой большой, в веснушках лоб. Умер Пров Яковлевич».

— Еще удивительно,— заглянув в приемный покой, сказал Богословский,— еще удивительно в таких личностях, как Полунин,— это отсутствие в них честолюбия. Ему ничего не жалко, и нигде он не пишет и не расписывается, и свою метку не ставит: изготовил такой-то. Заметил симптом и не закричал: глядите все, это полунинский симптом. Ему наплевать, он широк, у него хозяйство огромное. Но после таких личностей что-то непременно в науке меняется, толчком, рывком,— это ведь крайне интересно, верно, Владимир Афанасьевич?

Только ночью Володя до конца прочитал Варино письмо и подивился в который раз на *свою* Варвару: как она всегда все понимала и как ни одного пустякового, лишнего слова, никакой болтовни и щебетанья не было в ее рассказе о похоронах Полунина, куда она пошла и положила «от Володи» букетик. «Потому что что же я еще могла сделать?» — спрашивала Варя. «Я, конечно, никакой ленты не привязывала к цветам,— писала Варя,— а только когда клала твой букет, то прошептала: это вам от Володи, от вашего ученика, от Устименки. Но, разумеется, тихо, никто ничего не слышал».

Работы с каждым днем прибавлялось. Володины постоянно широко и жадно распахнутые глаза, его готовность всегда действовать, та уважительная искренность, с которой он задавал и Виноградову, и Нине Сергеевне, и Ксении Николаевне вопросы, то желание быть не на виду, а скромно-полезным, та страсть к узнаванию и накоплению знаний, которые все замечали в практиканте Устименке, — все это вместе довольно скоро сделало Володю, в каком-то душевном человеческом

смысле — незаменимым. И даже суровая операционная сестра частенько звала Володю к себе, чтобы учить его той особой ловкости, с которой она справлялась в своем сложном и очень ответственном хозяйстве. Теоретически все то, чему учила его Марья Николаевна, он знал, но всегда радостно удивлялся быстроте, четкости и ловкости ее работы.

— Вот я заготовила набор,— звеня инструментами, говорила она,— опустила его в стерилизатор, а сама, заметьте, не теряя времени, иду к умывальнику и мою руку «для подачи на операцию». Следите внимательно, не пропускайте ничего; наступит пора, и вам самому придется дрессировать нашего брата, не морщитесь, именно — дрессировать, только так. Далее. Я надела стерильный халат, набор из стерилизатора вынут санитаркой, я покрыла его полотенцем, набор размещен по левой стороне инструментального стола... Следите внимательно, учитесь экономии времени, перед вами сестра высшего класса экстра, совершенно достойная такого хирурга, как Николай Евгеньевич...

Володя ходил непременно в прозекторскую на все вскрытия. С Ниной Сергеевной он ездил на вызовы в деревни Ополье и Большое Гриднево. Четыре раза ставил верные диагнозы — острый аппендицит, почечная колика, ветряная оспа и атерома. Двух больных он курировал и был на обходе похвален Виноградовым, на что Богословский сказал «гм». Ромке Чухнину он сам иссек рубцы возле уха, правда, под руководством Николая Евгеньевича, и теперь знаток медицины из пятой палаты разговаривал с Володей подхалимским голосом. Сделал Устименко и еще несколько малых операций, и в больнице его, несмотря на строжайшее запрещение Богословского, все-таки все называли «наш Володя», или Володичка, или доктор Володя. Держался Володя солидно, несмотря на смешливость, почти никогда не улыбался, разговаривал отрывисто, вдруг, совершенно, что называется, ни к селу ни к городу, говорил:

— Я очень попрошу вас...

А просить вовсе не следовало. Следовало коротко приказать. И оглядываться не следовало на того, кому отдано приказание. Но Володя оглядывался и даже извинялся.

Были конфузы. Однажды тетка, которую он лечил

в амбулатории от мастита, подстерегла его на лавочке возле выхода из больницы и, протягивая чистенькое новенькое лукошко, сказала:

— Вот тебе, Володичка, медку сотового. Покушай в свое удовольствие. Уж очень хорошо ты, спасибо тебе, деточка, вылечил меня. Здесь и огурчики еще махонькие, и помидорчики, и репочка сладкая. Покушай.

— Кто? — не понял Володя, держа в руке лукошко.

— Да ты, ты, Владимир Афанасьевич, тебе благодарность я принесла.

— Вы что, Антонова, с ума сошли? — багровея, спросил Устименко.

Тетка махнула на него рукой и быстро пошла к коновязи возле амбулатории. Володя постоял, потом, щелкая своими расстоптанными сандалями, погнался за Антоновой.

— Вы не смеете! — кричал он, подбегая к подводе.— Я не позволю, я вас привлеку...

И еще долго потом ему было стыдно своих собственных глупых воплей, угроз и стыдно вспоминать доброе, испуганное лицо Антоновой. В другой раз хитрый мужичонка с кривым ртом по кличке Козодой попросил у Володи по секрету шесть рублей.

— Для чего? — спросил Устименко.

— А какой ноне день? — осведомился Козодой.

— День — пятница.

— Какого святого, я спрашиваю тебя, товарищ дорогой, наш распрекрасный доктор?

Про святого Володя не знал, разговаривать ему было некогда, и деньги Козодой получил. К вечеру проклятый кладовщик с пристани оказался пьяным. Богословский произвел строгое расследование и виновным оказался Володя. Козодой поклялся, что для празднования именин он получил от доктора Устименки потребную сумму денег. Володе влетело.

— Ты уж прости,— сказал ему погодя Козодой — Пристал главный с ножом к горлу — кто да кто. Я, человек весь как на ладошке, уважил Николая Евгеньевича, открылся, на тебя показал...

В амбулатории, на обходах, в перевязочной Богословский учил Володю:

— Немец Бир выразился в свое время очень грубо, но правильно: «от частого оперирования глупеют». Надо

сначала подумать, как мне вылечить этого человека, а не какое оперативное вмешательство тут предложить. Операция должна быть *категорически необходима.*

В другой раз Богословский сказал:

— Послушайте, что это вы с больным будто бы советуетесь? Поймите, больной человек слаб, растерян, устал от страданий, ему нужно, чтобы им руководили, а вы какую-то палату лордов устраиваете.

Однажды, заметив, что Володю разморило от жары и духоты и что он сидит, развалившись на стуле, в амбулатории, Богословский вспылил:

— Заболели?

— Да жарища же...

— Жарища же? — багровея под загаром, гаркнул Богословский.— Идите домой, если так уж сварились. Врач должен быть не отварной говядиной, а энергичным, сильным *человеком,* которому приятно подчиняться. Вы обязаны быть нравственно богатырем, легендой, сказкой, а не овсяным киселем. Больной должен стараться выздороветь для своего хорошего доктора. Вы еще и своей личностью обязаны действовать, а не только ножом, или физиотерапией, или микстурами. Отправляйтесь домой и приходите человеком.

— Я не могу быть легендой! — угрюмо ответил Володя.— Я — Устименко.

— Искупайтесь в Унче и приходите обратно. Поняли?

— Понял! — совсем обиделся Володя.

На следующий день Богословский спросил:

— Вы Евангелие когда-нибудь читали?

— Нет! — надуваясь, ответил Володя.

— А я, будучи поповским сыном, естественно, читал. И про вас там есть.

— Про меня? — удивился Володя.

— В Евангелии от Луки сказано: «Горе вам, если все говорят вам приятное». Поняли? И еще запомните: мне оперировать самому куда проще и легче, чем стоять возле вас с корнцангом. На замечания же мои не обижайтесь, потому что не делать их тоже проще и легче, чем делать... Так пусть же вам будет стыдно за то, что вы давеча заявили, будто вы не легенда, а Устименко. Я хочу, чтобы вы стали впоследствии легендой.

Богословский ушел. Володя выпил два стакана целебной минеральной воды и подумал: «Никогда я еще

не был в таком дерьме, как нынче. Ну и ну! Этого и Варьке не расскажешь. Впрочем, насчет легенды — можно!»

По ночам Володя большей частью дежурил с Виноградовым. Старый доктор часов в двенадцать стлал себе в ординаторской на диване белье, принимал душ и, уютно кряхтя, ложился. Устименко же бродил по палатам, смотрел, чтобы не спали дежурные сестры, нянечки, чтобы больные не играли заполночь в коридоре в шахматы, чтобы не тревожили друг друга поздними разговорами. Раза два-три в ночь он непременно будил Виноградова:

— Савченко кашляет.

— Что? — спрашивал сердито Виноградов.

— Савченко в третьей кашляет. Его давеча оперировали, я боюсь, как бы...

Виноградов покорно одевался, зевая и кряхтя шел в третью палату. Савченко уже не кашлял, спал. Виноградов неподвижно останавливался в коридоре; сделав тревожное лицо, вслушивался.

— Что вы? — спрашивал сконфуженный Володя.

— Да вот, слушаю.

— Что, Константин Иванович?

— Не чихнул бы кто!

Володя криво и жалко улыбался.

— Если чихнет, вы меня разбудите,— говорил Виноградов, уходя.— Я тогда приду и скажу — будьте здоровы! Это ведь необходимо, не правда ли?

— Хе-хе! — неправдоподобно хихикал Володя, сам презирая себя за это дурацкое хихиканье. Но что он мог поделать со своей проклятой добросовестностью!

На четвертое дежурство Виноградов запретил Устименке его будить. Будить разрешалось только с согласия Ангелины Модестовны — пожилой, носатой и молчаливой сестры.

— Я человек сырой, мне, батенька, поспать первое дело,— сказал Виноградов.— Простите, конечно, но я нынче посчитал — одиннадцать раз вы разбудили меня совершенно напрасно...

— Ну, а если бы...— начал Володя...

— Идите к черту! — ласково посоветовал Виноградов.— Мне скоро шестьдесят годов стукнет, понятно вам это обстоятельство?

И он стал уютно устраиваться на ночлег, посмеиваясь и что-то бурча про себя — эдакий потертый, умный медведь. Потом, улегшись, вкусно, длинно зевнул и сказал:

— Вот я знаю, что вы сейчас думаете: осуждаете, пожалуй, меня. А я вам, юноша, посоветую — не надо. Мы, старые врачи, недурной народ, честный в основном, порядочный и много повидавший. Много, ох, много...

Володя молча слушал.

— В годы царизма, которых вы, к счастью, не испытали, неизмеримо тяжко жилось каждому из нас, особенно если был ты молодым человеком с идеями и мыслями. Модных практиков с собственным выездом и жаждой приобретательства я, разумеется, из этого сословия исключаю. Я, батенька, к революции уже более десяти лет в земстве прослужил, и хорошо узнал, почем фунт лиха. Небось вы вот нынче на меня смотрите и думаете — эгоист Константин Иванович, о себе беспокоится, себя бережет. Что ж, и берегу, когда старость на дворе. Хочется еще пожить, травку-муравку ножками потоптать, хочется пожить, как живу сейчас,— уважают меня, считаются со мной, я в нашем крае далеко не последний человек, да, с другой стороны, и есть за что! Поработал, хлеб свой не даром ем, и всем широко это известно. А ведь раньше, дорогой мой юноша, служба наша далеко не была безопасна. Шестьдесят семь процентов среди скончавшихся земских врачей умирало от заразных болезней. Шестьдесят семь! Хороша цифра? И мы, зная, на что идем, ехали в деревню, в глушь, и работали, себя совершенно не щадя. И в глушь такую, какой нынче не отыщешь, нету ее больше, извели. А каково работать было? Профессор Сикорский подсчитал, что более десяти процентов смертей всех земских врачей приходится на самоубийство. Больше десяти процентов. Что же получалось? Из ста умерших шестьдесят семь умирали, заразившись от больных, а десять кончали с собой. Вот-с вам картина русской жизни. Утомительная, мягко выражаясь. Так что уходился я, милый юноша, вот и хочется, когда есть возможность, поспать. Не судите!

— Я и не сужу.

— Врете, судите! Да и дело ваше такое, молодое,— всех судить и осуждать. Но мы не таковские — старики. Мы свою жизнь прожили так, что особо перед вами ка-

яться не в чем. Понятно, сударь-сударик? Шествуйте же с миром!

Володя тихонько вышел из ординаторской, поднялся по винтовой лестнице, сел на скамеечку в солярии на плоской крыше «аэроплана». В далеком, бесконечно далеком, совершенно черном небе тревожным теплым светом переливались звезды. Может быть, их видел и отец в Испании, и Варя в городе, и тетка Аглая где-нибудь в деревенском Доме крестьянина, и Ганичев, и Пыч, и Родион Мефодиевич с мостика своего корабля...

Крепко сжав руками колено, он закинул голову и долго просидел так один, в тишине летней ночи. Сердце его билось ровно и спокойно, голова была необыкновенно ясной, мысли четкими, строгими и счастливыми. «Люди — прекрасный народ,— думал Володя,— прекраснейший. Это ничего, что Женька Степанов скотина. И наплевать на Додика и Валентину Андреевну. Народ состоит не из них. Народ — другой. Народ — это Бобышев и Виноградов, Богословский и его жена, дядя Петя и храбрый сыщик, отец и Варя, Ганичев и покойный Полунин. Очень важно быть необходимым, нужным, таким, без которого людям, хорошим людям, не обойтись. А все остальное — пустяки!»

Отсюда, сверху, он услышал звонок в ворота,— это привезли больного в приемный покой. Наверное, срочная операция. Зажегся свет в ординаторской — значит, Ангелина Модестовна разбудила Виноградова. И тотчас же осветились большие квадратные окна операционной.

— Трудное дело! — сказал Виноградов, моя руки.

И, несмотря на всю безнадежность положения, Константин Иванович все-таки начал бой. Чего только они не делали на протяжении этих двух часов! На Виноградове от пота промок халат, Ангелина Модестовна дважды стерилизовала инструменты. Володя тоже взмок от пота под своей маской. Но они ничем не могли помочь. Они еще только удержали его немного у черты, но смерть победила. Он умер на операционном столе — этот красивый человек, с высоким, чистым лбом, с мощным, медленно белеющим торсом, с сильным, крепко сжатым ртом, с мускулистыми руками.

— Все? — спросил Виноградов.

— Все,— сказал Володя и положил холодеющую руку покойника рядом с его торсом, на стол, как вещь.

Константин Иванович стащил со рта маску.

— Куда, к черту,— сказал Константин Иванович, все еще задыхаясь.— Четыре пули всадить, и в такие области. Но могучий человечище был...

Он с сожалением взглянул в неподвижное лицо и пошел к двери. Соня накапала ему валерьянки с ландышем. Виноградов выпил капли, словно водку, крякнул и рассердился:

— Что происходит? Стреляют в здорового молодого человека, а? Ему бы еще лет пятьдесят жить да поживать...

— Как это все произошло? — спросил Володя погодя, уже в ординаторской.

— Она не любила своего мужа, а любила этого человека,— сказал Константин Иванович.— Муж же любил свою жену и убил своего соперника...

Виноградов вздохнул и широко раскрыл створки окна. Чей-то сдавленный стон донесся до Володи.

— Это она,— сказал Виноградов.— Пойдите, Владимир Афанасьевич, помогите. Ей плохо.

Володя подошел к скамейке. Тут уже что-то делали Ангелина Модестовна и Соня.

— Боже мой, боже мой,— услышал Володя низкий, рвущий душу голос.— Боже мой, боже мой, за что? Нет, за что? Пустите меня, сейчас же пустите...

— Пустите! — велел Володя.

И сам помог женщине дойти до той палаты, куда положили мертвого. У порога она опустилась на колени и поползла к нему, к своему любимому человеку, протягивая руки и шепча:

— Прости, прости, прости, прости, прости...

Потом тихо, шепотом позвала:

— Игорь!

И еще тише:

— Игорь!

Все лицо ее мелко дрожало, когда она взглянула на Володю.

— И ничего? Ничего нельзя сделать?

Он молчал. Лицо мертвого было теперь совсем белым. И только ночной ветерок едва шевелил его, словно живые, русые волосы.

— Вы его зарезали здесь, подлецы! — сказала женщина.— Я везла его живым. Вы его убили, сволочи! Что,

свиненок, мальчишка, учился на нем? Да? Учился на беззащитном человеке? Говори!

— Как вам не стыдно! — сказал Володя.— Как вы можете...

Ангелина Модестовна, Соня и санитар Нефедов закрыли Володю от нее. Иначе бы она, наверное, исцарапала ему лицо.

— Уходите,— велела Соня.— Уходите, Владимир Афанасьевич. Нечего вам с ней толковать...

И он ушел, раздавленный, измученный, несчастный. Приоткрыл дверь в ординаторскую, услышал ровное дыхание Виноградова и отправился в больничный сад. Но и там было слышно, как кричала эта женщина:

— Убийцы! Проклятые убийцы! Это всё вы, вы, вы!

И во сне Володя видел ее лицо — искаженное, ненавидящее, с пеной на губах. За что именно докторов так возненавидела она? Разве могли они спасти мертвого? Разве могли они совершить чудо?

На следующий день он уезжал. Богословский написал ему письмо для института, запечатал сургучными печатями и проводил своего практиканта на пристань. Было сыро, накрапывал дождь, низкие грязно-серые тучи ползли над куполами собора во имя Петра и Павла. Как в день Володиного приезда сюда, Николай Евгеньевич все время здоровался, щурил свои умные, татарские глаза и говорил:

— А вы не придавайте значения. Не так давно в газете «Известия» прочитал я о том, что в Рыбинске был не просто изруган, а искалечен доктор Никольский. В Иваново-Вознесенске Феоктистов облил азотной кислотой врача Вихмана. Врач Нарцисова едва не была убита. Здравствуйте, Сергей Семенович. В Калуге три морфиниста учинили разбой в больнице. Здравствуйте, здравствуйте, Алексей Петрович. Но поймите, Владимир Афанасьевич, что этих происшествий у нас теперь во много раз меньше, чем до революции. В восемь раз меньше. Понимаете? А минуют еще годы, и это все совершенно, навсегда забудется, исчезнет, как дурной, грязный сон.

Он пожал руку Володе и ушел к своей тележке — сутуловатый, в старом плаще, в картузике с пуговкой. Но потом вдруг вернулся, помолчал, поглядел на Устименку петушиным взглядом и спросил:

— Послушайте, Владимир Афанасьевич, может случится, что отбуду я отсюда в чрезвычайно дальние места. Случится оно не нынче и не завтра. Поедете?

— А как же Черный Яр?

— Он на месте останется,— со смешком ответил Богословский.— Но тут, скажу вам по совести, дальше шагать некуда. А я люблю бодаться, стену прошибать, крушить, все чтобы с самого начала начиналось. Так поедете?

— Поеду! — решительно и твердо, благодарно и радостно сказал Володя.— И вообще, простите меня и спасибо вам.

— Только пока — все секрет! — произнес Богословский.— А дело интересное, ох, интересное! Натерпимся лиха, господи твоя воля!

Теперь он ушел совсем. И было приятно смотреть, как ловко, молодо и бодро он подобрал вожжи, тронул серого кнутом и, не оглядываясь, поглощенный, как всегда, своими мыслями, укатил в больницу.

«До свидания, дорогой человек! — подумал Володя, грустно глядя вслед давно скрывшейся из виду тележке.— До свидания, хороший человек! Спасибо вам всем за все! И за последние слова тоже. Наверное, я не совсем ерунда, если он меня позвал на какое-то трудное дело. А это очень важно для себя — знать от других, что ты не чепуховый человечишка!»

Глава десятая

Додик и его супруга

Всего полтора месяца миновало, а он так изменился, что Варя не сразу крикнула «Ой, Володя!», когда Устименко уже стоял перед ней — высокий, раздавшийся в плечах, поросший темной щетиной мужчина в мятом парусиновом плаще, в жестких сапогах, простоволосый.

— Ой, Володя! — сказала Варвара счастливо и удивленно.

Дождь все еще моросил, осень началась ранняя, мозглая. Лицо у Вари было в росинках, мохнатые ресницы Володи, плащ, простоволосая голова — все было мокро. И, боже, какой он стал огромный — этот Володька.

— Книги намокли, черт! — сказал Володя.

— Здравствуй же! — произнесла Варя, отпихивая в сторону связку книг. Эта связка мешала ей взять Володю за плечи, притянуть к себе и поцеловать. Но она всегда все делала по-своему и поцеловала Володю.

— От тебя больницей пахнет! — сказала Варя.— Судя по твоим письмам, ты теперь совсем доктор, да? Не улыбайся так покровительственно, отвечай...

— Что же отвечать? — спросил Володя.— Я нормальный полузнайка, вот и все. Во всяком случае, лечиться у меня не советую.

— А Евгений вернулся очень важный...

Они пешком поднимались по пологому спуску к речной пристани. Дождь все моросил, мутные ручейки текли вдоль дороги. Варя говорила без передышки, Володя взглянул на нее и удивился, раньше она не была такой болтливой. Может быть, что-нибудь случилось?

— Писем оттуда давно не было? — спросил Володя.

— Оттуда? Нет! — сказала она.— Совсем не было,

давно не было. Вчерашнюю газету ты читал? Как они форсировали Эбро,— это замечательная бригада. Батарея имени Тельмана...

— Что ты так стрекочешь? — спросил Володя.

Она шла отвернувшись от него. Он крепко взял ее за плечо и повернул к себе. Конечно, она ревела.

— Его ранили? — спросил Володя.

— Нет,— твердо сказала Варя.— Твоего папу не ранили, а мой жив.

Он не обратил внимания на эту странную фразу.

— Значит, и реветь нечего! — сказал Володя.— Распустилась ты без меня, вот что...

— Да,— подтвердила Варя.— Нервы развинтились...

— Какие у тебя нервы, девчонка! Даже слушать смешно...

Они пошли пока к Степановым, тетка Аглая должна была только завтра приехать из Тишинского района. Евгений кейфовал на диване, он тоже вернулся с практики. Но настроение у него было подавленное.

— Горю синим огнем! — сказал он, когда Варя вышла.— И посоветоваться не с кем. Просто идиотская история. Понимаешь, она мне, конечно, нравится и как товарищ, и как женщина, но брак дело такое — трэба помозговать. А тут папаша — декан, трепанет языком, и пропал я, мальчишечка...

Володя слушал хмуро.

— В таких делах я не советчик,— сказал он после паузы.— А вообще-то ты, конечно, пакостник.

— А ты — святой! Вот погоди — наставит тебе рога моя сестрица с твоей святостью, тогда попрыгаешь. Физиология есть физиология...

Володя хотел было рассердиться, но не смог. «Это как с блондинами и брюнетами,— подумал он.— Не виноват же человек, что он брюнет. Так и Женька,— с ним ничего нельзя поделать, с этим оголтелым, тупым эгоизмом, с этой пошлостью, с жизненными истинами, в которые он раз навсегда поверил».

На круглом столике, так, чтобы всем приходящим было видно, лежали отзывы о деятельности т. Степанова Е. Р. как лектора. Володя перелистывал справки разной величины — все с печатями, некоторые на листках, вырванных из ученических тетрадок, другие на каких-то

исписанных с другой стороны бланках, третьи из блокнота. Женины лекции очень хвалили — он читал и о профилактике рака, и о личной гигиене, и об анаэробной инфекции, и о борьбе с рожистым воспалением, и о закаливании детей.

«Оптимистические перспективы, даваемые т. лектором...»,— прочитал Володя в одном из отзывов.

— В общем, каждый день по лекции? — спросил Володя.

— А что ты думаешь, и по две бывало. Советский народ, знаешь, как жаждет научного слова?.. Вымотался я, дорогой мой, как собака.

— Что же ты делал в больнице?

— Ого! — неопределенно произнес Евгений.— И учти еще — занятия с младшим медицинским персоналом, беседы с больными в палатах, другие общественные мероприятия...

— Значит, вроде затейника у них практику отработал!

Удивительно, как Евгений умел не обижаться и все неприятное пропускать мимо ушей!

— Мальчик, мальчик,— сказал он только,— не знаешь ты, свет очей моих, что такое жизнь.

Со двора, весело стуча лапами, прибежал разжиревший на Вариных харчах Шарик; шерсть у него теперь лоснилась, глаза влажно поблескивали.

— Эрнс! — сказала Варя.— Тубо! Умри, Эрнс!

Бывший трехцветный Шарик «умер», потом принес Варину туфлю, потом «дал голос». «Совсем еще девчонка!» — думал Володя, глядя снисходительно стариковским взглядом на Варвару.

— У-у, мое счастье! — сказала Варя Шарику.— Я тебя съем сейчас! — И действительно укусила Эрнса за ухо.

— Сумасшедший дом! — пожаловался Евгений.

Прохаживаясь по комнате и шаркая туфлями, он хвалил профессора Жовтяка. По его словам выходило, что Геннадий Тарасович «добрый старик», «симпатичный старик», «знающий старик», «наш старик». Выходило также, что Володя виноват в нездоровом отношении курса к Жовтяку. Надо уважать возраст, жизненный путь, доброе и отзывчивое сердце старикана.

— Ты когда же с ним так сблизился? — спросил Володя.

— А он на даче в Займище жил,— ответил Евгений.— Мы с ним и на рыбалку ездили, и вообще как-то сошлись.

— Валяй, валяй! — усмехнулся Володя.— Вы друг другу подходите.

— Глупо!

— Почему же глупо? Вот поглядишь — он тебя выдвигать начнет. Ираидиному папаше неудобно, а Геннадий Тарасович должен на кого-то опираться. Еще Мишку Шервуда потяните за собой, он ведь не чета тебе — умный...

Женька смешно, по-заячьи, повертел носом и со своей подкупающей искренностью согласился:

— А что? Идея, между прочим! Шервуд — парень способный, даже талантливый, на него Тарасыч вполне может опереться...

Пришел с базара дед Мефодий, стал длинно рассказывать про цены и про то, что хоть тресни — нету телячьей печенки. Моркови — хоть завались, а на кой она дьявол?

— Зайцы мы, что ли,— сердился дед Мефодий.— Вон, полная кошелка, а печеночки ни в одном ларьке, ни на одном возу.

— Дорогой дедушка,— сказал Евгений,— а вот, будучи до революции крестьянином, ты часто кушал мясо? Небось на рождество да на пасху...

Дед смешался.

— То-то,— наставительно произнес Женя.— У нас, разумеется, есть недоработки, особенно в части торговли, но хаять все подчистую — не пройдет... Базарные разговоры — обывательщина, мещанство...

— Так я-то для вас печенку хотел, — сказал Мефодий. — Не для себя. Мне что. Вот Варвара печенку завсегда хорошо кушает...

— Оставь деда в покое, — сказала Варя. — Что к нему прицепился?

И пожаловалась Володе:

— Вернулся вчера, и все время всех учит.

Она села рядом с Володей, взяла за руку, заглянула в глаза.

— Понимаешь, — сказала Варя, — сегодня день рождения маминого Додика. Это глупо, но будет обида, если

мы не придем. Заранее предупреждены, и так далее и прочее. Ты должен пойти с нами.

— Да, да, — согласился Евгений добродушно. — Давай отмучаемся вместе. Харчи там всегда так себе, скукота, разумеется, но муттер есть муттер, никуда от этого не денешься. Вымойся, переоденься и дунем. Все-таки мы молодежь, цветы жизни, надо украсить собой их мещанское общество...

— Чемодан твой в коридоре, у ванной, — сказала Варя.

Женька плотно притворил за Володей дверь.

— Ты ничего ему не скажешь?

— Нет, я не могу.

— Может быть, мне?

— Не суйся. Никто этого не сможет сказать, кроме папы.

— Но если ты все время станешь реветь...

— А уж это не твоего ума дело!

Евгений пожал плечами.

— Во всяком случае, его нужно держать побольше здесь, — посоветовал он. — На людях всегда легче. Ну, а самый факт, что ж, погибнуть в бою с фашизмом, да еще так, как Афанасий Петрович...

— Замолчи!

Из чемодана Володя достал смену белья, выстиранную и заштопанную еще старухой Дауне, вынул пакет с сургучными печатями, носки, галстук, который так и не привелось повязать ему за все время своей практики, серую «смерть прачкам» рубашку. И с тоской взглянул на стопочку книг, перевязанных бечевкой. Ни строчки не прочитал он в Черном Яре.

Женька вышел в коридор, увидел пакет, присвистнул:

— Ого! Воображаю, что тут написано. Давай осторожненько вскроем, потом объяснишь, что печати сломались сами. Прочтем, интересно же!

— Положи на место! — велел Володя.

— Здорово ты все-таки провонялся больницей, — сказал Евгений. — И ни одной вещички не приобрел! А я, между прочим, схватил себе в тамошнем сельмаге великолепный отрезик на костюм из-под прилавка. Провернул мероприятие — лекцию, конечно, бесплатную, тема: «Гигиена брака», подал под острым соусом — и все

в полном порядочке. Пятый курс, надо иметь вид...

Володя терпеливо промолчал: он решил больше не вязаться с Евгением. Все равно словно об стенку горохом...

В ванной Володя побрился, пустил душ и долго наслаждался обрядом мытья, унаследованным от отца. Это отец его научил взбивать пену мочалкой, мыться «малой» и «большой» водой, полоскаться «начерно» и «набело», пробовать чистоту волос «на скрип». Когда-то давно они вместе ходили в баню и мылись там подолгу, охали, парились, пили квас и начинали все с начала. Наверное, и в Испании отец отыскал баню. Какую-нибудь мраморную, с кариатидами и парящими в воздухе розовыми амурами...

— Ты долго еще будешь мыться? — спросил Евгений.

Варя повязала Володе галстук — он совсем не умел делать такие вещи — и пригладила волосы щеткой. Евгений попрыскал на себя из пульверизатора, Володя подал Варе плащ.

— Да, мы обедать дома не будем! — крикнул Женя.

— Не завою,— сказал дед из кухни, где шуршал листами журнала «Огонек». Он очень любил рассматривать картинки.— Интересно, как там накушаетесь. Видел давеча ихнею Паньку на базаре: дали, говорит, всегоничего денег, а обед на цельную роту велено сготовить...

Ираида и несколько незнакомых Володе накрашенных женщин уже сидели на холодной и мозглой террасе у Валентины Андреевны. Поверх скатерти Ираида раскладывала желтые дубовые и кленовые листья — под каждым прибором и под каждой рюмкой должна была лежать такая «живая» салфетка.

— А, деревенский доктор приехал,— сказала Валентина Андреевна и протянула Володе руку для поцелуя, но он не поцеловал, а только сильно встряхнул.— Ну как там? Всё лечили?

— Всё лечили! — грубым голосом ответил Володя.

Додика еще не было, он проводил какие-то мотоциклетные соревнования. Во дворе, на цепи, вякала Додикова охотничья собака. Подруга Валентины Андреевны, Люси Михайловна, значительно подняв бровки, говорила:

— Ах, дорогая, не спорьте, пожалуйста, со мною, преждевременные морщины — результат нашего невни-

мания к себе. Например, смех. Посмотрите, как я смеюсь. Округляю полость рта и смеюсь: хю-хю-хю,— сделала Люси Михайловна.— Смеховой акт в наличии, а мускульная система не расслабляется...

Володя смотрел на Люси Михайловну выпученными глазами. Варя слегка толкнула его в бок. Евгений расхаживал по веранде, курил папиросу и сердито переговаривался с Ираидой. А нахальный, толстый коротышка Макавеенко по обыкновению рассказывал накрашенным гостьям свои анекдоты и сам первый смеялся.

Пришли еще какие-то неизвестные Володе муж с женой. У него было львиное лицо, а она так громко шуршала шелком, что казалось, будто все время сердито шепчет.

— Кто такие? — поинтересовался Володя.

— Главная портниха в городе,— сказала Варя.— Ее зовут по-старорежимному — мадам Лис. А с ней ее муж, она его берет с собой в гости.

— Наукой доказано,— продолжала желтокожая и сморщенная Люси Михайловна,— что преждевременные морщины появляются также в результате неправильного положения лицевой части головы во время процесса сна. Если следить за собой и во сне, то возможно избежание преждевременного сморщивания...

Она заметила на себе упорный взгляд Володи и, «округлив полость рта», улыбнулась:

— Не правда ли, молодой доктор?

— Не знаю, мы это не проходили,— хамским голосом сказал Володя,— и как это следить за собой во время сна?

— Хю-хю-хю! — засмеялась Люси Михайловна.— И очень даже можно. Вообще, товарищи, мы крайне мало внимания обращаем на самомассаж путем поколачивания складок, морщин и дряблостей на коже.

— Меня сейчас вырвет! — шепотом сказала Варя Володе.— Как она говорит ужасно про это поколачивание...

Но Люси Михайловна не могла остановиться:

— Самомассаж — мой конек, мои альфа и омега, моя последняя любовь,— говорила она.— Итак, правой рукой нужно поколачивать складки на правой стороне лица, а левой — на левой. Дряблости под глазами поколачивают подушечками пальцев. Что же касается до подчелюстных морщин и отвисаний, то с ними надлежит бо-

роться путем похлопывания тыльными сторонами пальцев...

Пелагея понесла салаты — очень много салатов, с картошкой, морковкой, свеклой, зелеными листьями, луком — все в красивых вазах. Короткий, наглый Макавеенко сказал, принюхиваясь:

— Всегда у молодоженов овощи! Силос! И полезно, и недорого, и в своем вкусе. Только ведь я предупреждал: люблю мясо!

Приехал на автомобиле Додик и завел патефон с собакой на внутренней стороне крышки.

Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль,
Ничего теперь не надо вам...

— Послушайте,— негромко сказал Додику Евгений,— это же безобразие, патефон вы просто у нас сперли. Я уехал на практику, а вы явились к деду...

— Ах, оставьте, железный человек! — сказал Додик.

Он был выбрит, напудрен, с прямой, английской трубкой в зубах, с ямочкой на подбородке, до того чистоплотный и порядочный, что могло прийти в голову, будто он международный вор.

Пили водку, мадеру, портвейн, пиво и шартрез. Валентина Андреевна держалась кончиками пальцев за виски и говорила Евгению:

— Неужели наука не может побороть обыкновенную мигрень? Третий день страданий! Третий день!

Жена присяжного поверенного Гоголева тоже всегда жаловалась на мигрени и пальцами сжимала виски.

— Выпей водки, мама,— сказал Евгений.— Сосуды расширятся, и мигрень проскочит.

— Правда? — округляя глаза, спросила Валентина Андреевна.

Она выпила и водки, и пива, и мадеры.

— Ах, нет, нет, что вы,— говорила на другом конце стола Люси Михайловна.— Надо отличать уход за жирной кожей от ухода за сухой кожей. Это — элементарно. Так же, как совершенно безграмотно мазать лицо при наличии угрей кремами и мазями...

— Володька, перестань таращиться! — жалостно попросила Варя.— Не слушай, и все. Не надо ничего подчеркивать...

— Я не подчеркиваю,— сказал Володя.

— Нет, подчеркиваешь! — крикнула Варя.— Выпей лучше водки!

— Это просто смешно,— говорил Додик, сидя в центре стола, весь в букетах и бутылках.— Просто смешно. Гонщик в условиях дождевой погоды не может не соблюдать...

— Ура! — заорал наглый Макавеенко.— Я, кажется, нашел в салате жилу от говядины. А мадам Лис, между прочим, идет особое обслуживание и отдельная подача. Там салат из цыпленка. Ура гостеприимным молодоженам!

Мадам Лис шлепнула Макавеенку по руке, а сам львинообразный Лис налил себе полный чайный стакан липкого ликеру.

— Мадам Лис, а правда, что фасон «фигаро» опять входит в моду? — спросила Ираида.

— Дела, деточка, только в деловой обстановке,— ответила мадам Лис.

— Браво, браво! — захлопала в ладоши Валентина Андреевна.— Действительно, дела в деловой обстановке. А сейчас мы пьем! У нас праздник! Семейный праздник!

Валентина Андреевна была счастлива: вино ударило ей в голову, стол казался совсем таким, как когда-то у присяжного поверенного Гоголева; ели и пили вокруг приличные люди, никто не говорил о кораблях, о пушках, о маневрах, о полето-часах, никто не запевал сиплым голосом про конную Буденного.

Потом Паня принесла всем по чашке бульону с пирожком, потом были крошечные котлетки с зеленым горошком и большие, страшно жирные, какие-то размазанные торты.

— Это от Макавеенки,— шепнула Варя Володе.— Он же главный по части тортов и пирожных. Мама сказала, что, наверное, его скоро посадят — очень сильно ворует.

Еще не дообедали, когда Валентина Андреевна почувствовала себя дурно. Евгений с Ираидой исчезли, Варвара и Володя повели Валентину Андреевну в спальню, где росли кактусы и висел портрет кактуса.

Додик проводил жену взглядом, выбил трубку о каблук, сказал Макавеенке:

— Попался, который кусался. Это и есть радости се-

мейной жизни. И не уйти: поднимет визг, что она больна, а я шляюсь...

— Выпьем! — предложил Макавеенко.

— Выпьем! — согласился Додик.

К ним подсела Люси Михайловна и еще одна пожилая дама, которую звали Бэба. Бэба была стриженая и выкрашенная перекисью, после чего еще сильно завита барашком. Розовые плечи ее были оголены.

— Ну, старухи,— сказал наглый Макавеенко,— поборемся еще с дряблостью, а? Я слышал, что красавицам после пятидесяти лет очень помогает маска из ржаной муки. Намазала морду — и Вася!

— Вы не джентльмен! — воскликнула Бэба.— Надо быть добрым...

— А я, между прочим, в джентльмены и не лезу,— сообщил Макавеенко.— Я в торговой сети работаю, детка, там закон джунглей царствует.

Он слегка куснул Бэбу за голое плечо:

— Гам-гам. Страшно?

Додик завел патефон, пригласил Бэбину молоденькую сестру Куку. Макавеенко пригласил Бэбу. Сочный до жирности голос пел:

Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви.

Володя сидел в кабинете Додика и сердито перелистывал книжки, а Валентина Андреевна, пластом вытянувшись на кровати, держала дочь за руку и жаловалась.

— Ты и не представляешь, девочка, как с ним не просто. Он требует, чтобы у меня были интересы, и буквально принудил меня — он же волевой, ты видела, как развита у него нижняя челюсть,— буквально принудил поступить на курсы кройки и шитья. И дело не только в моих интересах, дело в средствах. Он же сумасшедший, он хочет создать мне постоянный комфорт — красоту жизни, он говорит мне «маленькая», он любит называть меня «маленькая» или «светик», или «бэби», он говорит: у тебя есть вкус, ты можешь стать ведущей портнихой в городе. И не в том смысле, что я буду сама шить, нет, я буду давать указания... Например, наши платья, так называемые полуприлегающие,— это же кошмар! Полное отсутствие линии. Совершенно не умеют брать полу-

окружность бедер! А перевод вытачки в подрез проймы? Мы занимаемся с Бэбочкой у мадам Лис...

— Варь! — угрюмо позвал Володя из соседней комнаты.

— Сейчас! — ответила Варвара.

— Это Володя? — спросила Валентина Андреевна.

Варя кивнула.

— Какой-то он все-таки мужлан,— сказала Валентина Андреевна,— сидит букой, никакого шарма. А шарм в мужчине — это все. Я сейчас читаю Достоевского. Князь Мышкин ведь идиот, а какой шарм...

— Мама, не говори того, чего не понимаешь,— жалобно попросила Варя.

— То есть как это?

— Не говори про Мышкина, я тебя умоляю.

— Ты мне грубишь, девочка, ты грубишь своей мамочке...

— Не говори про Мышкина, не смей! — крикнула Варя.

И выскочила из комнаты.

— Варвара! — донеслось ей вслед.— Это хамство, Варвара!

— Уйдем! — шепнула Варя Володе.

Муж мадам Лис, напившись пьяным, спал, подложив под львиное лицо огромные волосатые лапы. Сама мадам Лис танцевала с Додиком. Бархатный голос из патефона все еще пел про утомленное солнце. Белый, непривычный к такой жизни Додиков пес гремел ошейником и тоскливо подвывал. Макавеенко, сидя на краю стола, произносил речь, обращенную к Бэбиной сестре Куке:

— Да, смысл жизни состоит в том, чтобы брать от нее все, не откладывая исполнение своих желаний ни на минуту, ни на секунду! Слушайте сюда все, как говорят одесситы! Я материалист и не верю в райское блаженство после смерти. Идите сюда, молодой человек! — крикнул он, заметив Володю.— Идите поспешно! Бегите ножками! Я вижу, вы несогласны со мной? Он несогласен со мной, да, Кукочка? Так что? Я беру от жизни, чего только желаю, потому что я не идеалист, как некоторые...

— Идем же, Володя! — сказала Варя.

— Зачем ты меня сюда притащила? — спросил Устименко.

Отец погиб

Все еще сеял дождь.

Вдвоем, рука об руку, они пошли в кино. Перед художественной картиной показывали испанскую хронику. Немцы из батальона Тельмана пели «Карманьолу», танки мятежников шли на Харам, с треском били «эрликоны», в район Сеговийского моста входили добровольцы. И черные огромные «юнкерсы» сбрасывали серии бомб на прекрасный Мадрид.

— Перестань же наконец реветь! — рассердился Володя.

— Я не могу, не могу, не могу! — задыхаясь, ответила Варя.

Художественную кинокартину они не досмотрели: слишком уж все в ней с самого начала было гладенько и сладенько. И музыка чем-то напоминала «утомленное солнце», и главный герой был похож на Додика, такой же, с трубочкой и с ямочкой на подбородке. Только называли его здесь не Додик, а товарищ начальник строительства.

— Как-то вдруг стало очень трудно! — пожаловалась Варя.

— Почему? — удивился Володя.

Она крепко сжала ему руку.

Дома, на диване, при свете одной маленькой лампочки под густым абажуром сидели чем-то очень недовольные Евгений и Ираида.

— Можете нас поздравить,— сказал Женя ироническим голосом (он теперь в присутствии Ираиды почему-то непременно говорил ироническим голосом),— мы принимаем поздравления...

— С чем это? — спросила Варя.

— С тем, что мы решили оформить наши отношения законным браком.

— Да,— звякнув своими цепочками и медалями, подтвердила Ираида.— Вопрос решен в положительную сторону, как выражаются бюрократы...

И она засмеялась не слишком весело.

— Чего и вам желаем,— прохаживаясь по комнате, произнес Евгений.— Пока не поздно. Оно как-то изящнее...

— Про что ты? — не поняла Варя.

— А про то, дорогая моя сестричка, что в браке мне нравится осознанная свобода, а не общепринятая необходимость. Мы вот допрыгались до необходимости...

— Дурак,— сказала Варя.— Идиот, скотина, пошляк, ничтожество...

— Не ругайся,— попросил Женя,— тебе просто сейчас ругаться, а каково нам с Идой? Расскажи лучше, что там муттер? Это правда, что она собирается быть великой портнихой?

Выслушав Варю, он кивнул:

— Хорошие портнихи, вообще-то, зарабатывают много денег. Мы с ней вместе не живем, наше дело сторона, даже если ее и накроет фининспектор. Но кое-какие деньжонки я лично собираюсь с этого дела иметь...

— О, господи! — воскликнула Варя.— Никогда не видела подлеца в таком чистом, кристаллическом состоянии.

— Да чем же я подлец? — изумился Евгений.— Что я, детей, что ли, ем? Со всеми у меня отличные отношения, у меня нет врагов, но должен же я думать о себе? Или твой Володька обо мне подумает? Или, может быть, ты станешь помогать семейному брату материально? Или отец будет швырять мне дикие суммы? Ну хорошо, кое-что подкинет родитель моей будущей супруги, товарищ декан. Тоже не так-то много. Моя стипендия, стипендия Иды. Прекрасно! А ребенок? Няня, кроватка, пеленки, то, се? И ведь это не на один год, ты соображаешь? Мы вот с ней сидели, считали. Что я буду получать сразу после окончания института? Сколько, выражаясь в рублях?

Он снял пиджак, повесил на спинку стула, подвинул поближе бумагу с цифрами, спросил:

— Каковы наши исходные данные?

— Я пойду, Варя! — поднявшись, сказал Володя.

— Иди! — ответила она усталым голосом.

Какой сегодня был мучительный, нечистый, длинный день. И, в конце концов, она угадала осуждение в Володиных глазах, она еще была и виновата. Он никогда не помогал ей, этот Володька, он только брезгливо отстранялся — мол, не мое это дело, оставьте меня в покое, не касаются меня все ваши дрязги.

Не глядя на нее, он натянул свой плащ, взял чемодан, связку книг. Удивительно он умел не оглядываться! Ведь

хотелось же ему еще хоть разок взглянуть на нее, ведь чувствовал он, как ей сейчас плохо и одиноко, однако он, даже не кивнул, захлопнул дверь. Всегда он оставался сам по себе, этот человек! И теперь он, конечно, долго не явится...

На рассвете приехала Аглая — в высоких сапогах, в брезентовом плаще, подпоясанном ремешком, в платке. Володе показалось, что она, как и Варя, что-то знает и что-то от него таит. За эти полтора месяца тетка похудела, словно горькие складочки появились у ее алых еще губ, глаза смотрели с тоской, и появилась новая манера — она все перекладывала на столе: то спички, то ложечку, то вдруг солонку; то поднимется и поправит на стене фотографии. Но красота ее стала еще более яркой. Удивительно что не сходили по Аглае с ума мужчины.

— Какая-то ты тетка, беспокойная! — посетовал Володя.— Минуты не посидишь. Может, потому, что большой начальник?

— Ну вот! — рассеянно ответила она.

— И похорошела очень. Здорово ты у меня красивая.

— А кому она нужна — красота моя? Рассказывай-ка лучше, чем вздор болтать. Про Богословского, про больницу, про все. Оперировал?

Володя ринулся было рассказывать, но осекся: тетка не слушала.

— Ты что? — спросил он.

— Говори, ничего. Просто устала немножко.

— Обалдеть можно! — обиделся Володя.— У Варвары нервы, у тебя усталость, все какие-то на себя не похожие...

Но тетка и это прослушала. Она думала при Володе свои думы, словно его вовсе не было в комнате. И губы ее беззвучно шевелились. Тогда он все понял, но долго еще не решался спросить — так было страшно. А потом побледнел и спросил:

— Отец погиб?

Аглая молча кивнула головой.

— Убит? — крикнул, вставая, Володя.

— Да, он погиб! — ровным голосом, тихо сказала тетка Аглая.— Его самолет загорелся в воздушном бою под Мадридом.

— И он умер — папа?

— Да, Володя, папа твой умер.

— Он умер от ожога?

— Не знаю, Володенька, но Афанасий умер, и его похоронили.

— Это все уже совсем точно, да? Совершенно точно? — наклонившись к тетке через стол, шепотом спросил Володя.— Все правда?

Тетка одними только губами, беззвучно ответила: «Да». Слезы лились по ее щекам, она их и не удерживала. Володя стоял неподвижно. Еще давеча он представлял себе отца, как тот ищет баню с кариатидами и порхающими ангелами. А отец был уже мертв. И газеты об Испании он читал тогда, когда отец погиб.

— Где же его похоронили? Там? В Испании?

— Он погиб за их свободу. Они и похоронили его,— тихо ответила Аглая.— Он, понимаешь ли...

Больше у нее не было сил говорить, хоть она и пыталась. Она все покусывала бахрому вязаного платка, накинутого на плечи, и часто встряхивала головой, наверное, чтобы перестать плакать, но слезы все лились и лились по ее щекам. А потом она вдруг стала задыхаться. Тогда Володя зажег спиртовку, вскипятил шприц и ввел Аглае камфару.

— Теперь тебе надо,— начала было Аглая, но недоговорила. Она хотела сказать, что Володе следует быть таким, каким был Афанасий Петрович, но поняла, что ему не нужны никакие слова, что он взрослый мужчина, который все понимает сам. Она только сказала: «Володенька» и припала щекой к его груди.

Он был куда сильнее ее в эти часы. Он гладил ее черноволосую голову, молчал и смотрел в сереющее окно. Больше они ни о чем не разговаривали в это сырое, туманное, ужасное утро. Не следовало мучить друг друга лишними словами.

— Ты уходишь? — спросила тетка, когда прозвонил заведенный с вечера будильник и Володя начал собираться.

— Да, в институт! — не оборачиваясь, ответил он.

Пожалуй, тетка была единственным человеком на свете, которому не надо было объяснять, почему он идет в институт. Она сама все понимала. Она понимала, что с нынешнего дня Володина жизнь станет иной, не прежней, по виду и не изменится, но по существу, где-то глу-

боко, все станет иначе. Он должен был принять эстафету. Аглая не раз за эти дни почему-то про себя, шепотом, произносила это слово — «эстафета». Сын ломового возчика с Харьковщины, украинец, летчик Афанасий Устименко не мог погибнуть за свободу испанского народа так, чтобы все это не имело продолжения. И, уже не плача, пристальным взглядом она следила за тем, как собирается Володя. Впрочем, ей следовало тоже идти. И они вышли из дому вместе, в одно время, неся бремя одного горя, о котором еще нельзя было рассказывать.

— У меня умер отец! — следовало в случае чего отвечать Володе.

Умер. Просто умер! Умирают же люди от болезней. Жил человек, потом слег в постель и скончался, оплакиваемый своими близкими, родными, друзьями.

Ригорист и мучитель

— Ну, старикашка, как жизнь молодая? — спросил его в коридоре института Евгений. Он смотрел на Володю с сочувствием.

Володя ничего не ответил. Недоуменно он вглядывался в круглое, доброе, розовощекое лицо Жени. Зная, что случилось с Афанасием Петровичем, он вчера думал о деньгах, которые составят бюджет новобрачных.

— Чего уставился? — спросил Женя.

Пыч крепко пожал Володину руку. Наверное, Женька рассказал всем на курсе, потому что все как-то особенно поглядывали на Володю. И каждый старался сказать Володе что-нибудь особенно подбадривающее, каждый, кроме Пыча. А Пыч говорил о практике. Ему повезло, он попал в очень толковую маленькую больничку. Даже что-то смешное рассказал Пыч, и Володя улыбнулся. Вообще он не был ни бледен, ни рассеян, ни трагичен, как подобает быть сыну погибшего героя, о чем и сказала своим подружкам студентка Алла Шершнева.

— Вообще, он человек не слишком эмоциональный! — ответила Нюся, та самая, которой Ганичев когда-то посоветовал идти в стенографистки.— Есть в нем какая-то жесткость...

— Слишком много о себе думает,— скривила накрашенный ротик Светлана Самохина.— Еще наплачемся мы с ним.

Все три подруги даже не представляли себе, какие мудрые слова произнесла Светлана, какие прозорливые, совершенно не соответствующие ее умишку.

А Мишенька Шервуд заключил беседу:

— Он ригорист, мучитель и, простите за резкость, то, что называется занудой. Не хотел бы я попасть к нему под начало, нет, не хотел бы!

Теперь Володя больше не трунил над ленивыми разгильдяями-студентами, не поддразнивал модницу Светлану, не отмахивался от мелких подлостей Евгения. Ему и в голову не приходило жалеть заваливающихся у экзаменаторов студентов, на какие бы причины ни ссылались эти бедолаги.

— Гнать в шею! — говорил он на комсомольских собраниях института.— Гнать, чтобы не позорили звание врача, которое им предстоит получить. Никаких полумер, никаких уговоров, никаких поддерживаний под ручки. Вон, к черту, хватит нянчиться с этими маменькиными сынками и папенькиными дочками. Именно из них, из тех, которых мы так старательно тянем, и образуются потом целые дружины нежелающих ехать в деревню. Это они пробиваются к замнаркому с записками, со справками о нездоровье; это они просиживают штаны в липовых научных заведениях, только чтобы не делать дело...

Он стоял на трибуне в актовом зале института — худой, с мальчишескими еще вихрами на висках, с горящими зрачками, гневно и остро блещущими из-под бровей. И нечем было ему отвечать,— этим человеком теперь гордился весь институт, о нем говорили как о будущем светиле, ему нельзя было ввернуть что-нибудь вроде: «Посмотри на себя». Еще осунулось и похудело его тонкое лицо за эту нелегкую осень. Еще пристальнее, жестче стал взгляд, еще злее насмешки, когда он пускал это оружие в ход. И еще больше часов проводил он в прозекторской у Ганичева, стремясь объяснить себе то, что оставалось неясным, войти в бой во всеоружии знаний.

— А ведь вас, Володя, студенты недолюбливают,— сказал ему как-то Ганичев.

Устименко поточил скальпель на бруске, подумал и ответил:

— Как это ни грустно, а все-таки любят главным образом своих парней. Про которых говорят, что они «рубаха». Мне же кажется, что эти рубахи, в основном, довольно вредные насекомые. Сначала, выпив водки, поет «Не любить — погубить, значит, жизнь молодую», а потом ради возможности выпивать и попевать начинает приспособляться, подличать и превращается в злокачественную опухоль на организме человечества...

— Бойко вы стали выражаться,— заметил Ганичев.— И злым каким-то сделались.

— Я злею, вы добреете,— продолжая рассекать фасцию на бедре трупа, произнес Володя.— Вообще же, думаю, что государству нашему в его нелегкой жизни добряки мало помогают. Для чего вот вы, например, Евгению Степанову, презираемому вами, поставили удовлетворительную отметку? Геннадий Тарасович пожелал? Или декан? Хорошо, вы — добры, но ведь это, оказывается, только для себя. Из-за такой вот вашей доброты некоторые студенты насмешливо относятся к институту, к науке, к справедливости... А вы не хотите портить отношения с деканом и с Жовтяком, я же не мальчик, понимаю...

— Слушайте, а то, что я ваш профессор,— вы понимаете? — раздражаясь, спросил Ганичев. И подумал: «Бешеный огурец, черт, ведь правду говорит и не боится. Почему не боится?»

Еще долго они оба работали молча. Ганичеву было не по себе, Володя хмурился. Наконец Федор Владимирович не выдержал, сказал:

— Вот вы на Степанова здесь накидываетесь, а в глаза ему, я убежден, ничего этого не говорите. По-товарищески это с вашей точки зрения? — и взглянул на Володю, на склоненную его голову, на большие, умелые уже, ловкие руки.

— Это вы зря,— подумав, ответил Устименко.— Сами же давеча сказали, что недолюбливают меня ребята. Сидит еще эта подлость в нас — учимся для чужого дяди, а не для себя. Шпаргалки, всякая дрянь. Товарищество называется! Что ж, конечно, недолюбливают, так ведь кем же я был, если бы, например, Степанов считал меня своим парнем? Тогда удавиться лучше. Я ему все-

гда открытый враг, он это знает и ответно меня терпеть не может. По-моему, только так и можно жить, иначе черт знает куда скатишься. А что недолюбливают, так ведь не все? Огурцов, например, Пыч, еще есть — они мне друзья...

Володя говорил чуть-чуть грустно, и Ганичев перевел разговор.

— Останетесь при моей кафедре после окончания института? — спросил он и по тому, как Володя на него взглянул, уже понял, какой будет ответ.

— А для чего?

— Как это — для чего? — даже растерялся Федор Владимирович.— Кафедра моя...

— Не останусь. Я же не при кафедре хочу существовать, а врачом быть. Ну, как, например, все начинали — и Пров Яковлевич покойный, и Постников, и Виноградов, и Богословский... Так и я хочу...

Ганичеву было неприятно, неспокойно, хотелось, чтобы Володя лучше думал о нем, и потому он сказал:

— Не все начинали одинаково. Я, например, совсем иначе начинал. Хотите, выйдем отсюда — расскажу?

Володя прикрыл труп простыней, Ганичев убрал свои препараты, потянулся, зевнул.

— Я забавно начинал,— произнес он.— Бросил, можете ли себе представить, четвертый курс филологического факультета...

Они вышли в парк, сели на скамью, Ганичев размял толстыми пальцами папиросу, закурил...

Вот уже никак не мог себе представить Володя, что Ганичев учился на филологическом, писал стихи, ритмическую прозу, потом поступил в училище живописи и ваяния, потом в консерваторию.

— Когда же вы медициной стали заниматься? — спросил Володя.

— Двадцати девяти лет от роду, голубчик мой,— сказал Ганичев.— Все бросил: и скульптуру, и сочинение фуг, и дрянные, укачивающего типа стишата свои в космическом стиле, и даже даму сердца, верующую в мои гигантские таланты. Из-за пожарника по фамилии Скрипнюк, а по имение-отчеству — Орест Леонардович. В гражданскую войну, как вам хорошо известно, мой дорогой Киев часто испытывал на себе тяжести вторжений всяких Скоропадских, Петлюр, белых, немцев и прочее

и тому подобное. Ну, и все завоеватели непременно по городу стреляли из пушек, очень стреляли и жгли прекрасный наш Киев. А надо заметить, что я квартировал в ту эпоху возле маленькой одной пожарной части и часто с величайшим любопытством смотрел, как на огромные, полыхающие пожары, скрипя немазаными колесами, выезжает на лошадях-«шкилетах» наша пожарная команда, состоявшая исключительно из стариков. Стрельба стрельбою, а мои герои-старички под водительством неизменного Скрипнюка — страшный был, кстати, ругатель, и водочкой любил себя побаловать,— так вот, они, в сверкающих медных шлемах, эдак картинно мчатся. Тут все в тартарары проваливается, конец света, а они, никому, заметьте, уже не подчиняющиеся, так как в эти часы в городе безвластие, они — едут. Очень это меня заинтересовало. А Скрипнюк мне объяснял: «Может быть, там, где-либо на пожаре ребеночка вытянуть по дурости не могут или какого безногого вытащить умишки не хватило. Конечно, польза небольшая, но *все-таки это есть польза,* а не просто свое *времяпрепровождение».*

Голос Ганичева странно дрогнул, Володе даже показалось, что профессор немного всплакнул.

— Горящей балкой убило впоследствии моего Скрипнюка,— тихо сказал Федор Владимирович.— Удивительно, как повелось среди старой, недоброй памяти российской интеллигенции над профессиями посмеиваться. Непременно кум-пожарник к куфарке ходит, и не кухарка она, а именно «куфарка». Старик мой, по молодости, тоже к куфаркам захаживал — не дурак был по части донжуанства, но ведь какое сердце человеческое должно было в нем гореть, чтобы я, мужчина уже взрослый, избалованный — родители у меня были люди богатые и ни в чем не отказывали,— так вот, чтобы я всю свою жизнь начал с самого начала. Потому что навсегда запомнил нехитрую, но доказанную мне примером истину о пользе и времяпрепровождении.

— Вот видите! — угрюмо и с каким-то скрытым намеком произнес Володя.

— Что — видите? — обозлился Ганичев.

— Да вот насчет пользы и времяпрепровождения. Выходит, не навсегда запомнили...

— Послушайте, Устименко,— сдерживая себя, сказал Ганичев.— Почему вы все время меня судите? Пользуясь

тем, что я к вам хорошо отношусь, вы предъявляете мне совершенно нежизненные требования. В конце концов, Степанов знал предмет удовлетворительно и...

— Я ничего не сужу,— с тоской в голосе перебил Володя,— я только думаю все время, понимаете, Федор Владимирович, думаю и думаю, и решил вот, что надо жить так, как Богословский живет, и во многом, не во всем, как Пров Яковлевич жил. И ничего нельзя наполовину, иначе — пропадешь! Вы, пожалуйста, не сердитесь на меня, мне самому не легко, но только зачем же вы про Степанова сказали, что он предмет знал удовлетворительно? Что же вы сами о своей науке думаете, о патанатомии, если вам удовлетворительно — достаточно?

— Знаете что? — совсем уже бешеным голосом крикнул Ганичев.— Вы мне просто-напросто надоели! Я не желаю слушать нравоучения от мальчишки! Спокойной ночи!

Я устала от тебя

Он поднялся и ушел, а Володя отправился отыскивать Варвару, чтобы пожаловаться ей на самого себя. Варю он видел теперь редко, ей было чуть-чуть совестно его напряженной внутренней жизни, строгого голоса, недобрых подшучиваний по поводу студии и Эсфирь-Евдокии Мещеряковой-Прусской. Не могла же Варя чувствовать себя вечно виноватой в том, что Афанасий Петрович погиб, а Володя, казалось ей, упрекает ее тем, что она жива, радуется, смеется, репетирует спектакли, купается в Унче, бегает на коньках.

Чего он хотел от нее?

Чего требовал строгий взгляд его таких по-прежнему милых глаз?

Почему только дело, работа должны были внушать уважение? Нынче она была дома, но собиралась на репетицию.

— Как делишки? — спросил Евгений.

— Только что говорили про тебя с Ганичевым,— ответил Володя.— Я долго убеждал его, что ставить тебе удовлетворительную отметку по патанатомии — неверно.

— Конечно, неверно! — согласился Женя.— Я на отлично вызубрил.

— Патанатомию ты не знаешь,— возразил Устименко.— Провалить тебя надо было, а не действовать под влиянием Тарасыча и других...

— Ты что — очумел? — спросил Евгений.

На улице Варя сказала Володе, что он становится нестерпимо тяжелым человеком — сектантом-самосжигателем. И Женька прав, разговор с Ганичевым — поступок не товарищеский.

Володя не обиделся, только удивился и беспощадно ответил:

— Что ты, Варюха? Разве требовательность — это дурно? Зря — сектант, да еще самосжигатель.

— Ну, просто мучитель.

— Это Женькина точка зрения.

— Не только Женькина!

— Тем более,— зло сказал Володя.— Вы *все* уже одинаково смотрите на вещи. Помнишь, как на террасе толстый Макавеенко проповедовал смысл жизни? Это ваша общая точка зрения. Надо надеяться, что со временем последует трогательное единение — Женька, ты, спекулянт Додик и та их подруга, которая специализируется на самомассаже. Все вы одна шайка.

— Что? — крикнула она. — Да ты в своем уме?

— В своем! — жестко ответил Володя. — В жизни все низкое начинается с маленьких компромиссиков. С крошечных. Вот такусеньких, как ты выражалась, будучи школьницей. А дальше по восходящей или нисходящей, что тебя больше устраивает, — ты, Евгений, Ганичев, твоя мамаша, Додик...

Он уже не соображал, что он говорит. Его несло. Ведь он пришел к Варе за помощью, за поддержкой, а она оказалась с ними, с его врагами.

— В общем, я устала от тебя,— наконец сказала Варвара. — Прости, очень устала. И от твоих грубостей устала. Кроме того, мне надоели проповедники, среднее образование у меня уже есть, что Волга впадает в Каспийское море — мне известно. А ты, Вовочка, слишком чистенький. Иди своей дорогой, свети другим, сгорай сам, а я пойду своей тропочкой. Будь здоров и расти большой!

Она шмыгнула носом, так ей стало себя жалко и так

жалко Володю — он просто не понимал, видимо, о чем она говорила. И она сама толком не разбиралась в своих чувствах, она обиделась, и он должен был попросить у нее извинения, но он только хлопал дурацкими мохнатыми ресницами и молчал. Молчал, как умел это делать только он, и потом повернулся и зашагал в библиотеку, ни разу не оглянувшись.

«Ну, хорошо же! — решила она. — Ты у меня еще попляшешь!»

Холодный ветер сек ей лицо, она ждала — неужели не обернется? И что это все в конце-то концов такое? Любит он ее или нет? Или уже забыл свое сумасшедшее письмо из Черноярской больницы? Он смотрит на нее как посторонний, ни о чем не спрашивает, а когда она приходит к нему — занимается вдвоем с Пычем. Или его нет дома, или он спит со своими книжками в руках. Что это, действительно, такое?

«Если обернется, то все в нашей жизни будет прекрасно! — с безнадежным чувством загадала Варвара. — А если нет?»

Он шагал вверх по Горной улице к своей библиотеке. Его старое, потертое пальтишко трепал ветер, одно ухо шапки с тесемкой болталось.

Самый близкий, самый милый ее сердцу человек, глупый, длиннорукий, — уходил из-за разговора о каких-то компромиссах. Какие компромиссы?

Крикнуть?

Побежать?

Остановить во что бы то ни стало и объяснить то, чего столько людей не понимают: нельзя ссориться по пустякам, когда уже существует любовь; нельзя обижаться, сердиться! Из-за мелких обид люди теряют друг друга, потом пустяки превращаются в снежную лавину — и с ней уже не справиться человеку!

Остановить его вот сейчас, сию секунду, позвать!

Но она не смогла.

Она едва слышно сказала:

— Володя! Ты не смеешь уходить!

Но он не слышал.

Тогда, сердито и гордо выпрямившись, она пошла в свою студию имени Щепкина репетировать очередную шпионку. В последнее время ей стали подсовывать роли коварных, пожилых шпионок с одышкой. А когда Варя

утверждала, что такое ей не сыграть, то Мещерякова-Прусская хрустела длинными пальцами и говорила своим ровным, всегда усталым голосом:

— Ах, моя дорогая, неужели вы не понимаете, что для развития дарования прежде всего необходим тренаж. Да, да, тренаж в квадрате и даже в кубе.

«Тренаж так тренаж!» — вяло подумала Варвара, вышла из-за кулисы, изображавшей плакучую иву, и заговорила:

— Итак, товарищ Платонов, вернее господин Платонов, если вы раскроете меня — ваша жизнь кончена! Если же вы совершите взрыв турбины, то вас ждут чековая книжка, огни ночного Монмартра, зеленые столы Монте-Карло, заслуженный отдых в Альпах, любовь...

— Степанова, к чему слезы? — спросила Мещерякова-Прусская.

— Ни к чему! — ответила Варвара. — Так же ни к чему, как вам ни к чему вторая фамилия — Прусская! И почему — Прусская? Почему не Бельгийская, не Французская, не Американская? Почему Прусская? И пожалуйста, и нате, и я ухожу. К черту!

Она спрыгнула с маленькой, низенькой клубной сцены и не спеша, гордо подняв голову, пошла к двери. Только тогда Мещерякова-Прусская, опомнилась и закричала голосом базарной торговки:

— Вон! Нахалка! Я вас исключаю! Убирайтесь навсегда!

— А почему вы так орете?— спросил Борька Губин.— Что вам тут — капиталистическая частная антреприза? Здесь объединенная театральная студенческая студия, и мы никому не позволим...

Потом Губин догнал Варвару.

— Ничего, она теперь продумает свою системочку кнута и пряника, — сказал он Варе. — Мы, слава богу, не дети. Хватит.

Варя молчала.

— У тебя неприятности, что ли? — спросил Борис.

Варвара ничего не ответила. Губин еще помолчал, потом попрощался, но не свернул на свою улицу. Он давно и безнадежно был влюблен в Варвару: с того самого дня, когда Володя наложил жгут мальчику-пастушонку на рельсах. Но всегда понимал, что Володя круп-

нее и лучше его. И не мешал им. А сегодня он совсем расхрабрился и спросил:

— С Владимиром поссорилась?

— А тебя это, кстати, совершенно не касается! — сказала Варя. — Попрощался и хромай домой. Я в провожатых не нуждаюсь.

Ужасно она умела иногда сказать, эта Варвара: «Хромай!» Почему?

Глава одиннадцатая

Поет труба

Сумерничали в кухне, за столом, в честь приезда Родиона Мефодиевича накрытым розовой, с бахромой скатертью. Салфетки тоже были разложены — до того туго накрахмаленные, что казались жестяными. О салфетках немного поговорили, — дед сокрушенно вздохнул: он никак не мог совладать с крахмалом, один сорт, по его словам, «брал с передером», другой «недотягивал».

— Да брось ты, батя, — сказал Родион Мефодиевич, — на кой нам бес крахмальные салфетки!

— Как у людей, так и у нас, — подняв кверху корявый палец, ответил Мефодий. — Твоя супруга бывшая с крахмалу кушает, и у тебя не хуже. А то станет языком тренькать: позабыт мой бывший несчастный муж. Для чего оно?

Нынче с утра дед выпил водочки и теперь понемножку «добавлял на старые дрожжи», — раз-другой в год он любил себе позволить «потешить бесов», как это называла Варвара. Сидел он в новой пиджачной тройке, купленной сыном в Ленинграде. И жевал, сильно наклонившись над столом и вытянув далеко вперед шею, чтобы не обронить чего изо рта на новый костюм.

— Веселитесь? — спросил Евгений, входя в кухню.

— Отдыхаем, — ответил Родион Мефодиевич. — Позвал бы Ираиду, посидели бы с нами.

— Невозможно, пап, мы званы в некий дом, куда нельзя опаздывать.

Он осторожно, исподлобья разглядывал отца: отец задумчиво вертел пустую стопку в пальцах. Родион Мефодиевич уже порядком выпил сегодня, но был совершенно трезв, только часто вздыхал, задумывался и порою насвистывал какой-то маршик. И было странно видеть

его в полосатой матросской тельняшке, — ведь мог он хоть первый вечер посидеть в кителе с двумя новыми, сверкающими орденами? А то сидит, крутит стопку!

— Как мама? — неожиданно спросил отец.

— Да как тебе сказать, — ответил Евгений. — Сейчас она ведущая портниха в городе. Додик ее даже в театр пристроил, она изучила историю костюма и там одевает разных Людовиков и Фердинандов.

— Что ж, частное заведение вроде бы?

Евгений потянулся и немножко зевнул:

— Почему частное? Я же тебе сказал — она служит в театре и очень там уважаема. Ведь не дурак же Додик! Если частное — сразу фининспектор и прочие осложнения...

— Так, понятно, — кивнул Степанов. Он всегда говорил, что ему понятно, и кивал, если совершенно ничего не понимал. — Ну, а ты как прыгаешь?

Женя лениво сообщил, что он без пяти минут врач, что на брак с Ираидой пожаловаться не может, что жизнь протекает в общем нормально и что отец Ираиды в основном гарантировал Евгению возможность остаться при институте.

— Что ж, ученый из тебя прорезался, что ли? — спросил Степанов.

— Ученый не ученый, но у нас был студенческий кружок научный, и мы кое-какие темы разработали. Одна работка у нас напечатана в вестнике.

— У кого у вас?

— У нас, у кружковцев.

— А сколько вас?

— Шестнадцать.

— Коллектив, значит, — сказал Родион Мефодиевич. — Понятно. Раньше был, допустим, Цингер, или Киселев, или Менделеев, а вас — шестнадцать. Володька тоже с вами старался?

Евгений приопустил веки, чтобы отец не заметил бешенства, которое овладело им. Чего хочет этот настырный мучитель? Чего пристал? Что за глумливые интонации? Ну вернулся из Испании, ну воевал там, ну похоронил друзей, так ведь это его служба, обязанность, долг. Послали бы Степанова Евгения, и он бы поехал. И любой бы студент поехал! Что они — не советские люди?

— Значит, все в порядочке? — спросил Родион Мефодиевич Женю.

— В полном! — с некоторым вызовом ответил тот.

— Ну что ж, хорошо...

— И я предполагаю, что недурно. Специальность я себе выбрал — пойду по административной линии. Николай Иванович Пирогов учил, что врач на войне — это прежде всего администратор. В этой области, папа, у нас не слишком благополучно...

— В области администраторов, что ли? — осведомился Степанов. — По-моему, как раз тут у нас все подходяще. Начальства хватает, а вот работников...

Евгений взял с тарелки ломтик сыру, пожевал и вздохнул:

— Это все не так просто...

В это время, к счастью, зазвонил телефон, и можно было уйти. Дед и Родион Мефодиевич остались за столом вдвоем. В коридоре Евгений сказал Ираиде:

— Этот товарищ сведет меня с ума. Он весь в своих двадцатых годах, а мы нынче переживаем другое время. И время другое, и песни другие. И вообще...

Он махнул рукой.

— У него все-таки замученный вид,— вздохнула Ираида. — Надо бы организовать консилиум, пригласить папу, Геннадия Тарасовича. Ох, боже мой, я совершенно теряю голову от этой собаки,— рассердилась она, увидев, как Шарик выходит из кухни. — Просто смешно — ребенок, и тут же вечно дворняга...

— Ладно, одевайся, опоздаем, — велел Евгений. — И причешись как следует, тебе эти космы совершенно не к лицу. Цепочек бы надо поменьше, зачем обращать на себя внимание, мы же простые ребята, советское студенчество, вечная у тебя манера, если в гости — рвать людям глаза...

— Ах, перестань! — простонала Ираида.

В кухне было слышно, как хлопнула дверь. Интеллигентная няня, которую взяли потому, что ее фамилия была фон Герц, а звали Паулина Гуговна, — пела маленькому степановскому внуку немецкую колыбельную песенку. Большой сундук Гуговны стоял в коридоре, и старуха грозилась, что завещает Юрочке все свое удивительное наследство, только часть которого хранится здесь под замком.

— Ты как с ней уживаешься, батя? — спросил Родион Мефодиевич, отрезая себе пирога.

— А чего уживаться? Обыкновенно,— ответил дед Мефодий. — Она мне: хам, Фонька, старый пес, я ей обратно: лахудра или, допустим, еще как в деревне говаривали...

— Полностью?

— А чего ж терпеть?

— Значит, не скучаете?

Старик подумал, ответил обстоятельно:

— Чего ж скучать? Варвару покормить надо, прибрать, сготовить, на базар, конечно, дровишек позаботиться. Гуговна — это ж одни только переболтушки, а дела-то нет. Женька с Иркой придут — голодные, щишек похлебать где? К деду! Еще стукнем по стопочке?

— По стопочке стукнем.

Родион Мефодиевич налил холодной водки; дед бережно взял стаканчик, подержал его заскорузлой рукой, спросил неожиданно сладким голосом:

— И с чего она такая скусная, прорвы на нее нет? А? Мефодиевич?

Теперь он называл сына по отчеству, так ему казалось приличней. Глаза деда смотрели весело, он уже хорошо выпил, плотно закусил и сейчас сидел, довольный собой, за столом, который раскинул к приезду Родиона Мефодиевича, заставленный пирогами, испеченными по рецепту Аглаи, жареным мясом, скворчащими на сковороде румяными колбасами. И огурцы удались на славу, и капуста квашеная красная тоже красиво выглядела среди других кушаний. Все было «честь по чести», как любил выражаться, подвыпивши, дед.

— Значит, с награждением прибыл, — произнес он, утирая усы и бороду.— С орденами правительственными, высокими наградами. Конечно, поздравляем. А вот где был-то, сыночек богоданный?

— Где был, батя, там меня нету.

— Обижаешь, Мефодиевич. Я человек секретный.

— Секретный, копия на базар, — сказал Степанов. — Твои секреты вся наша Красивая улица знает.

Дед в некотором замешательстве поспешил к плите, якобы там, в духовке, перепрело польское кушанье бигос. А вытащив латку, сказал издали:

— Слышь, Мефодиевич, надобно бы нам подсчетом

заняться. Денег немало осталось твоих от хозяйства, когда приемка будет?

Родион Мефодиевич сказал, что никогда. Он рассеянно, мелкими кусочками ломал пирог и ел, глядя в стену перед собой.

— Это как же — никогда? — обиделся дед. Он давно и тщательно копил деньги, торгуясь на базаре; искал дрова подешевле, сам стирал простыни и полотенца, мыл даже полы, если Варваре был недосуг, а тут вдруг «никогда». — Нет, Мефодиевич, — рассердился старик,— так оно не пойдет. Я тебе в хозяйстве не обуза, я тебе как лучше стараюсь, я тебе каждый божий день через Варьку письменно отчеты пишу, а ты — «никогда».

— Вот в наказание за подсчеты и отчеты я тебе остаток лично отдаю на шубу, — строго сказал Родион Мефодиевич. — Пойдем завтра в магазин и купим шубу на меху и шапку меховую.

Дед подумал и ответил:

— Это нельзя. Гуговна удавится.

— Удавится — похороним.

— Нет, нельзя! — повторил дед. — Ежели так, лучше Варваре справить сак меховой. Тут неподалеку, видел я, продается богатый сак.

— Сак Варьке и без твоих денег купим, а тебе все равно шубу.

— Шуба мне без интересу. Варьку надобно действительно приодеть. Девка в самом соку, на выданье. Приданое бы справили, одеяло, подушки, все как надо...

Родион Мефодиевич поморщился, ему всегда было неприятно думать о том, как Варя станет выходить замуж.

— Ладно, надоело! — сказал он. — Давай лучше выпьем, помянем Афанасия покойного...

В коридоре длинно зазвонил звонок, Гуговна, несмотря на то, что была близко от двери, открывать не пошла. Родион Мефодиевич нажал на задвижку, оглядел Володю и тут, на лестничной площадке, обнял его. Сзади стояли Аглая и Варя.

— Я его, пап, из лаборатории вытащила, — сказала Варя. — Ты не удивляйся, что от него так странно пахнет...

С Аглаей Родион Мефодиевич тоже поцеловался.

Дед ловко ставил на стол чистые тарелки, стопки, переливал водку в графин с калганным корнем, со смородиновыми почками, с красным перцем.

— Ну, садитесь, — сказал Родион Мефодиевич, — помянем Афанасия, потом все расскажу.

Он поднял стопку своей татуированной, голой до локтя рукой, подержал и проговорил негромко:

— Помянем же коммуниста, украинца, отца твоего, Владимир, брата твоего, Аглая, и дружка моего — Афанасия Петровича Устименку, павшего смертью героя в борьбе за свободу испанского народа. Да будет ему пухом мадридская земля...

Дед перекрестился, все выпили молча. Володя, давясь, ел пирог. Гуговна опять запела свою колыбельную песню. Родион Мефодиевич закурил, взгляд у него сделался тяжелым, недобрым.

— Коротко, — заговорил он. — Семерка «юнкерсов» шла на Мадрид строем клина — это я сам видел. Остальное не видел, слышал от людей. Машины «юнкерсы» трехмоторные, тяжелые, летчики на них германцы, фашисты. Афанасий один начал бой. Наверное, очень тяжело ему было, покуда ведомые справились, взлетели, чего-то заколодило у них. Бомбы «юнкерсы» в этот раз на Мадрид не сбросили. Две машины Афанасий сбил, обе разбились. Потом...

Родион Мефодиевич сильно затянулся, произнес негромко, но ясно и четко:

— Потом его машина загорелась. Он хотел пламя сбить. И сгорел. Сгорел наш Афанасий Петрович в воздухе над Мадридом. Хоронили его там же, в Мадриде, народу было, не знаю, сколько тысяч, матери несли ребятишек на руках, провожали его и летчики, и танкисты, и пехотинцы. Что русский он — понимали все. Гроб несли не как у нас носят, а стоя, открытый. Можно было подумать, что шагает Афанасий со всеми испанцами вместе. Лицо ему огонь мало тронул, волосы только... Пели «Интернационал». Еще пели испанские песни, «Варшавянку», на кладбище залпы трижды палили. На могиле положен белый камень...

Володя смотрел на Степанова немигающим взглядом. Аглая тихо плакала, Варвара, пальцами утирая слезы, отвернулась к окну. Дед Мефодий слушал насупившись, угрюмо.

— Были у меня фотографии, — продолжал Родион Мефодиевич, — пришлось с ними расстаться. Были записочки кое-какие и письмо от отца твоего тебе, Владимир, на всякий случай он написал, — ничего не осталось. Но на память перескажу. Говорил он, Афанасий, часто в последнее время испанцам такие слова: «Устал — встряхнись, ослаб — подтянись, забыл — вспомни: революция не кончилась». Еще читали мы с ним на досуге лорда Джорджа Гордона Байрона, который тем еще хорош там был, что для Греции много полезного выполнил. И вот некоторые строчки часто Афанасий повторял, посмеиваясь, будто бы даже и шутя, но, конечно, без всяких шуток. Я немного запомнил:

Встревожен мертвых сон,— могу ли спать?
Тираны давят мир,— я ль уступлю?
Созрела жатва,— мне ли медлить жать?
  На ложе колкий терн,— я не дремлю!
  В моих ушах что день поет труба,
  Ей вторит сердце...

— Так он, бывало, и говорил, спрашивал: «Поет труба, Родион?» А я ему отвечал: «Поет! Особенно от твоих угощений — то зеленые маслины, то каракатица в собственном чернильном соку, то еще какую новость испанскую отыщешь!» Вот так. А больше мне нечего рассказать.

Родион Мефодиевич тщательно раскурил папиросу и замолчал надолго, как он умел это делать — совершенно не интересуясь своими гостями: наверное, задумался, вспоминал могилы, оставленные там, живых, которые и по нынешний день томятся во французских лагерях за колючей проволокой, и тех женщин в черных глухих платьях, которые, прижав к груди мертвых детей, лежали на пыльной площади деревеньки Рамбла в провинции Кордова. Вместе с покойным Афанасием Родион Мефодиевич смотрел на этих «побитых каменьями» жен антифашистов. Тогда, переглянувшись, они поняли: нечто новое, не изведанное еще по силе жестокости надвигается на беззаботно отплясывающий мир. Этому, еще студенисто-неопределенному, еще расплывчатому, еще таящемуся в густых сумерках — следовало немедленно и всеми силами противостоять, иначе мир, легкомысленный, живущий только нынешним днем, мир, распевающий песен-

ки и весело читающий фельетончики о своих президентах и министрах, мир борьбы за хлеб и за зрелища — очень скоро, совсем скоро будет превращен в груды дымящихся развалин, над которыми с победным рокотом станут проноситься огромные бомбардировщики со свастиками на фюзеляжах.

— Началось! — сказал тогда Родион Мефодиевич.

— На полную железку! — ответил Афанасий.

— Вот еще был случай, — заговорил Степанов, вглядываясь в Володю своими зоркими холодноватыми глазами. — Через деревушку Рамбла мы проезжали с твоим отцом. Там все жены антифашистов были вместе с детьми и даже с грудными детьми выведены на площадь и в пыли, среди бела дня, насмерть убиты камнями. Они рядом встали, женщины эти, обнялись, а в них булыгами — эдакими...

— Разве ж с этим мыслимо было вполголоса справиться? — спросил он. — Ведь даже мы с Афанасием, не бог весть какие головы ответственные и государственные, поняли — стороной не пройдет, началось, на полную железку дело пошло. И заворачивает оно к тому, что, как они предлагают, не быть двум мирам и двум системам, а быть лишь одной системе, которую им ихние завоеватели на блюде поднесут. Там проверочку они сделали, как, дескать, договорится земной шарик — против нас или нет? Не договорится, — подготовимся и начнем, потому что, если там не договорились, то уже нигде и никогда не договориться, а ему, то есть Гитлеру, только и нужно, чтобы никто нигде ни с кем не договорился, тогда он и начнет поодиночке щелкать каждого. Тебе понятно?

— Понятно! — сказал Володя.

— Выпей водки, — посоветовал Родион Мефодиевич. — У меня нынче, с возвращением такой день удался веснушчатый, все пью водочку. Удивительно даже, как это много времени прошло, а я ни разу толком и не отоспался...

Он тревожно огляделся вокруг, и все заметили, что он измучен, этот крепкий, словно просоленный морскими ветрами человек, этот всегда спокойный, во всех случаях жизни посмеивающийся, жестко выбритый, мускулистый Степанов — действительно, «балтийская слава, ветров альбатросы», как любил пошучивать он, вспоминая нескладные вирши времен гражданской войны,

— Ты не простыл, пап? — тихонько спросила Варя.

Родион Мефодиевич обнял ее одной рукой, крепко прижал к себе, произнес невесело:

— Здоров, дочка, вполне даже здоров, только приустал маленько, да мысли допекают скучные. Вот, например, все нам кажется, что фашизм вроде стороной пройдет, как дожди проходят. А пройти стороной он не может — давно я, еще до Испании, все присматриваюсь, размышляю. Например, для чего воздухоплаватель немецкий некто Гуго Экенер в США пожаловал на своем «ДР-3 Фридрихсгафен»? Для морального воздействия на американцев — вот-де какую мы набираем силу. Для чего германский пароход «Бремен» завоевал голубую ленту, и именно в ньюйоркской гавани, а не в своем порту? Опять же для испуга! И летчики ихние, и боксеры, и кинокартины — везде германская сила, германская победа, германское превосходство, германский кулак. А они в Европе и за океаном всё танцуют, всё пляшут — дурачье... Тельман в тюрьме — это что значит? «Тысячелетняя империя» — это что означает? Германская делегация покинула Женеву — к чему это? Теперь в Лондоне основали «Англо-германское товарищество», распространяют среди англичан гитлеровские идеи, посадили председателем лорда Маунттемпла, а он шишка в британской химической промышленности... Чемберлен — шляпа, либо купленный, либо вовсе болван. Так что, думается мне, шарику земному не на кого больше рассчитывать, как на нас.

— Значит, будет война? — спросила Варвара.

— Быть событиям немалым, — повернувшись к Аглае, говорил Степанов, — и задача наша такова, чтобы народ наш и, в частности, молодежь держать в состоянии мобилизационной готовности. Ты вот, Аглая Петровна, образованием командуешь, учти мои советы. Военкоматам не справиться с этим делом, ежели идейно мы сами нашу молодежь не закалим. Есть еще и легкомыслие у нас, и шапкозакидательство, а я нынче повидал и понюхал — не простая работа нас ожидает. Может, и выпьем за то, чтобы с тем, что я видел, а вы, к вашему счастью, пока не сталкивались, в конечном счете совладать?

— Это с чем же? — спросил, моргая, дед.

— С врагом, дед! — без улыбки ответил Степанов.

— Тогда что ж, как люди, так и я,— произнес дед,

стеснявшийся вообще «тешить бесов» при Варваре. И сообщил Аглае: — Ты в чай шиповника подбавляешь? Хорошее дело. И дешевле и запах, — ну чистое сено.

— Чай-то, дед, сеном отдавать не должен, — заметил Родион Мефодиевич. — А что касается дешевизны, то заваривай сено — и вся недолга...

— Сено, сено, — передразнил дед, — секретно, копия на базар. А я тоже вполне свое соображение имею. В Испании ты, Мефодиевич, был, вот где. Страна есть — Испания. Про нее по радио завсегда говорят. И стих даже сложен. Варька его долбит: «Гренадская волость в Испании есть». Нет, скажешь?

И, победно оглядевшись, дед вдруг запел скучным, бабьим голосом:

Кабы знала я, ведала,
Молоденька, чаяла
Свою горьку долю
На счастье замужества...

Ему казалось, что если люди сидят за столом — выпивают и закусывают, то дело хозяина поддерживать веселье и первому начинать песню. Но интеллигентная Гуговна постучала своим сухим кулачком в стену, и с пением пришлось покончить.

— Юрка у них ужасно нервный мальчишка, — сказала Варвара. — Профессор Персиянинов его консультирует, он просто понять не может — отчего такой нервный мальчик.

— Профессора, тожа! — сказал дед. — Заявится и сразу Егора в задницу целует. Ах, какие вы прекрасные, ах, какие вы мальчишечки! И денег ему отваливает пятьдесят рублей, я еще и не то за полсотни сделаю...

— Ну что ты, дед! — не согласилась Варвара. — Профессор Персиянинов величина, он у вас в институте, правда, Володя?

— Был, но ушел, — сказал Устименко, — и никакая он не величина а просто его мамаши любят за то, что он всем говорит, будто этот ребенок единственный на свете...

— То есть высококачественный ребенок? — спросил Степанов.

Варя заметила с грустью:

— Такой солидный, всегда шутит, веселый...

А Володя уже точно бы и не слышал, думал о своем. И весь этот длинный и нелегкий вечер он словно бы вдруг куда-то исчезал и потом растерянно спрашивал:

— А? Вы мне?

Родион Мефодиевич пошел их провожать. Варвара с дедом остались мыть посуду. Степанов взглянул на дочь, потом на Володю, но ничего не сказал. Когда они выходили, на лестнице им встретился Борька Губин — красивый, здоровенный, в хорошем пальто нараспашку и в мягкой шляпе.

— Здравствуйте, Варя дома? — спросил Борис почему-то у Володи.

— Дома, — равнодушно ответил Устименко, и Родион Мефодиевич опять на него взглянул.

— Это что за парень? — спросил Степанов.

— А, Губин Борис. Разве вы его не узнали? Он теперь у нас в городе известная личность. Стихи пишет, рецензии в газете, а если с ним идешь по улице, то часто слышишь: вот Губин. Хороший парень и способный. Варвара его очень хвалит, утверждает, что он легкий человек и не мучитель, как некоторые.

— Мучитель, надо понимать, ты?

— Наверное! — вяло ответил Володя.

И пошел вперед, угрюмо задумавшись, глубоко сунув руки в карманы. Аглая и Родион Мефодиевич о чем-то негромко разговаривали сзади.

Некоторые перемены

С этого вечера Степанов почти каждый день приходил к Володе — так тот думал вначале, а потом с грустным изумлением понял, что Родион Мефодиевич ходит вовсе не к нему, а к тетке Аглае. Он подолгу рассказывал ей одной, а она слушала, подперев красивую голову руками и глядя в одну точку — на старенькую настольную лампу под вышитым тряпичным абажуром. Родион Мефодиевич в морском кителе с золотыми нашивками на рукавах, багрово-загорелый, с седеющими висками и темными кустиками-бровями ходил из конца в конец по теткиной комнате и рассказывал, посмеиваясь и ниче-

го не спрашивая. Володя-то знал, как легко и радостно было ей рассказывать. А однажды он, впервые в жизни, услышал, как Аглая пела не для себя, а для другого человека. Наверное, они не заметили, как хлопнула парадная дверь и как он вошел, а Володя сел на край ванны и заслушался с полотенцем в руках. Аглая пела негромко, но так просто и так открыто, с такой искренностью тихой и душевной беседы, как поют только русские женщины:

Что ж ты, ноченька, так нахмурилась?
Ни одной в тебе нету звездочки!
С кем мне ноченьку ночевать будет,
С кем осеннюю коротать будет?
Нет ни батюшки, нет ни матушки;
Лишь один-то есть мил-сердечный друг,
Да и тот со мной не в любви живет...

Тетка допела, Володя сразу, с силой отвернул кран, вода со звоном полилась в ванну. Но запереться он не успел, Аглая вышла в переднюю в новом, нарядном платье, спросила, счастливо блестя глазами:

— Давно пришел?

— Как ты пела — слышал! — ответил он угрюмо.

— Не суди! — попросила она. — Не суди, мальчик...

Володя с удивлением на нее смотрел. Он еще никогда не видел Аглаю такой. Про тетку говорили, что она красивая, он и сам замечал это. Но такой прекрасной, светящейся, легкой, совсем еще юной он ее даже и представить себе не мог.

Вода с клокотаньем наполняла голубоватую ванну; Володя стоял худой, с выпирающими ключицами, в трусах, небритый, а она, держа горячей рукой его локоть, говорила ему быстрым, ласковым, едва слышным шепотом:

— Я ведь давно его любила, давно, очень давно. Но тогда это было трудно и для него и для меня. А сейчас я счастлива, мальчик мой, совсем счастлива. Подумай, рассуди сам, Гриша погиб в двадцать первом году, и ты ведь рано или поздно уйдешь от меня, он одинок теперь, зачем же нам — ему и мне — терять друг друга? Я вижу по твоим глазам, что ты осуждаешь, но за что?

— Не осуждаю я,— глядя в теткины сияющие глаза, ответил Володя. — А просто... все вы меня бросаете... И Варька, и ты, и Пыч. Не бросай только меня, тетка, —

попросил он — Как я один буду? Скучно же все-таки...

Ванна мгновенно перелилась, Володя поскользнулся на кафельном полу, из комнаты вышел Родион Мефодиевич и сказал жалобно:

— Бросили меня все, хоть плачь!

— Видишь! — кивнула Аглая на Степанова.— Как же мне быть?

За ужином Володя вел следствие, а Родион Мефодиевич и Аглая с легкостью и даже с радостью во всем сознавались.

— Значит, и переписка была? — спрашивал Володя.

— А то нет? — сказала тетка. — Этим ты не намажешь, это сыр, а масло в масленке.

— И в Ленинграде, когда ты ездила, вы видались?

— Ну и видались, — сказал Родион Мефодиевич. — И в Эрмитаже были, и в Русском музее, и на Исаакий лазали.

— В вашем-то возрасте?

— Нахал! — сказала тетка.

— И про Испанию ты знала?

— Про Испанию не знала, но догадалась, — наливая Степанову чай, сказала Аглая. — И со стороны Родиона Мефодиевича было не слишком умно скрыть от меня эту поездку.

— Я не хотел, чтобы ты лишне волновалась.

— Что же теперь будет? — спросил Володя. — Я-то лично против того, чтобы вы переезжали...

— А в чем у тебя дело с Варькой? — спросил Родион Мефодиевич.

— Ни в чем, — сказал Володя. — Просто, наверное, это правда, у меня характер тяжелый. Что мне кажется глупым и незначительным в жизни — про то я так и говорю. И получаюсь тираном. Она даже называет меня деспотом. Впрочем, она и моложе меня, и, конечно, все у нее иначе. Я не сужу, Родион Мефодиевич, я просто не могу, как она.

— Врешь, судишь! — сказал Степанов. — Вообще зря ее судишь. Потеряешь, такую не отыщешь. Я не сват, я тебя... как бы это выразиться... уважаю, что ли, потому и говорю: требовать с человека требуй, но по-человечески.

— Я требую от каждого, как от моего погибшего отца, — внезапно бледнея, произнес Володя. — От себя

в первую очередь. И от всех. Иначе мне не подходит.

Родион Мефодиевич посмотрел на Аглаю, потом на Володю.

— Белены объелся?

— Нет! — сказал Устименко. — Никакой белены, Родион Мефодиевич, я не объелся. Однако же считаю, — он вдруг услышал, что говорит совершенно как покойный Пров Яковлевич Полунин, — однако же позволяю себе считать, что смысл человеческого существования состоит в самой высокой требовательности к самому себе, в такой, какой обладал мой отец, когда вылетел один против семерых «юнкерсов». Он ведь на жертву вовсе не шел, правда? Но и не только свой долг он выполнил. Он тогда, в те секунды, один нес ответственность за судьбы мировой революции...

— Да не волнуйся ты так! — сказала тетка.— Весь белый...

— Я и не волнуюсь. Я только всегда думаю, что если бы все были такими, как мой папа, то, может быть, и войн уже не было, и рак бы мы лечили, как лечим насморк или там изжогу, и о туберкулезе бы забыли. А то ведь большинство рассуждает о своей личной пользе, не понимая совершенно того, что польза общественная и принесет личную, но в таких грандиозных масштабах, которые этим индивидуумам и не снились...

Он залпом выпил остывший чай и, моргая мохнатыми ресницами, попросил:

— Простите меня, пожалуйста. Но очень бывает все-таки трудно. Сегодня в институте одна скотина назвала меня предателем и не товарищем потому, что я отказался просить у Ганичева переэкзаменовки для этого субъекта. Трудно... А отказался я потому, что отлично знаю — субчик этот непременно останется в городе и еще командовать будет, а знаний у него мало, головенка тупая, мыслишки куцые...

— Это ты про Евгения? — спросил Степанов.

— Спать пойду! — не отвечая на вопрос, сказал Володя. — Устаю.

Плотно затворив за собой дверь, он позвонил Старику в общежитие. Пыч подошел сердитый.

— Ну что, хорошо быть женатым? — спросил Володя.

— Иди к черту! — ответил Старик.

— Имей в виду, счастливый молодожен, что если ты

завтра не придешь опять заниматься, то между нами все и навсегда кончено. Огурцов мне уже намекал и вызывался заменить тебя.

— Твое дело.

— Придешь завтра?

— Приду! — сказал Пыч и добавил, помолчав: — А и верно, тяжелый ты парень, Володька!

— На том стоим! — бодро ответил Устименко.

А Родион Мефодиевич, расхаживая в это время по комнате Аглаи с папиросой в руке, говорил о том, что Володя, разумеется, прав, только сейчас у него, как выражаются картежники, «перебор», но не по существу, а по форме.

— Такие иногда пускают себе пулю в лоб! — угрюмо сказала Аглая.

— Такие никогда! — спокойно ответил Степанов.

Проводив Родиона Мефодиевича, Аглая сбросила новое платье, оделась потеплее, послушала, как ровно дышит Володя, и вышла одна на улицу. Автобусы еще ходили, она легко вскочила на девятый номер «Вокзал-Овражки» и, задумавшись, доехала до площади.

...В те времена тут чередою стояли извозчики, от пролеток пахло старой кожей и дегтем, а там, за палисадничком, на месте которого теперь круглый парк, раньше был привокзальный базар — торговали жареным рубцом, рыбой, колбасами собственного изготовления, малосольными огурцами, желтым самогоном. Вот площадь, вот каменный дом бывшего городского головы Князева, а вот и деревянный домик с пристроечкой и террасой, со ставнями и березой у калитки. Как выросла, как похорошела береза, как славно, что она сохранилась и что почки ее уже набухают, несмотря на позднюю и холодную весну!

И вдруг Аглая почувствовала, что глаза ее наполнились слезами: там, у березы, возле домика с терраской, председатель губчека Кондратьев, Гриша Кондратьев, сказал ей, уезжая на несколько дней в Москву, что когда он вернется, то — хочет она этого или не хочет — быть «тихой свадьбе». Он так и сказал тогда эти странные слова: «тихая свадьба» и нехотя пояснил:

— Вообще, насовсем ко мне переедешь. А народ созывать — ну его! Пить станут, «горько» кричать. Ты мне жена, —кого это касается? Переедешь?

Она кивнула.

— Переедешь! — еще раз произнес он. — Переедешь, и начнем жизнь. Но только основанную на новой, коммунистической морали. Без ужасных предрассудков прошлого. Брак есть любовь, а без любви нет брака, а лишь одно лицемерное, буржуазное ханжество. Вплоть до так называемых домов терпимости.

— Каких — терпимости? — спросила молоденькая Аглая.

— Это я тебе потом, по приезде разъясню, — строго ответил председатель губчека Кондратьев. — Слушай дальше. Разлюбишь меня — не бойся. Начинай новую жизнь с другим товарищем. Конечно, мне это будет не то чтобы веселенький подарочек. Но новое наше общество не потерпит неравной любви. И жалости в браке оно тоже не потерпит. Так и я считаю, и товарищ Холодилин, докладчик из Политпросвета, говорил. Не слушала ты его?

— Нет, — виновато ответила Аглая, — у нас занятия были по стрельбе из пулемета.

— По приезде намылю я холку вашему военруку, — сказал Кондратьев, — вечно срывает политпросветработу. Теперь дальше...

Они стояли у березы долго, — он с кожанкой на руке, с маузером в желтой коробке на боку, она в платье, сшитом из марли. Это было ее самое главное, самое настоящее, самое красивое платье. Она сама покрасила марлю в ярко-синий цвет, подкрахмалила ее и пришила маленький белый воротничок. И такое получилось платье, что она даже стеснялась выходить в нем на люди, — наверное, это было лучшее платье в городе. А Кондратьев смотрел на Аглаю Устименко удивленно и счастливо, качал головой и говорил:

— Ну и ну! Из какой же оно мануфактуры?

Поезд ушел, а в день возвращения Гриши Кондратьева Аглая долго купалась в теплой реке Унче, плавала и думала: «Вот и кончилась твоя молодость, Аглая, отгуляла свое, теперь быть тебе до смерти замужней бабой. Не бабой, а гражданкой, но все-таки замужней...»

В душные предгрозовые сумерки она собрала свой узелок и пошла к Кондратьеву сюда, в этот домик с тераской. Григорий Романович ждал ее, стоя посередине комнаты, туго подпоясанный, в солдатской гимнастерке.

Все было чисто прибрано, со стены куда-то вдаль вглядывался Карл Маркс, на тумбочке возле узкой койки лежала стопка книг, на ломберном, с инкрустациями, столике потрескивала свеча. Глаза у Кондратьева были широко открыты, и смотрел он на Аглаю всю коротенькую их жизнь, как на чудо. Убитым она мужа не видела, была тогда в тифу, так он и остался перед ней — стоит и смотрит, робкий и тихий, и слышно, как перекатывается гром — все урчит и ударить никак не может.

— Теперь послушай по поводу нашей с тобой дальнейшей жизни, — чуть отворотившись, чтобы не видеть детски-простодушное лицо Аглаи, заговорил Кондратьев. — Я на суровом деле нахожусь, ко мне всякие подъезжают, чтобы железную революционную законность похерить. Ни от кого ничего никогда, Агаша, не принимай, никаких подарков, ни-ни, забудь! Опять же имеется в губчека оперативный фаэтон пароконный. Лошади ничего, кормим, чтобы вид имели. По частным надобностям не ездим — исключительно для срочных дел. Увижу тебя в этом нашем фаэтоне — опозорю, где бы оно ни случилось.

И спросил:

— У тебя покушать с собой ничего не найдется?

В вечер «тихой свадьбы» они поели черствого Аглаиного хлеба и запили его молоком. А не более как через полгода за товарищем Кондратьевым заехал «оперативный» фаэтон — чекисты отправились в уезд ловить убийцу, насильника и громилу, бывшего барона Таддэ. Из этой поездки Гриша Кондратьев не вернулся: адъютант ротмистра Таддэ в последней схватке швырнул под себя и под председателя губчека гранату-лимонку.

После сыпного тифа Аглая оказалась вдовой. На память о муже ей выдали его именной маузер и в память Кондратьева послали вдову на учебу. Из этого домика с березой у калитки она тогда и уехала в удивительную Москву. И больше никогда здесь не бывала.

— Как же мне жить? — тихонько спросила она, опершись плечом о ствол березы. — А?

Лица путались перед ней — Гриша и Родион Мефодиевич. И то короткое счастливое время путалось с нынешним. Виновата ли она перед Кондратьевым? Как спросить? У кого? Кто ответит?

С вокзала, из телефона-автомата она позвонила Сте-

панову. Родион Мефодиевич, словно ждал, сразу ответил сипловатым голосом:

— Степанов у аппарата.

— Поедем когда хочешь, — негромко произнесла Аглая. — Я могу идти в отпуск хотя бы с субботы.

— Есть! — серьезно, не торопясь сказал Степанов. — Все будет подготовлено.

Повесив трубку, он вернулся в столовую, где сердито занималась Варвара, закурил папиросу, прошелся из угла в угол и сообщил:

— Уезжаю я, Варя.

— Угу, — ответила она.

— Не один уезжаю.

— С Аглаей Петровной? — не поднимая взгляда от учебника геологии, спросила Варвара.

— С ней.

Варя отложила книгу, поднялась, подошла к отцу вплотную, закинула руки на его шею и крепко трижды поцеловала в щеку. А в субботу они все — Варвара, Володя, Евгений с Ираидой и Боря Губин — провожали Аглаю и Родиона Мефодиевича в Сочи. Вечер выдался весенний, совсем уже теплый, сырой и темный. Окно в купе светло-шоколадного международного вагона было поднято; там, на столике, покрытом накрахмаленной салфеткой, в банке стояли ярко-желтые маленькие мимозы. И бутылка шампанского стояла рядом с мимозами.

— Если ездить, то только в международном, — говорил Евгений, с жадным любопытством заглядывая в окно, — посмотрите, товарищи, как здесь все рационально и удобно организовано. Нет, буржуи понимали толк в жизни...

Родион Мефодиевич, помолодевший, в хорошо сшитом темно-синем кителе с золотом на рукавах, в одной тонкой щегольской перчатке, стоял на перроне; Аглая поучала в окно — из маленькой, в ковриках, чехлах, меди и хрустале — комнатки:

— Горячее ешь непременно и каждый день, слышишь, Владимир? Не ленись, пойми: это действительно тебе важно, ты — худой, спишь мало, измученный, издерганный, и еще государственные экзамены. Послушай, ведь мало того, что ты сам занимаешься, ты еще вечно кого-то тянешь. Надо есть суп, слышишь? Тебе соседская Слепнева все станет покупать и готовить,

но не забывай и не набивайся одним хлебом. Слышишь?

— Ты бы, Варвара, за ним посмотрела! — шепотом произнес Степанов.

— Владимир, ты ежедневно можешь приходить ко мне обедать! — предложил Губин. — У мамы бытовая сторона жизни обставлена превосходно...

— Да он и у нас может! — великодушно сказал Евгений.— Будет вносить свою долю, и вся недолга...

Варвара молчала, кусая губы: она у него на третьем месте или даже на пятом — у этого человека. Сначала наука, потом институт, потом мысли, идеи, книги, все что угодно, а уж потом, в самое свободное время, — она. На досуге, от нечего делать, или если нет никого, кто бы слушал его рассуждения.

Боря Губин взял ее под руку, и она не отняла руки: пусть Володька видит. Но он и этого не видел. Он стоял опять задумавшись, словно был сам по себе на перроне. О чем он может сейчас думать? О какой-нибудь слепой кишке?

— Мы еще поспеем в кино! — шепотом сказал Боря.

— Ладно! — кивнула она.

— Ну что ж, прощайте, братцы! — напряженным голосом сказал Родион Мефодиевич. — Я прямо с Черного к себе на Балтику.

— Ага! — ответила Варя.

Поезд дальнего следования медленно двинулся в свое дальнее следование. Володя, никого не дожидаясь, пошел по перрону к выходу на площадь.

— Я не пойду в кино! — сказала Варвара.

— А куда? — заботливо спросил Борис.

— Я никуда не пойду. Я устала.

— Может быть, попьем у тебя чаю?

— И чаю мы не попьем. Сказано же — устала.

А Евгений говорил Ираиде:

— Если умело и умно сочетать личное и общественное, если не быть карасем-идеалистом, если не валять дурака, не нюнить, не киснуть и уметь разбираться в обстановке, то автомобиль, международный вагон, пальмы и теплое море могут стать таким же бытом, как наша овсянка по утрам, правда, солнышко? Кстати, тебе не кажется, что ты немного опускаешься? Ведь можно же и улыбнуться вовремя, и быть оживленной, когда это

нужно, и одеваться поэлегантнее. Съезди к маме, подлижись, она тебе перешьет летнее пальто в такой длинный жакет. Это сейчас модно...

— У меня болит голова, — сказала Ираида.

— У тебя, солнышко, вечно что-нибудь болит, — ненавидящим голосом, но негромко и, можно было даже подумать, ласково ответил Евгений. — Но ты, в общем, здоровенькая, и кушаешь хорошо, и все у тебя вполне нормально. Просто надо держать себя в руках.

Поезд дальнего следования в это время миновал станцию Капелюхи. Родион Мефодиевич, стоя в коридоре, снял фуражку, белым платком крепко отер лоб. Проводница, ловко переворачивая диван в купе — постелью вверх, спросила:

— Может быть, гражданочка желает переменить место, тут в соседнем купе тоже дама едут?

— Нет, гражданочка останется здесь, со своим мужем! — твердо, без улыбки ответил Степанов. — А «дама» в соседнем поедет одна. Кроме того, дамы и гражданки — это разные люди. Вы не согласны, товарищ проводница?

Проводница взглянула в лицо Степанова, увидела его насмешливые глаза, ордена на груди, золото на рукавах — и смутилась. А он ласково попросил:

— Чайку бы нам, дорогая хозяйка.

Аглая сидела на стуле, в уголке купе, подперев голову руками, как дома, очень бледная, улыбалась. В окно несло теплым, сырым ветром с полей, наступающей весною, горьким паровозным дымом. Желтенькие мимозы покачивались на столе.

— Кто желает бутерброды, пирожки, алкогольные и безалкогольные напитки? — строго спрашивали в коридоре.

— Вот так, — сказал Родион Мефодиевич, садясь на край дивана и благоговейно, нежно и глубоко вглядываясь в темные, непонятные глаза Аглаи.

— Как — вот так? — осведомилась она.

Он молчал.

— Вот так, вот таким путем,— передразнила Аглая.— Перестань стесняться себя. Не бойся слов. Есть слово любовь. Ты любишь меня, я же понимаю. Мы уже не молоды, мы знаем цену слов. Скажи мне, что ты меня любишь...

— Что ты меня любишь, — завороженно, своим глуховатым голосом произнес Родион Мефодиевич.

— Скажи: я тебя люблю.

— Я тебя люблю, Агаша, — сказал он. — Я ведь и не знал тогда, что оно такое. А вот даже в Испании, все, бывало, как встречусь с Афанасием, так про тебя разговариваю. Он догадывался. Он сказал: женись на ней, Родион, на другой ты теперь никогда не женишься.

— А ты разве на мне женился? — со смешком спросила Аглая.

— То есть как это?

— А разве ты мне сказал, что берешь замуж?

— А не сказал? — удивился он.

— Я тебе, Родион, точно передам, что ты мне сказал. Ты сказал: «Аглая, я в Сочи еду, поедем вместе, а?» Потом добавил: «Вот таким путем». Так что, милый, я про замужество узнала только из твоей беседы с проводницей...

Она легко поднялась, села рядом с ним, просунула руку под его локоть и, прижавшись лицом к его плечу, пожаловалась:

— Не получается у тебя со словами.

— Не получается! — подтвердил он. — Только ты не обижайся, Агаша. Я людей, у которых со словами получается, не то чтобы боюсь, а как-то хлопотно с ними. Вот Афанасий покойный чем был еще хорош: молчать умел. А это великое дело — молчать, чтобы лишние слова не скакали. И ты молчать умеешь.

— Что ж, мы так с тобой всю жизнь и промолчим?

— Нет, — твердо, спокойно и ласково произнес Родион Мефодиевич.— Мы с тобой всю нашу жизнь как надо, по-человечески проживем. Вот увидишь.

Аглая еще теснее прижала к себе его локоть.

— О чем думаешь? — вдруг спросил он.

— Счастлива я, — виновато ответила она, — только страшно немного: уйдешь ты в море...

— А ты переедешь в Кронштадт или в Ораниенбаум...

— Не перееду, — сказала Аглая. — Я здесь нужна. А там буду устраиваться на службу. Не пойдет, Родион. Но тут я тебя стану вечно ждать. Вечно. А ты знаешь, что такое, когда тебя вечно ждут?

— Нет, не знаю.

— То-то! Теперь узнаешь.

Она задумалась. Родион Мефодиевич спросил: о чем?

— О Володьке, — сказала Аглая Петровна. — Как-то он там один?

Удивительный вы народ!

А Володя между тем был вовсе не один. У него сидели подавленные и расстроенные Пыч с Огурцовым. Час тому назад на глазах обоих скончался врач городской «скорой помощи» Антон Романович Микешин, тот самый, с которым Володя ездил в санитарной карете позапрошлым летом. Пыч и Огурцов дежурили во второй терапии, когда в приемный покой привезли Микешина. Он был еще в сознании, узнал обоих студентов, даже что-то пошутил, что вот, дескать, укатали Сивку крутые горки, но в палате ему стало хуже, он забеспокоился, сознание спуталось, и к сумеркам милый доктор умер. И Пыч и Огурцов тоже работали с Микешиным, и оба они никак не могли до сих пор толком собраться с мыслями — так дико, нелепо и быстро все произошло.

— Надо объявление дать в газету,— сказал Володя,— его весь город знал, скольким людям он помог! Верно, Пыч?

Но объявление дать оказалось не так-то просто. Во-первых было уже поздно, и комната, в которой принимались объявления, оказалась закрытой. А во-вторых, секретарь редакции «Унчанского рабочего» — человек в толстовке, с большими ножницами в руках и почему-то очень веселый — сказал студентам, что областная газета не может сообщать о всех смертях, так же как не может радовать своих читателей сообщениями о всех родившихся на свет гражданах. При этом он засмеялся.

— Вы бы не острили! — угрюмо посоветовал Пыч. — Мы сюда не веселиться притащились.

— А я от природы оптимист! — сообщил секретарь. — И, кроме того, знаю, что мы смертны. Так вот, дорогие товарищи, ничем не могу помочь.

Пришлось дожидаться редактора. Секретарь болтал по телефонам, уходил, приходил, читал влажную газетную полосу, пил чай с бутербродом, студенты сидели на жестком диванчике, молчали. Наконец уже совсем поздно явился редактор — тот самый, подпись которого

Володя видел каждый день. «Ответственный редактор М. С. Кушелев».

— Да, так я вас слушаю, — сказал М. С. Кушелев, когда три студента остановились перед его огромным столом.

А выслушав, помотал кудлатой головой и произнес:

— Ничем вам, товарищи, не могу помочь. Очень скорблю, но покойного Микешина не знаю. И не знал никогда.

— Микешин спас сотни человеческих жизней, если не тысячи,— загремел Володя.— Микешина знает весь город, и очень дурно, что вы, редактор газеты, не изволили его знать. Но это дело ваше — нам нужно объявление.

— Объявления не будет! — ответил М. С. Кушелев, углубляясь в чтение такой же влажной газетной полосы, которую давеча читал секретарь редакции. — И прошу дать мне, товарищи, возможность сосредоточиться — у меня идет официальный материал...

Пришлось ехать домой к декану Павлу Сергеевичу, потом в клинику к Постникову, по квартирам, к Ганичеву и другим профессорам и, наконец, к Жовтяку. Геннадий Тарасович, сидя один в большой столовой, кушал из мельхиорового судка вкусно пахнущую еду, запивал ее минеральной водой и читал иностранный журнал под названием «Фарфор и фаянс». На столе, подальше от еды, Володя заметил несколько пыльных, только что, видимо, развернутых статуэток, треснувший кувшинчик, кривую тарелку и кружку.

— А, смена наша! — воскликнул Жовтяк. — Очень рад, очень рад, приветствую молодых товарищей, здравствуйте, дорогие, рассаживайтесь...

Прикрыв свою пищу сверкающей крышкой, он выдернул из кольца салфетку, обтер губы и заговорил сытым, добродушным тенорком:

— Застали меня в часы редкого досуга. Как и все мы, подвержен я, ваш профессор, некоторым страстишкам. Сегодня удачный день, подвернулось кое-что — вот приволок в свою берлогу. Собираю старый фарфор и фаянс.

— Это как? — не понял туповатый в таких вопросах Пыч.

— А очень просто, коллега. Я коллекционер чистой воды. Есть, например, люди, которые собирают почтовые

марки, спичечные коробки, есть — картины, бронзу, деньги...

— Это которые копят? — опять не понял Пыч.

— Нет, дорогой мой, тут страсть невинная, высокая, платоническая — собирают не деньги, а денежные знаки. Я же — фарфор и фаянс ради красоты форм, искусства, грации, непосредственности старых мастеров. Вот, например, фигурка...

Толстыми пальцами Жовтяк взял со стола маленькую, пыльную, давно не мытую статуэтку, подул на нее, посмотрел счастливыми глазами и сказал:

— Мейссенский завод, середина восемнадцатого века. Видите? Два купидончика держат подсвечник. У одного ручка отбита чуть-чуть, у купидончика, но это ничего, право, ничего. Но позы какие, а? Непосредственность? Видите, какая непосредственность?

— Вижу непосредственность! — с натугой в голосе произнес Огурцов.

— А это уже императорский фарфоровый завод — флакончик для духов. И незабудочки на нем пущены, уникальный экземпляр...

Он бы еще долго показывал свои нынешние приобретения, если бы Пыч не вытащил из кармана некролог и не протянул его Геннадию Тарасовичу. Тот мгновенно как-то скис, пожевал губами, усомнился:

— Почему, в сущности, так торжественно? Просто бы извещение, а? Микешин, Микешин... — сказал он, вспоминая, но так, видимо, и не вспомнив, кто же такой был Микешин, спросил: — Где же мне прикажете подписать? Последним, что ли? После доцентов?

— Можете и первым! — сурово произнес Пыч. — Вот тут, перед Павлом Сергеевичем, вполне уместится ваша подпись. Подпишите только меленько, ведь для типографии неважно, набраны будут все фамилии все равно одним шрифтом.

— Это верно! — согласился Жовтяк и стал прилаживаться пролезть со своей фамилией первым. И звание свое — профессор — он тоже поставил. А потом еще раз принялся читать некролог, замечая в нем какие-то «нескромности».

Покуда Геннадий Тарасович читал и писал, Пыч с Володей и Огурцовым оглядывали столовую — бронзу, хрусталь, застекленные шкафы и шкафчики, в которых

собраны были «предметы чистой страсти» профессора — тарелки, сервизы, пастушки и старинные, голубого фарфора, вазы, блюда, чашки и чашечки — золотое, синее, розовое — много всякого. Между шкафами стояли кресла и диваны, крытые старой парчой, а на стенах висели картины, писанные маслом, в золотых рамах — толстые голые женщины, красномордый монах, ангелы, порхающие в голубом небе...

— Ну, так, — сказал Геннадий Тарасович, — я тут зачеркнул слово «незаменимая», просто — «утрата». Солиднее будет...

Пыч кивнул. На улице он сердито заметил:

— Ничего себе страстишка, нахватал барахла на многие тысячи целковых. Помню, раскулачивал одного гужееда, шестнадцать коров держал, так его супруга мне толковать принялась, что он «коровок прямо-таки обожает». Тоже — доктор!

Огурцов не согласился:

— Неправильно, Пыч. Он только не свое дело в жизни делает. Я вот видел в Москве такой магазин — антикварные предметы, что ли? Вот ему там торговать — это да, это по душе...

— В пользу государства? — спросил Пыч. — Мальчишка ты еще, вот кто! Страсти граждан такого типа направлены в основном на удовлетворение аппетитов своего кармана, это уж мне поверь. На черный день собирает, потому что жить ему тревожно. Не свое место ухватил, вот и беспокоится.

Некролог с «маститыми» подписями редактор М. С. Кушелев напечатал.

Хоронили Антона Романовича в теплое, совсем летнее утро. Народу было человек тридцать-сорок, не больше, а до кладбища дошло не более десятка. Миша Шервуд, Светлана, Алла Шершнева и Нюся были только на выносе. Евгений прошел полпути и уехал в город на трамвае. Дул мягкий, ровный ветерок, поскрипывали немазаные оси белого старого катафалка, лошади тоже были старые, с разбитыми ногами. Рядом с Володей вышагивал бородатый кучер из «скорой помощи» — Снимщиков, сердито рассказывал:

— Теперь я в «Гужтрансе» работаю, «скорая» наша исключительно на автомашины перешла. Шибко, конечно, ездиют, но вязнут тоже порядочно. Буксовка — это

называется. Располагаю так, что если бы покойничек наш в карете ездил — жить бы ему и жить. А то автомобиль,— конечно, воздух отравленный,— вот и получилась для товарища Микешина последняя запятая...

Володя не слушал, смотрел на вдову Антона Романовича, как она шла за гробом — седеющая, худенькая, коротко стриженная женщина, шла не плача, прямая, даже суровая. Но у свежей могилы она вдруг ослабела, ноги ее подкосились, и молча, без стона она упала лицом в сырую землю. Студенты бросились к ней, Постников властно остановил:

— Пусть полежит. Не надо ее сейчас трогать.

Огурцов сопел, отвернувшись, могильщики, переговариваясь грубыми голосами, собирали заступы, веревки, готовились уходить. Кто-то из них сказал:

— Прибавить надо, гражданин товарищ, грунт у нас тяжелый...

И опять стало тихо, только высоко на березе, в молодых ее листочках весело и задиристо распевала какая-то пичуга. Поодаль похаживал Пыч, курил, хмурился.

— Ну ладно, пожелаю здоровьичка! — сказал кучер Снимщиков. — Делу, как говорится, время, а потехе час. Пойду, помяну покойника — и на работу.

Потом, когда вдову Микешина удалось усадить на извозчика, Постников, Володя, Пыч и Огурцов еще прошлись по кладбищу. На могиле Прова Яковлевича Полунина теперь лежала тяжелая гранитная плита, а в изножье рос тоненький высокий тополь. И скамеечка была, на которую они втроем сели, уставшие и замученные за эти дни. Постников же ушел к могиле своей жены.

— Не написано, что профессор, — сказал Пыч, оглядывая плиту. — Помнишь, Устименко, как он смеялся, что в Германии есть чин тайного медицинского советника?

— Помню, —ответил Володя. — Я все про него помню. Я помню, как он вдруг почему-то рассердился и сказал, что человек может быть профессором и при этом никаким не врачом...

— Послушайте, а что такое смерть? — вдруг резко спросил Огурцов. — Неужели...

— Вот именно — неужели! — огрызнулся Пыч.

Постников вернулся не скоро, печальный, молчаливый, утер платком лоб, усы, тоже сел рядом с Володей.

— Почему же это,— спросил Устименко,— а, Иван Дмитриевич? Почему никто не пришел на похороны? Ведь мы-то знаем, каким Антон Романович был врачом и сколько он настоящего дела сделал...

Постников помолчал, свернул пальцами папироску, вставил ее в янтарный мундштук и ответил неторопливо, задумчиво:

— Те, к кому приезжает карета «скорой помощи», почти никогда не интересуются фамилией врача, разве только если решат жаловаться на него, что, разумеется, имеет место на нашей планете. А если все в порядке, если все в норме, то зачем, скажите пожалуйста, знать имя человека, который чего-то там «впрыснул» или «накапал капель», или даже «разрезал». Вот Чингис-Хана все знают; врача, доктора Гильотена, научного основоположника гильотинирования, тоже знают, так же почти, впрочем, как и некоего доктора Антуана Луи, упражнявшегося над трупами в способах наилучшего обезглавливания приговоренных к смерти. Знают и величайшего мошенника всех времен и народов — Талейрана, знают Фуше, Гришку Распутина, интересуются Ротшильдами, царями и царишками, провокатором Азефом, ну, а Микешин... что же... был эдакий в очках, а нынче и нет его.

Он близко и сурово заглянул Володе в глаза и добавил со вздохом:

— Так-то вот, Устименко.

— Нет, не так! — внезапно и жестко сказал Пыч. — Несогласен я с вами, Иван Дмитриевич. Это все, конечно, было, но этого не должно быть! И не для того мы взяли власть в свои руки, не для того существуют замечательные слова о диктатуре пролетариата, не для того мы, большевики, командуем печатью, чтобы вся эта труха отравляла человеческое сознание. Вот, верите не верите, а я слово вам даю: наступит время, и скоро наступит, и уже наступает, и уже оно есть, когда такие, как Микешин, станут народными героями. Еще не все это понимают, но поймут, *заставим* понять, и вы не расстраивайтесь...

Он оборвал свою речь так же внезапно, как начал, и вдруг, смутившись, покашлял. Огурцов и Володя молчали. А Постников вдруг необычайным для него веселым голосом ответил:

— Ах, большевики-большевики, удивительный вы народ. Все настоящее обязательно осуществите!

— Не осуществим, а уже осуществляем! — угрюмо ответил Пыч. — И осуществили многое. А что впереди, в будущем наворочаем, так это никому и не снилось.

— Трудно вам! — сказал Постников.

— Не жалуемся, однако. Но было бы легче, если бы интеллигенция сама извергала из своей среды таких профессоров, как, допустим, ваш Геннадий Тарасович. Куда было бы легче.

Пыч подтянул голенища своих порыжелых сапог, искоса посмотрел на Ивана Дмитриевича и спросил:

— Не обиделись? Я ведь от души.

Клятва

Как-то странно все кончилось, до обидного странно. Ректора, наверное, вызвали по начальству или вообще ему надоело сидеть в президиуме, потому что он передал председательствование декану, и тогда слова попросил Геннадий Тарасович Жовтяк. Говорил он долго, напыщенно и опять сравнивал свой любимый 1911 год с нынешним, потом перечислял «питомцев нашего института, ставших научными работниками», потом называл преподавателей и забыл назвать Полунина. С места закричали:

— А Пров Яковлевич?

— Полунина назовите!

— Почтим память Полунина!

— Я поименовал только ныне здравствующих,— произнес Жовтяк.— Что же касается до профессора Полунина, то я с удовольствием предложу почтить его светлую память именно вставанием.

«С удовольствием» прозвучало двусмысленно, по актовому залу пронесся гул. Геннадий Тарасович, сделав приличное случаю выражение лица, молча стоял у кафедры положенное время. Потом в меру грустным голосом предложил:

— Прошу сесть!

Сели. Жовтяк еще поговорил минут десять и ушел, провожаемый жидкими хлопками. Декан — Ираидин папаша — замямлил, сказал, что пора закругляться. Ректор все не возвращался, а он был умным человеком, и ничего подобного при нем, конечно бы, не произошло. Даже дипломы декан вручал торопясь, перевирая фамилии и пошучивая, хоть есть минуты в жизни человеческой, когда шутить вовсе не следует. Шутки эти возму-

тили даже Евгения. Впрочем, с Ираидиным папашей у него были свои счеты.

— Разрешите на этом наше торжественное заседание считать закрытым,— произнес картавя Павел Сергеевич.— Теперь в жизнь, молодые люди!

— М-да-а,— сказал Огурцов, потирая затылок.— Это верно Петр Первый отметил: служить — так не картавить, а картавить — так не служить. Значит, всё?

— Почему всё? — угрюмо возразил Устименко.— Это только начало!

Актовый зал опустел. Тетя Сима, уборщица, гремя скамейками, начала мыть пол шваброй. Пыч сидел на подоконнике, перелистывал заношенную общую тетрадь.

— Вот нашел,— сказал он,— постольку, поскольку с нами поступлено по-хамски, мы сами произнесем клятву.

Нюся сразу же испугалась. Она была аккуратная девочка и очень не любила непонятные слова, резкие фразы, неожиданные поступки.

— Новости! — подняв брови, удивилась она.— Какую еще клятву?

Пыч подумал, вздохнул, спросил:

— А тебе и поклясться страшно, Нюся? Думаешь, мы масоны?

Нюся на всякий случай махнула рукой и ушла из актового зала. Простучали ее каблучки, запахло хорошими духами, и Нюся исчезла, похваливая себя за то, что, как всегда, она оказалась умницей.

— Вот у меня давно выписано в тетрадку,— произнес Старик.— Давайте, если начальство не додумалось, сами сделаем. Оно, конечно, в общем-то устарело, но что-то тут есть.

Спрыгнув с подоконника, он велел строгим, командирским голосом:

— Будете повторять за мной. Это, видите ли, уважаемые коллеги, старое «факультетское обещание», по слухам, одобренное самим дедом Гиппократом. Повторяйте!

И Пыч стал читать:

— «Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукой права врача и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня сим званием...

— ...сим званием! — громко, дрогнувшими голосами произнесли все шестеро молодых врачей.

— «... я даю обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачать чести сословия, в которое нынче вступаю...»

У Пыча, у Старика Пыча, у самого железного человека на курсе, вдруг что-то пискнуло в горле, он отер слезу и передал бумагу Огурцову. А тетя Сима, уборщица, известная в институте своей ненавистью к студентам, уже толкала их по ногам шваброй и сердилась:

— Уходи отсюда, сколько надо просить...

— Брысь! — бешеным голосом гаркнул Старик.

Но настроение было уже сорвано, Гиппократову клятву читать никому не хотелось.

— Ладно, всё! — сказал Пыч.— Будем считать инцидент исперченным. Вырасту большой, попомню захватывающую и трогательную картину нашего выпуска. Был бы Полунин жив, он бы им показал.

— В отношении трехпалого свиста, как выражался товарищ Маяковский? — спросил Огурцов.

— Еще шваброй по ногам бьет! — жалостно сказал Старик.— Я не хвост собачий, я врач с дипломом, хотите покажу?

На лестнице всем стало уже смешно.

В парк Володя пошел один. И не для того, чтобы попрощаться со зданиями клиник — он нисколько не был сентиментален,— а просто чтобы посидеть немного и прийти в себя. Все-таки очень он устал за эти дни. Но едва он свернул в кленовую аллею, как напоролся на Ганичева. Пройти мимо было уже невозможно, а разговаривать очень не хотелось, тем более что Володя отлично знал, о чем станет говорить патологоанатом.

— Получили диплом?

— Получил.

— Красиво все было?

— Как в сказке,— грустно сказал Володя.

— У нас в институте это умеют! — согласился Ганичев.— Наплевать в душу в лучший день жизни молодого человека — это они мастаки.

— А вы? — неожиданно сгрубил Володя.

— Что я?

— А вы почему там не были? Вас боятся и уважают.

При вас бы никому не наплевали в душу. Почему же вы сидите здесь на лавочке?

— Послушайте, Устименко! — обозлился Ганичев.— Вы понимаете, что вы говорите? Я старый человек, я устал, там душно...

— Полунин с его больным сердцем там бы непременно был,— грубо прервал Ганичева Володя.— А насчет старости и усталости, извините, но мне это неприятно слушать, Федор Владимирович. Помните, как Полунин говорил, что величайший враг науки, прогресса, цивилизации и просто врачебного ремесла — вялость. А теперь вы, друг Полунина, проповедуете эту самую вялость. Ах, да что...

Он махнул рукой.

— Ладно, черт с вами,— виноватым, но и обиженным голосом сказал Ганичев.— Молодежь — народ безжалостный...

— А вам жалость нужна? Не рано ли?

Теперь они глядели друг другу в глаза.

— Ваш пожарный-старик Сердюк, о котором вы так трогательно мне рассказывали,— произнес Володя,— жалости, наверное, не просил. И не о том я,— с тоской и болью заговорил он,— поверьте, не обижайтесь, а о другом: почему так много людей судят, злятся, а сами сидят вот на лавочке, вместо того чтобы бороться с тем, на что они злятся и что судят? Объясните мне.

Его печальные глаза внимательно вглядывались в ганичевские. И Федор Владимирович не выдержал, отвернулся.

— В конце концов вы правы,— сказал он мягко,— не во всем, разумеется, но в некоторых частностях. Впрочем, я вас остановил не для того, чтобы узнать ваше мнение о моей особе. Мне нужен ответ: остаетесь вы у меня на кафедре или нет.

— Конечно, нет!

— Прекрасно! Ну, а если бы Полунин был жив, вы бы остались у него?

— И у него не остался бы,— подумав, ответил Устименко.— Лет через пять я бы, может быть, к нему приехал...

— Соизволили бы?

— Соизволил бы.

— Но почему?

— И вы и он учили нас другому.

— Нас! — воскликнул Ганичев.— Вас в расширительном смысле, а не вас лично.

— Сергей Иванович Спасокукоцкий был в свое время земским врачом,— сердито отрывая слова, заговорил Володя,— и вы сами нам о нем рассказывали. И сами доказывали, что глубокие практические корни его научных устремлений произрастают и по нынешнее время с тех самых пор, когда он был земским врачом. Именно вы нам говорили о многогранности научных интересов Спасокукоцкого, о глубине проникновения в сущность проблемы, э, да что я вам ваши же слова повторяю...

— Наука,— нудным голосом заговорил Ганичев, но Володя не слушал его: он понимал, что Федор Владимирович хочет ему добра, но хочет и себе ученика. А он, Устименко, не хотел быть ничьим учеником, он хотел делать дело.

И, не слушая, он пережидал, пока выскажется Ганичев, наслаждался тишиной, тем, что нынче никуда не надо спешить, теплым, радужным, душистым светом солнечных пятен, радовался, глядя на смешного, плешивого воробья-забияку, боком наступающего на целую стайку своих собратьев.

— И это все для того, чтобы потом у вас выспрашивать тему для диссертации? — спросил Устименко, когда Ганичев кончил свою речь.

— Но вы же не станете выспрашивать? Вы сами отыщете!

— Зачем же мне отыскивать, Федор Владимирович, если у меня нет для этого никакой внутренней потребности. Спасокукоцкий для скелетного вытяжения сам смастерил скобы с барашками от коньков и спицами из струны рояля. Я не знаю — научная это деятельность или нет, но она продиктована живой потребностью дела, а не желанием иметь степень. Или мытье рук нашатырным спиртом, или желобоватые зажимы для желудка, или, в конце концов, вопросы переливания крови. И то, что под его руководством делается, идет от требований жизни клиники, а клиника у него всегда связана с молодостью, с земской больницей. Разве не прав я? Или возьмите Пирогова? Всем известно, что он жестко относился ко всяким вымученным диссертациям и к ученым-гомункулюсам. А Руднев — очень легко и доброже-

лательно. Так я лично за Пирогова. Незачем плодить искусственных научных деятелей. И дорого, и науке вредно, и делу неполезно. Так я лично считаю и думаю.

— А кто вы такой, чтобы считать или не считать, лично думать или лично не думать,— совсем рассердился и расстроился Ганичев.— Кто вы, объясните мне?

— Дипломированный врач.

— Нескромно, Устименко.

— А почему мне нужно считать, что скромность в моем деле — хорошая штука? Вот приеду в глушь, в дыру, и буду до того скромным, что по каждому случаю стану при помощи санитарной авиации вызывать консультанта. Так?

Ганичев потянулся, зевнул, вздохнул:

— О, господи!

— Переутомились вы от меня? — сочувственно спросил Володя.

— Не переутомился, а как-то глупо все необыкновенно. Вы ведь одаренный человек...

— Так я же знаю! — воскликнул Володя.— Я в этом нисколько не сомневаюсь, иначе бы я бросил институт, потому что и вы, и Полунин, и Постников учили нас тому, что врач должен быть не только знающим, но и одаренным. А я хочу быть врачом...

— Ну ладно, убирайтесь,— сказал Ганичев,— я вас все равно прижму по комсомольской линии...

И действительно прижал.

В Затирухи!

Только после нескольких дней упорных боев Володе удалось получить назначение в деревню Затирухи, в двухстах километрах от железной дороги.

— И еще на пароме через реку нужно! — сладострастно посулил Ганичев.

— Переберемся! — ответил Володя.

В общем, ему было приятно, что из-за него идет такая кутерьма в институте. Пыч тоже «распределился» в далекую деревенскую больницу, Огурцов уехал в Каменку, но многие еще болтались, ходили на прием к начальству, отбывали в Москву с письмами.

На карте области Володя свои Затирухи не нашел. Выезжать ему предстояло через неделю. Тетка Аглая выслушала Володино повествование о его будущем без всякого восторга:

— И поедешь? — спросила она.

— Поеду.

— Но ведь там нет больницы?

— Есть амбулатория. Больницу построю.

— Сам?

— Сам.

— А вас учили строить?

— А тебя, бывшую прачку, учили управлять государством?

— Ну, государством я не управляю...

— Ну, а мне самому лично строить не придется. Буду управлять строительством и давать руководящие указания.

Аглая вздохнула.

Володя смотрел на нее жестко — перечить ему не следовало.

«Люблю я эти разговоры о том, что молодежь у нас не та!» — подумала Аглая и, еще раз вздохнув, пошла покупать Володе высокие сапоги, полушубок, меховую шапку, валенки. А Володя, словно отрезвев, ужаснулся: «Что же Варя? Как же теперь быть? Ведь это значит совсем без нее? Теперь, когда каждую минуту нужно с ней советоваться, теперь, когда все начинается с самого начала? Как же?» — растерянно и тоскливо думал он, не находя себе места дома.

И побежал к Степановым.

— Салютик! — сказал ему Евгений, открыв дверь.— Заходите, герр профессор. Есть некоторые крайне симпатичные новостишки...

По случаю жаркой погоды Евгений был в коротких штанах, которые ему сшила Валентина Андреевна, мамаша, из особой материи. Штаны эти назывались не штаны, а «шорты», так же, как свой плащ Женя называл почему-то «мантель». На волосах у него была сетка, и курил он теперь трубку, подаренную Додиком, с которым у Евгения после ряда крупных потасовок установились хоть и немного иронические, но, в общем, приятельские отношения.

Варвара тоже была дома; развалившись на тахте,

читала стихи. «Антология» было написано на переплете золотом. Дед Мефодий готовил окрошку.

— Как раз к самому обеду,— двусмысленно сказал он.— Окрошечки покушаешь, деточка...

— Ты чем расстроена? — спросил Володя Варвару.

— А как ты думаешь? — зло ответила она и ушла из комнаты.

— Так-то, друг ситный! — хлопая себя ладонями по ляжкам, сказал Евгений.— Если бы моя Ираидочка не оставила меня ради дачи и дитяти, я бы, наверное, и вовсе с ума сошел...

Он загадочно поглядывал на Володю.

— Что ж у тебя за новости? — уныло осведомился Устименко.

— И у меня, герр доктор, и у тебя...

Весь его облик выражал довольство самим собою, своими шортами, своими короткими крепкими ногами, своими чуть жирноватыми, но все-таки мускулами, самочувствием, здоровьем, ближайшим будущим, окрошкой, которую он станет есть.

— Значит, в Затирухи мы не едем.

— Это как же?

— А так же, Владимир Афанасьевич. Горздрав направил в соответствующие организации требование на двух специалистов персонально: ты будешь работать ординатором в первой городской имени Парижской коммуны больнице, а я, являясь санитарным врачом, иду в аппарат горздрава. Каково?

Володя угрюмо молчал.

Скрипнула дверь — у притолоки остановилась Варвара в другом, свежем, белом платье.

— «И на челе его высоком не отразилось ничего!»— продекламировал Евгений.— Ты как будто бы даже недоволен, товарищ будущий ординатор? Или ты считаешь, что сын человека, героически отдавшего свою жизнь за свободу Испании, должен ехать в Затирухи, а Нюся, Светлана, Алла и наш аккуратный Миша устроятся по городам?

Володя сидел опустив голову, не глядя на Евгения. А тот и совсем разошелся, очень расшумелся, стал даже покрикивать:

— Мне при Варваре невесело развивать эту тему,— говорил Евгений,— в сущности, это даже не слишком

прилично, только ведь с такими, как ты, приходится: подумай, святая твоя простота, или что-то здесь худшее, но подумай — в Затирухах нет даже клуба, так ведь?

— Нету! — кивнул Володя.

— И Дома культуры, разумеется, и кружка драматического, и спектаклей. Есть все это или, кроме твоей амбулатории, там не на что рассчитывать?

— А он, наверное, и не интересовался! — крикнула Варвара.— Зачем этому великому человеку такие подробности?

— Посмотри, на кого она похожа! — произнес Евгений и положил руку на Варино плечо.— Посмотри внимательно! Твое железное сердце ничем не проймешь, тебе наплевать, ты занят только собой, своим «внутренним миром», как патетически тебя изволит оправдывать Варвара, но меня ты не проведешь. Если у тебя есть дело на земле и призвание к этому делу, то у нее тоже есть и дело, и призвание. Эгоизм — вещь святая, но только до тех пор, пока эгоист не начинает ходить по трупам. А ты, насколько я понимаю, не такая простая штучка. Ты, пожалуй, самый умный у нас на курсе, ты по виду только овца. И твоя идейная поездка в Затирухи — это начало карьеры, да, да, не таращи на меня глаза, это начало большого пути «деревенского доктора». Ты с самого низу хочешь начать, не теряя времени на приспосабливание в городе, ты там пару годочков отбудешь, зато вернешься барином и пойдешь шагать. А она за эти два года с тобой, она, Варвара, погибнет в глуши... Ее...

— Перестань! — попросила Варвара.

— Ее талант пропадет! — воскликнул Женя.— И кто будет нести за все это ответственность? Кто? Пушкин? Неужели непонятно тебе, какое преступление ты совершаешь во имя своих эгоистических соображений и расчетов. Неужели...

— Ладно, хватит,— сказал Устименко, поднимаясь и с кривой, ненастоящей улыбкой вглядываясь в Варвару.— Я уж давно утверждал, что вы все одна семья — и ваша Валентина Андреевна, и Додик ваш, и ты с Евгением. Подлец Женя потому еще подлец, что во всех решительно людях подозревает скрытого подлеца. Вот ты сегодня употребил слово карьера, на твоей совести пусть оно останется, но ты, ты, Варя, как же ты промолчала?

Губы его по-детски задрожали, но он мгновенно справился с собою и заговорил тише, неожиданно спокойным голосом:

— Так я тебе скажу, почему ты промолчала. Ты потому не ответила своему братцу, что и сама так рассуждаешь в глубине души. А если ты так рассуждаешь, то для чего я тебе? Для чего я — подлец и приспособленец, рассчитавший свою жизнь вперед по карьеристским соображениям? Жизнь подлеца со мной хочешь разделить? В страданиях подлеца желаешь участвовать? Так ведь я, Варя, не тот. И ты не можешь это не понять. Ты даже понимаешь, но только Евгений сильнее, мама твоя сильнее, и вот сейчас ты мне веришь и понимаешь меня, я же вижу, а немного погодя они тебе все объяснят со своей точки зрения, и все будет внешне необыкновенно похоже, только это будет не про меня и не про других таких, как я, это будет про Женечку, но вы все думаете, что мир населен Женечками? Неправда! И не плачь, Варя, это сейчас совершенно уже ни к чему, я тебя нисколько не обижаю, я говорю то, что думаю; этот разговор, конечно, последний, и вам обоим надо же знать, что я думаю. Впрочем, может быть, и не надо. И, наверное, даже не надо. И вообще, вздор это про себя говорить, оправдываться, доказывать. Ясно, повторяю, только одно ясно, Варя, что если ты с ним согласилась и промолчала...

— Я не согласилась,— сказала Варя.— Я только в том...

— А мне и в том — много! — ответил Устименко.— Геологию ты свою бросила, учишься только формально — значит, пустила жизнь под откос, слушаешь кретинов, которые нашептывают тебе про твой якобы талант, а ведь таланта, Варя, нет, есть обезьяньи некоторые способности, но это так — для домашней вечеринки, а не для дела, не для труда, не для обязанностей...

— Я не понимаю, зачем тебе слушать этот вздор? — спросил Евгений, закуривая трубку, подаренную Додиком.— Это же, в конце концов, оскорбительно!

— Это все очень горько,— близко подойдя к Варе, почти шепотом сказал Володя.— Это очень горько, и, пожалуй, не было у меня более поганого дня в жизни, но ничего не поделаешь. До свидания!

— До свидания! — сказала она, поднимая на него

взгляд. Но он нарочно разминулся с ней глазами, потому что было трудно видеть это горе в еще детских Варькиных глазах.

Дед высунулся из кухни, велел собирать на стол «под окрошку».

— Ну что ж, салютик! — крикнул Евгений вслед Володе.

— Скотина! — сквозь зубы сказала брату Варвара.

Володю она догнала, когда он поднимался на трамвайную площадку. Он как бы даже и не удивился, услышав ее голос. Трамвай мотало и трясло на стыках и поворотах. Володя, глядя в сторону, поверх маленького Вариного уха с сережкой, говорил:

— Поедешь в Москву или куда-нибудь в большой город, поступишь, может быть, в высшее театральное учебное заведение, засверкают огни рампы, цветы поднесут, что там еще бывает? Я окажусь, к общему счастью, неправ. Но и тогда, тем более, зачем тебе Затирухи? Самое главное, о чем идет нынче речь,— по-разному мы с тобой относимся к жизни, и хоть было время, когда ты как бы меня понимала, так это вовсе ты меня не понимала, нисколько даже, а просто была детская игра в понимание. Разве неправда?

— Володя! — сказала она.

— Прощай, Варя! — ответил он.— Прощай! Если досуг будет — напиши. Я отвечу. А больше нам ни к чему разводить эти панихиды...

На ходу он спрыгнул с трамвая, пробежал рядом с вагоном несколько шагов и сразу отвернулся. Такой уж он человек — отворачивался даже в тех случаях, когда был неправ.

«Наверное, в моем положении следует напиться! — подумал Володя, увидев вывеску с бутылкой и пивной кружкой.— Или начать курить!» Но тут же он забыл об этих мыслях, подавленный тупым горем.

Прощай, Варя!

Несколько дней он никуда не выходил, валялся в своем закутке, думал, ночами не мог уснуть. Дважды крутил телефонную ручку, чтобы позвонить Варе, но так все-таки и не позвонил. А однажды в знойный пол-

день ему принесли пакет за пятью печатями из Москвы, из наркомата. Расписаться в получении пакета следовало дважды, и не карандашом, а чернилами.

В конверте была большая бумага, в которой говорилось, что Устименке Владимиру Афанасьевичу надлежит немедленно выехать в Москву в распоряжение Народного комиссариата здравоохранения к товарищу Усольцеву. К большой бумаге была приложена записка от Богословского. Николай Евгеньевич писал, что «согласно нашей с вами договоренности» он рекомендует Володю т. Усольцеву для выполнения той ответственной, важной и интересной работы, о которой они, то есть Володя и Николай Евгеньевич, «беседовали на пристани в Черном Яре». Датирована записка была еще девятым мая нынешнего года.

Под вечер к Володе домой пришли вдвоем Постников и Ганичев. Аглая Петровна укладывала Володино имущество в чемодан. Володя рылся в книгах.

— Куда это он собирается? — хитро щурясь, спросил Федор Владимирович.

— Да вот, такую штуку получил,— ответил Устименко, показывая пакет из наркомата.— Понять не могу, в чем дело.

— Дело нехитрое,— ответил Иван Дмитриевич.— Заграница.

— Какая еще заграница? — всплеснула руками Аглая.—Мальчишка совсем еще неприспособленный, а тут...

— Мальчишка неприспособленный, но толковый! — разглаживая усы, сказал Постников.— И положиться на него можно. Вот три человека его и рекомендовали — Богословский, который там уже работает, профессор Ганичев, который хотел изготовить из Устименки патологоанатома, и я, который вижу в вашем племяннике недурного, со временем, конечно, практического хирурга. Усольцев, подписавший письмо, в свое время был нашим учеником и, случается, с нами советуется... Все, надеюсь, понятно?

— А какая заграница? — спросил Володя.

— Во всяком случае не Париж,— ответил Ганичев.— Предполагаю — Азия, и трудная. Устраивает вас?

На прощание выпили шампанского. Володя был и грустен и рассеян. Постников молчал, Ганичев, протягивая Володе руку, произнес:

— Ну, ни пуха вам ни пера. Напишите оттуда. И поверьте, голубчик, мне жаль, искренне жаль, что вы не остались со мной.

В вагон Аглая вошла вместе с Володей.

— Хорошо отоспись дорогой,— попросила она,— совсем замученный стал мальчик, на иконку похож, а не на человека.

Более суток Володя проспал. Потом съел сразу все заготовленные теткой бутерброды, булку с марципаном, четыре крутые яйца и вновь завалился спать: он отсыпался за все это время, не видел никаких снов, но и радости не испытал, окончательно проснувшись. Что-то очень дорогое, очень главное и страшно важное в его жизни навсегда миновало.

В Москве на вокзале он побрился, постригся, начистил башмаки у мальчишки-айсора, купил на всякий случай коробку папирос и поехал к товарищу Усольцеву. Его приняли сразу. Бывший ученик Ганичева оказался плотным человеком лет тридцати пяти, с простым и грубоватым лицом солдата, стриженный под машинку, в рубахе сурового полотна.

—Мы думаем направить вас за рубеж, в Н-скую республику,— сказал Усольцев, быстро и неприветливо обшаривая глазами Володино лицо.— Мы надеемся, что вы оправдаете оказанное вам доверие и употребите все силы для того, чтобы потом вас там поминали только добрыми словами. И вас и, следовательно, ту страну, в которой вы получили образование и которая сформировала вас как гражданина...

Усольцев говорил казенными словами, но голос при этом у него совсем не был казенным и глаза сделались неожиданно веселыми.

— Папиросочки у вас не найдется? — спросил он вдруг.

Володя помнил, что купил коробку папирос, но ответил, что не курит: было неприятно думать — вот купил папиросы и угодил начальству.

— Заграница вовсе не такая, какой мы себе ее представляем,— продолжал Усольцев.— Коктейль-холла там вы не найдете, кинематограф вряд ли, а вот шаманов и разного международного сброда порядочно. Жить будет крайне трудно, работать тоже очень нелегко. Помощников в смысле младшего медицинского персонала

вы там не найдете до тех пор, пока не докажете, что вы лечите лучше, чем шаманы, и пока, следовательно, тамошние товарищи не пожелают вам помогать, выучившись у вас же.

Он смотрел на Володю внимательно, не мигая, ждал.

— Решили?

— Решил.

— Что же вы решили?

— Я поеду.

— Не испугаетесь? Не станете писать маме и папе — заберите меня отсюда? Подумайте, вы ведь очень молоды.

— У меня нет мамы и папы,— сухо ответил Володя.— Что же касается до моей молодости, то я врач, остальное же не имеет никакого значения.

— Ну что ж, оформляйтесь! — сказал Усольцев.— Срок договора — три года.

Оформляли Володю довольно долго, но гораздо больше и времени, и энергии, и сил понадобилось Устименке для того, чтобы снарядить самого себя в этот нелегкий путь. А когда и хирургические наборы и медикаменты, и книги, и одежда были куплены, то всего этого оказалось так много, что Володе совершенно негде было повернуться в маленьком номере только что выстроенной комфортабельной гостиницы «Москва».

Проводить племянника за границу приехала тетка Аглая, а из Крондштадта, как будто даже случайно, вдруг появился Родион Мефодьевич. Теперь он уже был капитаном первого ранга, весело жаловался, что занят круглые сутки, и упрашивал Володю, чтобы он уговорил упрямую тетку переехать в прекрасный город Ленинград, или в Рамбов — Ораниенбаум, если боится она жить на острове. Аглая же смеялась, и Володе было видно, как она украдкой целует мужа в седой висок. Володе Степанов привез подарок — радиоприемник и запас анодных сухих батарей, чтобы слушать радиопередачи без электричества.

— Там очень даже понадобится,— говорил Родион Мефодиевич, обучая Володю пользоваться приемником.—Там, брат, вдали от всего эта штуковина для тебя будет первое дело...

Володе было немножко грустно и чуть-чуть жалко себя, но и эта грусть и эта жалость совершенно тонули

в том огромном, особом чувстве *ответственности,* которое охватывало его, когда он думал, как переедет границу и как начнет работать за границей — туманной, неопределенной и наверняка очень трудной. Становилось даже жутко при мысли об одиночестве там, за рубежом, но он гнал все это прочь от себя — ведь Богословский-то доверяет ему, почему же он сам должен не доверять себе?

— Пошли бы вы, прошлись по Москве,— тоном старика сказал Володя тетке и Степанову,— что вам со мной тут тлеть?

Но Родион Мефодиевич и тетка никуда не ушли. Выпив бутылку нарзану, Степанов сбросил свой красивый китель с широкой золотой нашивкой, и, оставшись в тельняшке, поигрывая мускулами (он очень стеснялся татуировки на руках — всеми этими змеями, тиграми, разорванными цепями и лозунгами синего цвета), Родион Мефодиевич оглядел Володино, как он выразился, «хозяйство», подумал и с удивительной ловкостью сначала все распределил, а потом начал паковать личное и казенное имущество. А тетка тут же обшивала ящики, чемоданы и тюки мешковиной. Работая, они оба — муж и жена — смешно пели какую-то не слышанную Володей песенку, и по этой новой песенке было видно, что у них своя, особая, уже неизвестная Володе жизнь.

Запевал тонко и быстро Родион Мефодиевич:

За околицей селенья
Небывалое явленье —
Из-за лесу-лесу вдруг
Раздается трубный звук...

А тетка, откидывая назад голову и лукаво блестя глазами, подхватывала припев:

Дур-дум-дум, дур-дум-дум,
Дур-дум-дум, ах дур-дум-дум!

Пела она нарочно густым голосом и мило-вопросительно, а Родион Мефодиевич выводил высоко, как делывал это, «гоняя чертей», дед Мефодий:

Раздаются тары-бары,
В село въехали гусары,
Все красавцы-усачи,
Впереди всех трубачи...

И вновь, перекусывая суровую нитку острыми, мелкими белыми зубами, подхватывала Аглая:

Дур-дум-дум, дур-дум-дум,
Дур-дум-дум, ах дур-дум-дум!

Степанов опять запевал:

Командирам избы дали,
По хлевам солдаты стали,
А в овине без свечи
Разместились трубачи...

Улыбаясь, слушал Володя:

Дур-дум-дум, дур-дум-дум,
Дур-дум-дум, ах дур-дум-дум!

— Ловко? — спросил Степанов.

— Это где же вы научились? — удивился Володя.

— А там, Владимир, где воля, и холя, и доля,— покраснев, ответила Аглая.— Сами научились...

Обедать пошли в большой, новый, полупустой, ресторан. Несмотря на то, что народу было очень мало, официант долго не подходил, и Родион Мефодиевич начал багроветь и сердиться. Старший официант с удивительно нахальным лицом и сытыми брыльями над крахмальным воротничком сообщил, что нынче большой наплыв интуристов и что «а» (при этом он подвернул толстый указательный палец на руке) кухня не справляется и «б» (при этом он подвернул такой же пухлый безымянный палец) в первую очередь здесь обслуживаются именно интуристы. Тут он поклонился в спину сытого господина в ворсистом пиджаке.

— А вы бы повесили вывеску, что советские граждане обслуживаются во вторую очередь! — посоветовал Степанов.— Именно так: «во вторую»!

Но Аглая положила свою ладонь на его смуглую руку, и он заморгал и сразу развеселился.

— Ты когда-нибудь задумывалась о том, что такое душевное лакейство,— спросил он жену, и они, словно позабыв о Володе, стали разговаривать друг с другом. А он хлебал свой рассольник и думал о Варе, о том, что могли бы так же сидеть тут с ней вдвоем и говорить о разных вещах, а потом вместе поехать на то трудное, увлекательное и загадочное дело, которое ожидало его.

На эстраду унылой цепочкой поднялись оркестранты, задвигали стульями, кто-то главный — первая скрипка, что ли,— серьезно, громко и начальственно высморкался.

— Еще один коньяк! — велел иностранец в ворсистом пиджаке.

— Наверно, это все, Родион,— словно издали донесся до Володи теткин голос.— Ты, кстати, всегда, если раздражен, делаешься ужасно несправедливым...

Володя доел котлету, зевнул и сказал:

— Между прочим, я тоже тут сижу. Вы оба приехали из разных городов для того, чтобы проводить меня, и совсем сразу же забыли об этом. Нехорошо же!

На вокзале Степанов и Аглая простояли до самого отхода поезда. Тетка была в белом плаще, в шелковом платке, накинутом на плечи, в темных волосах ее красиво блестел какой-то диковинный гребень — она иногда любила такие цыганские штуки. Родион Мефодиевич держался очень прямо, а когда поезд тронулся, приложил ладонь к козырьку фуражки, словно на параде. Еще долго Володя видел Аглаю, как она бежала по перрону, расталкивая провожающих и высоко подняв руку. Яркий свет электрических лампионов озарял ее поднятое кверху, загорелое, чуть скуластое лицо с блестящими от слез глазами...

А потом тетка потерялась в толпе, ветер сильно ударил в коридор вагона, щелкнул занавесками. Убегали назад огни Москвы, оставалась позади Москва, город, который посылал Володю, Владимира Афанасьевича, врача Устименко В. А., работать за границу.

Володя приехал за границу!

Через шесть дней пути Володя зарос колючей бородой. Он, пожалуй, намеренно не брился, несмотря на то, что была и у него бритва, и сосед по купе — пожилой военный с круглой плешью — не раз предлагал свою. К границе следовало быть посолиднее!

Но тут, на границе, внешность врача Устименки не привлекла ничьего внимания. Пограничники проверили документы, таможенники — тюки и чемоданы. Была глубокая, ветреная, мозглая ночь. Где-то неподалеку выла и грохотала горная речка. Володя пил крепкий чай

из большого, толстого стекла стакана и ждал. Поезд, уютно светя ярко-желтыми теплыми окнами, еще стоял у перрона станции «Медвежатное». В зале ресторана прохаживались маленький японец в очках с очень умным сморщенным личиком, рослые рыжие англичане, с ними красивая, статная, сильно накрашенная женщина...

Ударили два звонка, третий, длинно засвистал главный кондуктор. Сотрясая землю, тяжелый состав двинулся во тьму дождливой ночи, к арке, разделявшей государства. Володя допил чай, расплатился последними советскими деньгами. Погодя пришли четыре человека, низко поклонились Володе, стали грузить имущество в кузов полуторки. Говорили эти люди не по-русски, они были уже «заграничные». Наконец, когда все было уложено, закрыто брезентом и затянуто веревками, пограничник с тремя кубиками пожал Володину руку, сказал рязанским говорком:

— Ну, ни пуха ни пера, товарищ доктор!

— Желаю здравия! — ответил Володя, как говаривал иногда Родион Мефодиевич. Полуторка медленно тронулась и минут через пятнадцать остановилась. Люди с керосиновыми фонарями, в клеенчатых плащах, в фуражках с большими козырьками — пограничники сопредельной стороны — долго проверяли Володины бумаги, таможенники щупали и переворачивали тюки. Володя подремывал. Горная речушка, казалось, ревела над самой головой. Наверное, прошло много времени, прежде чем офицер-пограничник, козыряя двумя пальцами, совсем иначе, чем делали это наши, с любопытством вгляделся в советского врача, оскалил желтенькие, прокуренные, редкие зубы, дважды помахал фонарем. Шофер включил фары, в сыром воздухе медленно, со скрипом поднялся тяжелый шлагбаум. Машина, натруженно гудя всеми своими пожилыми частями тела, словно нехотя, поднималась в беззвездном, сыром мраке в гору. К утру стало холодно, к вечеру — потеплело. Володины спутники спали в кузове, играли там в какую-то непонятную игру, на привалах ели, отрывая зубами полусырую баранину. На второй день пути Устименко увидел — в небе, над петляющей дорогой плавно парил огромный, как самолет, орел. Потом ночью машина переползла высохшее русло реки, попала в густую грязь, вновь выбралась на проселочную дорогу. Вместе со всеми Воло-

дя толкал буксующий грузовик вперед, потом подкладывал доски, копал, пихал тупой радиатор назад. И, как те, кто ехал с ним, научился кричать:

— Эхе-хе хоп! Хоп ж!

На рассвете они миновали большое кочевье. Из юрт струились дымы, кони с буйными гривами, с вьющимися по ветру длинными хвостами, огнеглазые, долго бежали перед грузовиком. В другом кочевье Володя ел странную, горько-соленую и очень вкусную похлебку с кусками бараньего сала, в третьем — пил чай. Широкоскулые люди внимательно осматривали его, некоторые трогали крепкие, из юфти, сапоги, хвалили. Володя никому не улыбался и не кланялся, не гладил по головам детей и не произносил те слова, которые успел уже усвоить. Самым унизительным казалось ему подлизываться перед народом. Он был самим собою, даже чуть строже. Он внимательно прислушивался, приглядывался, запоминая, как едят, как пьют, как здороваются, как благодарят. Он искал те черты, за которые потом следовало уважать эту страну и ее людей, он искал характер народа, его отличительные, главные признаки. Пока это было трудно, даже невозможно — найти и понять, но одно ему стало ясно: все эти миссионерско-интеллигентские рассуждения о «больших детях» — вранье. С этими не слишком болтливыми, гостеприимными и суровыми людьми следовало держаться наравне, спокойно, серьезно и уважительно.

К исходу третьих суток пути, отдыхая у юрты на кошме, Володя увидел шаманов. Они стояли неподалеку и рассматривали русского врача, переговариваясь между собой. Вечерний степной ветер пошевеливал их колдовскими атрибутами — висевшими на поясах шкурками дятлов, сухими кореньями, медвежьими лапами, когтями беркутов. И какой-то звоночек все время мелодично позванивал в грязном, словно засаленном бубне старого шамана.

«Это мои враги,— подумал Володя.— С ними мне предстоит бороться».

— Пи-ра-ми-дон! — вдруг сказал шаман помоложе и поклонился Володе.

— А? — не понял Устименко, так необычайно было это слово здесь, среди кочевников, на степном ветру.

— Пи-ра-ми-дон! — повторил шаман и, сделав стра-

дающее лицо, приложил ладонь к виску: — Пирамидон!

Кивнув, Володя пошел к полуторке. Пришлось довольно долго повозиться, прежде чем ему удалось вытащить из оцинкованного ящика коробку с таблетками. И конвертик аптечный Володя тоже достал. На ветру, под тоскливый вой облезлой собаки, он написал по латыни Pyramidoni 0,3. Шаман низко поклонился, сунул сразу две таблетки за щеку и начал что-то длинное объяснять шоферу. Погодя шофер растолковал Устименке, что шаман не советует Володе сидеть на кошме, так как сидящий на кошме есть малый шаман, а большой шаман, старший, должен садиться только на белую кобылью шкуру. Тот, кто сидит на белой шкуре, куда больше зарабатывает, чем тот, который унижается до кошмы. Так шаман отблагодарил Володю за пирамидон.

...Ночевали они в степи у речки Кзырла-Хаа. На рассвете Володя увидел огромные стада овец, дымы пастушечьих костров, увидел теряющиеся в тумане, слабо вычерченные громады далеких гор.

Немного позже они выехали на удивительную дорогу, выложенную потрескавшимися, плоскими камнями. Возле дороги словно бы дремал серый, каменный, ушастый, с безгубым ртом, с провалившимися косыми глазницами маленький, одинокий карлик.

— Чингис-Хан! — сказал шофер Володе.

И знаками объяснил, что эта дорога тоже была построена людьми Чингис-Хана, но не сейчас, а давно, совсем давно.

Володя кивнул — ему вспомнился вдруг Постников и его слова о том, как долго человечество помнит всяких чингис-ханов.

Навстречу неслись горные отроги, крутые, мощные, высокие. Над снеговыми шапками курились облака. Володя знал — сегодня они перевалят гряду и будут в столице.

Путь в Кхару

Ночь он провел в гостинице, в номере с ванной, с большим окном, с феном-вентилятором. И, проснувшись, долго не понимал, где он, какой это город, зачем он здесь.

В департаменте народного здравоохранения его принял сухонький чиновник в золотых очках, за которыми поблескивали внимательные, умные и неприятные бусинки темных глазок. Речь чиновника лилась плавно, переводчик — грузный мужчина в халате, накинутом поверх пиджака,— говорил короткими, рублеными фразами.

— Господин представитель, департамент сожалеет. Русский врач будет иметь трудный путь и трудную работу. Очень трудное. Слишком трудное. Велико слишком трудное. Наше общее сожаление безгранично. Четыреста километров верхом, или ждать санного пути по реке на упряжках. Тоже большой мороз. Плохо. Летом на лошади через тайгу и Охотничий перевал.

Чиновник поклонился, в его худых, с крупными суставами пальцах быстро бежали молочного цвета четки.

— Весной и осенью проезд невозможен! — сказал переводчик.— Реки разливаются, болота непроходимы. Так, а? Охотничьи перевал нельзя, Кхара отдаленное место, так, да? Кхара не имела врача никогда. Русский врач будет иметь много работы...

Опять полилась тихоструйная речь чиновника, опять зашевелил он пергаментными губами, но переводчик ничего перевести не успел. Властной рукой широко распахнулась дверь, вошел человек лет тридцати, в широком свитере, в болотных сапогах, с жестким выра-

жением изрезанного ранними морщинами, невеселого лица.

Стряхивая пепел сигареты на пол, не обратив никакого внимания на подобострастные поклоны чиновника и переводчика, сел, заговорил негромко, приятным, сиповатым голосом:

— Здравствуйте, товарищ. Они пугают, наверное, да? Но вы не бойтесь, товарищ. Я учился в великой Москве, я знаю, что для вас, товарищ, это не страшно...

Он с видимым удовольствием произносил слово «товарищ» и часто коротким движением дотрагивался до Володиного локтя.

— Сложно, да, и трудно, да, но не страшно. Хотя может быть, и немного страшно, только не вам, совершившим такую революцию...

Переводчик кашлянул, человек в свитере вдруг рассердился:

— Вы можете идти отсюда, пожалуйста, вы мне не нужны, а господин инспектор департамента посидит так. Можете совсем идти.

Переводчик низко поклонился, прижал руки к груди и не ушел. Сухонький чиновник продолжал стоять. В широкое, настежь открытое окно били потоком солнечные лучи, с широкой улицы доносился ленивый топот верблюдов, резкие гортанные крики погонщиков, мелодичное перезванивание верблюжьих колокольцев. Человек в свитере говорил, морща густые брови, глядя прямо перед собой — в поток горячего солнечного света:

— Раньше здесь, в столице, у нас был один врач на всю нашу страну. Позже, товарищ, мы купили услуги фельдшера из иностранного легиона, проходимец, авантюрист, конечно, шпион, негодяй, да! Он ездил на лошадях со своими слугами и телохранителями, они все имели винчестеры, он продавал лекарства от всех болезней за шкурки соболей и белок. Привить оспу стоило один соболь. Его люди хватали и грабили все, что попадалось, товарищ, да и это имело название гонорар. В Москве меня учили, что есть шаманская медицина, ламская медицина, но про такую медицину в России, товарищ, не знали. А наш народ знал. Этот Моррисон повез опиум, тоже и морфий повез, и его люди кричали, что великий врачеватель торгует счастливыми снами. Один счастливый сон стоил три соболя, да, товарищ,

а если два счастливых сна, тогда пять соболей. Моррисон был страшнее шамана, страшнее самого страшного ламы, Моррисон говорил, что он целитель, а он был смерть для нашего народа, вот как, товарищ, да. Он сделал так, что наш народ лечится у шаманов и лам, а за счастливыми снами приходит к русским врачам. Но русские товарищи не дают счастливых снов, это хорошо, правда, так? Они не берут соболей, белок, не берут ничего. Наш могущественный сосед бескорыстен, он один бескорыстен, и его люди бескорыстны, и они учат бескорыстию, товарищ, и каждый ваш человек здесь учит нас нашему будущему, да, так, а? Наш великий сосед помогает нам в нашей борьбе с невежеством, товарищ, с темнотой, с болезнями. И мы...

Человек в свитере закурил другую сигарету, помолчал, словно позабыв, о чем говорил, потом рассердился до того, что красные пятна проступили под его желтоватой кожей:

— Но нам трудно от самих себя, вы понимаете? Мы разные тут, товарищ; я думаю, что сразу видно. Не все еще смотрят в ту сторону, куда следует смотреть. Некоторые смотрят туда, куда уехал негодяй из иностранного легиона, некоторые, которым это выгодно, да. Но чем больше наш народ, товарищ, видит добра и дел от вас, тем пристальнее он смотрит в вашу сторону. Вот, это очень мало я вам сказал, товарищ, но вы поняли так, да, а?

— Да, я понял! — ответил Устименко.

— Еще: ламская медицина и шаманы не так просто, но и не так совсем невозможно трудно, товарищ. Наверное, ты будешь долго ждать, но это надо. Иногда, может быть, опасно. Но товарищ не должен испугаться, потому что если ты испугаешься, то ламы, и шаманы, и другие будут очень рады, вот, да, а, товарищ, ты и это понял?

— Понял! — твердо ответил Устименко и спросил: — Где бы я мог повидать доктора Богословского?

— Доктора Богословского? — переспросил человек в свитере и радостно, широко, первый раз за весь разговор улыбнулся.— Доктора Богословского видит вся наша страна, все наши люди, все юрты, но он не может быть в департаменте, нет, он только работает, да, вот,

он всегда ездит и работает. Он бывает у всех врачей, он помогает всем, и очень помогает. Мы приедем к тебе тоже, не так скоро, но мы приедем, да?

— Приезжайте! — сказал Володя.— И последний вопрос: кому я должен сдать медикаменты?

— Медикаменты примет чиновник из департамента,— вставая, ответил человек в свитере.— Если понадобится, вы мне напишите сюда. Тод-Жин — меня зовут. Пишите по-русски все, что нужно. Тод-Жин, вы запомнили?

Он протянул Устименке сильную, тонкую, горячую, очень сухую руку. Инспектор департамента поклонился трижды, куда ниже, чем следовало. Переводчик, пятясь, распахнул перед Володей дверь.

До позднего вечера Володя сдавал медикаменты, а на рассвете его разбудили. Во дворе гостиницы проводники, бранясь, уже грузили маленьких, крепких вьючных лошадок. Плевался облезлый верблюд, какие-то бритоголовые, грязные люди, сидя на корточках, играли в кости, маленький старичок шепотом предложил Володе купить золото в слитках,— все было действительно как во сне...

Когда караван готовился к выходу, вдруг пришел Тод-Жин. На нем была потертая кожаная куртка, на бедре висел пистолет, проводники, увидев его, благоговейно застыли. Холодное солнце едва всходило, воздух был прозрачен, в тишине Тод-Жин сказал проводникам короткую речь, несколько раз при этом кивнув в сторону Володи. И проводники каждый раз при этом тоже смотрели на Володю.

— Теперь прощай, товарищ! — сказал Тод-Жин, когда Володя садился в седло.

Снизу вверх он взглянул в Володины глаза светлым, жестким и бодрящим, словно ключевая вода, взглядом. Караван медленно двинулся мимо Тод-Жина, и Володе почему-то вспомнился первомайский военный парад.

Четыреста километров они прошли за шесть дней. На второй Володя сидел в седле боком, на третий лежал плашмя, животом. «Страшно — нет, товарищ, но трудно — да»,— вспоминался ему голос Тод-Жина. Проводники пересмеивались необидно, давали какие-то советы, которых Устименко не понимал, делали привалы чаще, чем нужно. Кроме всего прочего, мучил проклятый гнус.

В накомарнике было душно, у костра Володя не умел сидеть по ту сторону, куда дымили сырые ветви, лицо его безобразно вздулось от укусов. Есть полусырое мясо ему было противно, он только бесконечно пил воду из фляги и тихонько ругался про себя.

На перевале одна лошадь сорвалась в пропасть, и Устименко с ужасом подумал, что лишился автоклава и теперь не в чем стерилизовать инструменты. Погибли еще бутыли с нашатырным спиртом и удобный походный операционный стол.

Великий врач

К вечеру шестого дня пути Устименке открылись юрты и дома Кхары, поселка, где он должен был организовать свою амбулаторию и стационар. Непонятная робость вдруг овладела им. Как он справится здесь? Первый врач! Со смутным, тревожным чувством вглядывался он в низкие строения, далеко разбросанные под тяжелыми, набухшими влагой тучами, вслушивался в хриплый лай клыкастых, драных собак, смотрел на жителей Кхары, которые, в свою очередь, с почтительным удивлением смотрели на длинный караван и на русского врача, о приезде которого громко, не слезая с коней, оповещали проводники:

— Вот вы видите перед собой искуснейшего целителя и врачевателя! — на разные голоса устало, но бодро кричали они. — Вот, радуйтесь!

— Радуйтесь и смотрите на него!

— Смотрите, сколько полезных лекарств он везет! И все эти лекарства он будет давать страждущим, никого не обделит и никого не обидит!

— Идите к великому врачевателю, все недужные!

— И хромые!

— И глухие!

— И слепые!

— Нет такой болезни, которую не вылечил бы великий врач!

Боже мой, если бы знал Володя Устименко, едва сидящий в своем высоком седле, что кричали проводники, если бы он только знал! Но откуда он мог это знать?

Он ведь не понимал, что эти парни, с которыми он ел, спал, трудился и молчал, уже успели оценить силу его души, простоту нрава, смелое сердце, так же как не было известно Володе распоряжение Тод-Жина о том, чтобы приезд Володи в Кхару был как следует объявлен. Разумеется, проводники постарались. Тод-Жин не был таким человеком, приказ которого выполнялся вполсилы. Объявлять так уж объявлять! И проводники объявили Володю не хуже, чем какого-нибудь известного ламу...

Смеркалось, шел дождь...

Караван, двигаясь в плотной толпе любопытных, добрался до площади.

На площади остановились. Володин жеребец стал нежно покусывать холку кобылицы старшего проводника. Кругом, под холодным дождем, неподвижно, безмолвно стыла толпа; люди непонятно, оценивающе оглядывали Володю, его ватник, сапоги, ружье за спиной, седло, уздечку, жеребца...

— С приездочком,— протискиваясь через толпу, крепко нажимая на людей огромным, сильным плечом, кланяясь и весело блестя глазами, сказал Володе бородатый, цыганского вида, кудрявый, в поддевке, словно из пьесы Островского, мужчина.— Езжай за мной, доктор, хлеба-соли прошу кушать, гостя дорогого ждем... Да не гляди с подозрением, Маркелов мне фамилия, старой веры мы, не от вас сюда ушли, от царя — черт ему батько...

Статная, красивая, волоокая девица встретила Устименку, действительно, хлебом-солью, низко поклонилась, подала блюдо с караваем на полотенце, с солоницей. Не зная, что делать, моргая мохнатыми своими ресницами, глупо улыбаясь, Володя говорил:

— Ну что вы! Вот действительно! Зачем!

А Маркелов сзади настаивал:

— Принимайте, как можно, принимайте, да дочку целуйте!

Володя поцеловал в тугую щеку Пелагею Маркелову, сказал хозяину дома, что «ведь беспокойство совершенно лишнее», и оглянулся, ища своих проводников. Они все сидели в седлах, уставшие, улыбались.

— Я не один, товарищ Маркелов, с друзьями...

— Ничего, покормим, на всех хватит,— отозвался

Егор Фомич,— только, батюшка мой, не обессудь, они иноверцы, быдло, в избу не пущу.

В суматохе раздевания, поклонов в сенях огромной, под железом, богатой избы, в смущении перед тем, что надо было совершить «обряд усаживания» после шести суток езды на коне, усевшись-таки боком за стол, уставленный соленьями и моченьями, жареным и вареным, пирогами и курниками, водками и наливками, Устименко поначалу не понял слов Маркелова насчет «иноверцев», а когда выпил первую рюмку обжигающего горло виски «Белая лошадь»,— удивился: за столом сидели всего лишь Маркелов с расплывшейся своей супругой да дочкой, да забитого вида приказчик. Но, разгадав вопросительный взгляд Устименки, Егор Фомич добродушно ответил:

— Кормим, не обидим, понимаем, а ты, матка, вишь, погляди, какого нам доброго суседа бог послал: об проводниках и то сердце болеет, хотя они и туземцы...

На столе, среди угощений, жарко пылала городская, петербургская («С.-Петербург»,—прочел Володя на серебряной ножке) лампа-молния. Еда была приторно-жирная, но во все еще клали масло, поливали жареным салом, шкварками, валили сметану. На окнах висели занавески — шелковые, что ли, или парчовые, Володя не знал,— по стенам, по коврам стенным налеплены были семейные фотографии, и в самом центре самого главного, пестрейшего ковра в золотой раме Володя заметил картину «Плес на Волге» — репродукцию, раскрашенную домашним способом.

— Живем, не жалуемся,— потея от обильной еды, сильно работая крепкими челюстями, принюхиваясь то к куску пирога, то к жареной рыбе, то к пышному блину, говорил хозяин.— И деды не жаловались, и отцы. По России, конечно, вроде бы скушновато, но и тут с дикими с этими попривыкли, мы им за отцов родных, они нас, как дети, почитают, жаловаться грех. Да что здесь,— нас в столице все знают, мы им благодетели, от нас им великая польза идет, от нашего сословия, от капитала, что мы налоги платим, без обману, потому что с обманом жить, конечно, грех...

Володя ел молча, глядел во все глаза. Разве думал он раньше, что такое и в самом деле бывает — с этими занавесками, с коврами, со старинным, еще с трубой,

граммофоном, с шомпольными, дедовскими ружьями, развешанными по стенкам. И здесь же, на столике, на кружевной скатерочке самоновейший фотографический аппарат с цейсовской оптикой; здесь же прекрасное, тоже новое, зауэровское ружье и над диваном две автоматические винтовки, поверх которых в богатой раме поясной портрет старца, смахивающего поганой рожей на фотографии Гришки Распутина.

— Да чем же вы занимаетесь? — спросил наконец Устименко.

— Мы-то? Мы, гость дорогой, торговлей занимаемся, мехами; дом наш, бывший под названием Маркелов с сыновьями, повсеместно известен, даже за океаном в Соединенных Штатах, с Великобританией торгуем, с господами японскими меховщиками, все честь по чести, больших оборотов достигли. Давеча приезжал к нам приказчик старший фирмы братьев Гурицу, жил тут, поохотились мы с ним, попарились в моей бане, добрую партию соболей отвез...

Пелагея, не отрываясь взглядом от Володи, щипала пальцами бахрому старинного платка, ничего совершенно не ела, только порою зубами прихватывала кружку с холодным пенным квасом.

После ужина Егор Фомич сотворил краткую молитву, утерся полотенцем, снял с гвоздя картуз, зажег фонарь, отправился с Володей показывать, где будет теперь больница и амбулатория. Устименко, совершенно ничего не понимая в странной этой «загранице», покорно пошел. В мокрой тьме маркеловского двора их обоих обступили проводники, зашагали по чавкающей грязи к жидкому, из жердей, сараю. Ворота отворились с надрывающим душу скрипом, в угол — во мрак с писком кинулись жирные крысы. Маркелов, высоко подняв фонарь, сказал:

— Здесь! И то за глаза диким этим. Не стоят они заботы, не стоят и работы. К холодным временам печку поставишь, у меня есть железная, не новая, правда, но для них лучше не надо. Жить станешь у меня, в светелке, кормиться тож. На пище — видел? — поправишься хорошо. Обратно же еда русская, не в пример здешнему народишку.

Проводники вдруг что-то заговорили быстро и непокорно. Самый худенький из них — про себя Володя

называл его Юра — дернул Маркелова за рукав, заговорил, выскакивая вперед, пытаясь и Володе что-то объяснить, видимо крайне для всех важное.

— Да уйди ты, обезьян,— улыбаясь, отмахнулся Егор Фомич, но Володя заметил, что улыбка была какая-то словно бы и робкая.

— О чем он? — спросил Устименко.

— Да ну, плетет, что и в толк не взять,— еще отмахнулся Маркелов.

Но теперь проводники заговорили все разом, громко, сердито. Тот, которого Володя в уме называл Юрой, схватил его за полу ватной куртки, потащил к выходу из сарая, в хлюпающую ночную тьму. Ветер дул порывами, глухо гудел проливной дождина. Маркелов сипло крикнул на проводников, они не угомонились, все чаще, все настойчивее слышал Устименко знакомое имя Тод-Жин. Видимо, дело заключалось в том, что они знали нечто такое, связанное с Тод-Жином, чего совершенно не знал Володя и чего по каким-то причинам не хотел знать Маркелов.

Светя себе электрическим фонариком, он покорно пошел за Юрой, не слушая больше предостерегающих возгласов Маркелова. Проводники всей гурьбой догнали их; сзади, не разбирая дороги, сбычившись, шагал Егор Фомич.

И вдруг Володя сразу понял все: проводники привели его к зданию, действительно совершенно пригодному и для амбулатории, и для маленького стационара. Дом был длинный, добротно построенный, с хорошими окнами, с черным и парадным ходами, с кухней и двумя сараями.

— Тод-Жин! — сказал Юра, строго и победно глядя на Маркелова и Володю.— Тод-Жин!

— Глупости они порют, Владимир Афанасьевич, дикий народ, истинно обезьяны,— стараясь удержаться в своей кротости, ответил Маркелов.— Истинный бог, соромно слушать — целую факторию отдать под больницу, кому?

— А разве это фактория? — спросил Устименко.

— Была фактория одного тож меховщика, я ему хрип перевел, — быстро, уже без всякой кротости, страшновато кося свои цыганские, налитые глаза, заговорил Маркелов.— Вырвался из ихнего брата, полез, куды не

велено, до того возомнил, что, вишь, хоромы себе построил. Теперь возвернулся на блевотину свою, как тот пес. В чум в берестяный...

— Чья же теперь фактория? — спросил Володя угрюмо.

— Покуда ничья, но быть моей! — с вызовом в голосе произнес Маркелов.— Я на нее наметился, а характер наш такой — маркеловский, что наметили, то взяли. Я, может, и задаток за нее дал — это никому не знать.

— Но ведь Тод-Жин указал именно это здание под больницу?

— А пущай берет, коли-ежели у него юридическая купчая есть.

— Так как же быть?

— А по моему совету быть, гость дорогой,— в сараюшке больницу делай. Сказано — помогу. Факторию же никак, голубушка мой, отдать не могу. У нас-то собственность, слава господу, еще не отмененная, нет...

— Н-не знаю,— хмуря брови, сказал Володя,— не знаю, Егор Фомич. Про собственность — это меня все не касается, но думаю, если вы задаток внесли, то департамент народного здравия этот задаток вам вернет. Впрочем, это вы сами договоритесь с кем надо, я же только врач, исключительно врач и за этим сюда приехал. Так что мы тут сейчас разгрузимся, а остальное — ваше дело.

— Значит, не успел приехать и сразу против меня?

— Мне не вы нужны, а больница.

— Больница? Да разве, господин молодой, без Маркелова здесь что толком сделается? Ты бы, может, мне поклонился, так я бы тебе всю факторию под твое заведение при моем характере подарил. Может, я давно желаю благодеяние сотворить? И, может, от меня бы еще тебе жалованье шло, что ты мое семейство пользовать бы стал...

— Знаете что? — сказал Володя.— Оставьте-ка вы меня, *господин* Маркелов, в покое. Мне ни ваши благодеяния, ни жалованье ваше дурацкое не нужны. Идите, пожалуйста. За угощение спасибо. Впрочем, сколько с меня?

И, сунув руку в карман своих грязных, в присохшей глине штанов, он вытащил кошелек, купленный еще в Москве.

— Сколько я вам должен?

— А и огонь же ты, парень,— с тихим смешком сказал Маркелов.— Огонь! Пых-пых и взыграл. Зря! Но мне такие по душе. Располагайся в моей фактории, пользуйся. И жди — авось сам Маркелов к тебе лечиться придет. Жди, надейся!

Он сильно хлопнул Володю по плечу, дернул Юру за курносый нос пальцами, наподдал еще одному проводнику коленом и ушел как бы даже другом, в хорошем настроении...

Тихо стало в доме.

Тихо и темно.

Володя опять зажег свой фонарик, осмотрелся, послушав, как барабанит по крыше дождь, и знаками велел носить тюки сюда, в факторию. А через два дня местные кхарские плотники и столяры уже засыпа́ли подполье, чинили прохудившийся от времени черный пол, настилали белый, печник складывал печи, хроменький старичок-умелец поправлял дверные замки, дверные петли, духовку в плите. В сарай возили дрова — много дров: зимы здесь были суровые, морозные и снежные. А Володя в сенях, весь перепачкавшись, рисовал на жести неумело, как рисуют дети, человечков, больные человечки шли в это здание. Один опирался на палку, другой нес руку в лубке, третьего везли на олене. И себя Володя тоже изобразил — в белом халате он стоит на крыльце и улыбается до ушей. Срисовать улыбку было не с чего, и потому Володя нарисовал свой рот наподобие месяца — через все лицо. Пока он рисовал, никто не работал — все смотрели и удивлялись. И все-таки эту вывеску он не решился повесить над парадной дверью своей больницы и амбулатории.

Раза два сюда приходил Маркелов с огромной кудлатой собакой. Останавливался, глядел, приподнимал картуз, если замечал Володю, и, посвистывая, отправлялся дальше.

К седьмому ноября Володя закончил все работы по ремонту и оборудованию своей первой настоящей больницы с амбулаторией, операционной, собственной жилой комнаткой, кухней, кладовой и другими нужными помещениями. Теперь у него был и переводчик — гибкий, ловкий, всегда ровно веселый местный житель Мады-Данзы; была и стряпуха — старенькая и ужасно робкая

китаянка, бог знает какими путями попавшая сюда еще в прошлом веке, ее Данзы совершенно серьезно называл «мадам повар»; был и брат милосердия — тот же самый Данзы.

Вечером, в канун седьмого ноября, Володя собрал весь свой «штат» в жарко натопленной кухне, открыл бутылку массандровского портвейна, приказал красиво накрыть на стол и разлил вино по кружкам. Мерно и громко тикали на стене часы-ходики, тоже прибывшие из Москвы.

— В это время много лет назад,— сказал Володя,— рабочие и крестьяне на моей родине, под предводительством Ленина, свергли власть капиталистов и помещиков навсегда. Выпьем за трудовой народ, который это сделал.

Данзы перевел, «мадам повар» вдруг заплакала счастливыми слезами.

— Что с ней? — спросил Володя и ласково взял старуху за сморщенную, похожую на куриную лапку, руку. «Мадам повар» расплакалась еще сильнее.

— Мало ли от чего он плачет, а? — сказал Данзы.— Он что-то, наверно, вспомнил, а? Он тоже был молодой, да, имел дети, муж, да? А теперь он один, и если бы ты, доктор Володя, не послушался меня и не взял бы его, он бы пропал здесь, да? Он хочет власть рабочих и крестьян, вот.

— А ты хочешь? — спросил Володя и тотчас же испугался, что занимается пропагандой и агитацией.

Старуха все еще плакала. «Здесь не страшно, но сложно»,— сказал Тод-Жин. Вот что значит «сложно»,— думал Володя, вертя перед собой на столе стакан с портвейном. Впрочем, наплевать! Он покажет им всем, что такое человек, посланный страной рабочих и крестьян. Они увидят. И увидит народ — смелые и молчаливые таежные охотники, кочевники с загорелыми лицами, рыбаки с обмороженными руками, они все увидят. И они поймут тогда, что такое все Маркеловы! Поймут, если не поняли до сих пор.

— Спокойной ночи! — сказал Устименко, вставая.

Утром к нему в комнату вошел Данзы и сообщил, что на крыльце сидит лама и будет сидеть весь день для того, чтобы в больницу не пришел какой-нибудь больной.

— Это ты его нанял? — спросил Володя.

— Я? — удивился Данзы.

Весь день шел мокрый снег большими хлопьями, и лама неподвижно восседал на больничном крыльце. В обеденное время жалостливая «мадам повар» вынесла ему поесть горячей еды. Володя освирепел и накричал на свой «штат». Лама ел казенный больничный суп и разговаривал с Маркеловым, который, опираясь на тяжелую дубину, стоял поодаль и поглядывал на бывшее здание фактории окаянными, цыганскими глазами. Это, действительно, было черт знает что, если вдуматься...

А когда стало смеркаться, Данзы, довольно, правда, робко, сказал, что лама желает войти для приличной беседы, что он хороший человек и к тому же больной. Володя плюнул мысленно и пустил ламу в комнату, которая называлась «приемный покой». Данзы очень кланялся ламе, а лама, не замечая брата милосердия, кланялся Устименке. На столике, покрытом белой клеенкой, в подсвечнике горела свеча. В глухих, некрашеных шкафчиках были лекарства,— лама догадывался об этом, жадно поводил глазками по закрытым дверцам, понюхал вату в стакане, потрогал пальцем деревянные лопаточки, горько, длинно вздохнул.

— Ну? — спросил Володя.

Данзы почесал босой пяткой другую голую ногу, быстро заспрашивал у ламы, тот отвечал тоже быстро, писклявым голосом. Дело у ламы было недлинное, простое: если бы Володя платил ему помесячно жалованье, то он, лама, не отговаривал бы больных приходить в Володину больницу. Только и всего. Жалованье небольшое, но верное, без опозданий и задержек. И больше того, лама мог бы даже посылать Устименке больных, с которыми он и другие ламы не справляются.

Володя слушал угрюмо и вспоминал, как Богословский рассказывал ему о самоубийствах земских врачей. Потом он поднял голову и взглянул в бабье, совершенно серьезное, безволосое, глупое лицо ламы. Еще немножко поговорил Данзы, и Володе стало смешно.

— Ладно, пусть убирается! — сказал Володя. И с силой хлопнул одной дверью, потом другой, потом заперся на ключ в своей комнате с узкой койкой у стены, с жарко натопленной печью, с маленьким столиком у окна, с фотографиями Вари, отца и тетки Аглаи...

Так началась эта трудная, глупая, чепуховая зима.

Плохо великому доктору

К ночи ударил тридцатиградусный мороз; в углах стал проступать серебристый иней, балки бывшей фактории потрескивали, а ртуть в наружном термометре продолжала падать.

Мады-Данзы — служитель — нехотя затопил все огромные больничные печи.

Топил он долго, печей было семь, Мады-Данзы устал; в темных палатах уныло белели никем не занятые, застеленные чистым бельем, одеялами, покрывалами кровати.

— Больше не надо топить, а, да? — спросил Данзы.

— Надо.

— Не надо!

— Ты будешь делать, как я приказываю, Мады-Данзы,— круто сказал Устименко.— Иначе я тебя выгоню. Со мной шутки плохи — запомни это.

— Завтра придут больные? — спросил Данзы.— Много больных? Для них я буду топить все печи, да?

«Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли!» — вспомнил Володя чью-то фразу и ушел к себе в комнату.

На следующий день температура показала тридцать три ниже нуля. Больных не было ни одного.

— Еще топить печи? — спросил Данзы.

— Да, топить!

— Все печи?

— Да, все печи!

— Больные придут?

Устименко не ответил.

«Мадам повар» варила на своей плите рацион для трех больных. Но и трех не было. В больницу — оборудованную, теплую, чистую — не шел никто. По утрам Володя надевал халат и часа два шагал, в ожидании, из угла в угол по приемному покою. Должны же были они явиться?

Нет, их не было.

Они болели в своих юртах, в землянках прииска, в берестяных шалашах «алачек». Они погибали там под завывание шаманов, под грохот и позванивание бубна, под тихий лепет выжившего из ума ламы, под причитание жен и детей. Они погибали от болезней, с кото-

рыми Володя мог бы справиться, а он — здоровый, молодой, сильный — метался тут из угла в угол, для чего?

Мады-Данзы рассказывал с усмешкой превосходства:

— Вчера не пришел к нам в больницу Саган-оол, я спрашиваю, да, а? «Пойду приведу русского доктора, вылечит тебя доктор!» Саган-оол говорить не может, за него шаман Сарма отвечает: «Пусть из твоего доктора выйдет душа». Сегодня умер Саган-оол, я зашел, сидит рядом с покойником Сарма, ставит чашку с топленым маслом, табак кладет, просо, еще чашку с молочной водкой, приказывает: «Ты умер! Вот тебе все приношения, иди!» Какой народ, какой глупый народ, ничего не понимает, да, а?

Володя слушал насупившись: не только ведь не зовут,— не впустят, если придешь! Кто это все делает? Зачем? Ведь гибнут же, гибнут люди.

А Данзы рассказывал насмешливо-весело:

— Гроб принесли — колоду. Привязали к ней покойника Саган-оол хорошей веревкой, крепкой, из конского волоса, нельзя, чтобы покойник оборвался, отдернули войлок юрты снаружи, вытащили, не через вход, нет, да, а, так, да, нельзя, чтобы покойник дверь знал, назад вернется, плохо будет, и повезли в горы, на коне, не прямо, а так, так, так...

Он рукой показал, как зигзагами повезли покойника в горы, показал, как бросили там и осторожно, чтобы запутать следы, вернулись назад.

— Без дороги, так, а! — сказал Данзы.— По дороге Саган-оол вернуться может, нехорошо, вот как делают, а ты, доктор Володя, сидишь тут... Ты, наверное, виноват, зачем плохо говорил с ламой, а, да? Теперь скоро нас всех прогонят, и тебя, и мадам повар, и меня. Мадам повар сдохнет, она старая, ты далеко поедешь — сытым будешь, а я? Тут жалованье нету, от него жалованья не будет, как же жить стану, а, да?

Данзы даже заплакал от жалости к себе...

По утрам Володя делал гимнастику — сначала десять минут, потом пятнадцать. До завтрака, в старом свитере, в рукавицах, выходил колоть дрова. Мерзлые поленья разлетались с треском. Сердито и подолгу, доходя от остервенения, Володя загонял клинья в смолистые коряги; сопя и чертыхаясь, бил колуном, пока не добивался своего. Потом завтракал, садился на табурет-

ку надолго. Уютно потрескивали в жерле прожорливой печи толстые поленья. Глядя на тлеющие багровые уголья, Устименко делал удивительные по технике и смелости операции — в любых условиях, как учили Богословский и Постников. За это время он бесконечно много прочел. Теоретически он, наверное, умел и мог все. Но больные не шли к нему, больница пустовала, с каждым днем все страшнее становилось жить Володе в этой праздности души, ничего не делая, только со своими мыслями — трудясь впустую, оперируя в воображении, излечивая в мечтах.

«Это не хирург, а джигит!» — прочитал он однажды про некоего слишком бодрого резаку. О, как бы Володя был осторожен, вдумчив, рассчетлив, приди к нему этот долгожданный больной. Каким бы вниманием он окружил человека, вверившего ему свою жизнь. Джигит! Нет, он не стал бы джигитовать в операционной.

И, как назло, ему писали и Постников, и Ганичев, и Пыч, и Огурцов.

Иван Дмитриевич вспоминал казусы из своей давней деревенской практики, Пыч хвастался обилием работы, Огурцов бурно сомневался в собственных силах, Ганичев предупреждал Володю о том, чтобы Устименко не начинал раньше времени обобщать свой опыт, «а это нынче опасное поветрие,— писал Федор Владимирович,— одни сочиняют свои работы, дабы показать миру, что совершено открытие, другие — чтобы закрепить за собой приоритет, третьи — для того, чтобы напомнить человечеству о проживающем в городе Н. Петре Ивановиче Добчинском и четвертые, очень их много,— чтобы иметь «научный стаж».

Володя отвечал коротко, сухо и таинственно: пусть думают, что хотят!

На рождество его позвал в гости Маркелов. Устименко не пошел, глупо сославшись на занятость. Тогда Егор Фомич явился сам — с напомаженными кудрями, в крахмальном белье, душистый, весело-насмешливый, даже добродушный.

— Ох, и делов у тебя, соколик,— говорил он, заглядывая в пустые палаты,— ну и народищу ты лечишь, ну и работник ты у нас. Все протоплено, все постелено, с кухни щами попахивает, а дикие-то наши не идут. И не жди, доктор, не жди, голубок, не жди, простая твоя ду-

ша, не придут. У них своя медицина, они на нее не обижаются.

Сел хозяином в третьей палате, далеко протянул длинные ноги, пожаловался:

— Вот куда, вишь, налоги наши идут, кровное наше, заслуженное, зажитое. На вас, свистунов. Мы трудимся, шастаем и тундрой, и тайгой, и всеми богом забытыми местами, торгуем, цивилизируем, а нам что? Дули? Для лежебок же, лодырей и прочих туземцев — теплые палаты. Нехорошо, нет, нехорошо...

Сидел Маркелов долго, потом листал Володины книги, потом ткнул кулаком в его тюфяк:

— Жестко спишь! Подарить перинку, а, доктор?

Мады-Данзы радостно хихикал у двери, потирал руки, кланялся.

— Значит, не пойдешь? — спросил Маркелов.— Ну, будь по-твоему. Я с открытой душой, а ты как знаешь.

Оставшись один, Володя сел за письмо Богословскому. Стиснув зубы, попивая из кружки большими глотками холодную воду, он писал до часу ночи. Это было письмо, полное ярости, горя, обиды и упреков. Зачем Богословский его сюда вызвал? Из хорошего к нему отношения? Ему не нужны ничьи хорошие отношения, он сам по себе человек, и, кстати, такой человек, который не позволит тратить народные деньги без всякого толку на содержание штата, на отопление, на пищу. Может быть, это издевательство тех правых элементов, тех родственников нойонов и баев, которые сидят еще в правительстве? Или, может быть, он, Устименко, нужен тут для бюрократической отчетности, что в Кхаре открыт стационар и работает амбулатория? Так вот, кстати, он ежемесячно сообщает о результатах своей так называемой «работы», и никого это не касается, решительно никого. Короче говоря, он не намерен даром есть хлеб, не намерен отсиживаться и пропадать здесь. Он требует, чтобы его отозвали. И если он пишет недостаточно дипломатическим языком, то пусть его простят и примут уверения...

Письмо было на четырех страницах, и Володя не стал его перечитывать. Пусть будет что будет. Так дальше не могло продолжаться.

В феврале он получил новогоднее поздравление от доброго Жени Степанова. Открытка была веселенькая,

бодренькая, с остротками, с явным желанием не иметь на свете недругов: «Ты оказался умнее всех нас, деревенский доктор, идейный врач,— писал Евгений.— Затирухи превратились в заграницу. Впрочем, во мне говорит зависть: все-таки интересно, разные там караван-сараи, муэдзины, восточные пряности, красавицы под паранджами, как ни говори, но экзотика есть экзотика. Небось, как начнет смеркаться — надеваешь фрак и отправляешься в вечерний клуб, а, хитрец?»

Что Устименко мог ответить на это?

Впрочем, Евгений никогда не был слишком силен в географии.

Только не хотелось думать, что Варвара тоже считала, будто Володя «умнее всех» и во фраке отправляется «в вечерний клуб».

Радио Володя слушал мало: как это ни странно, но ему было почему-то неловко, когда за тысячи километров к нему доносился спокойный голос диктора: «Говорит Москва». Словно оттуда спрашивали: а что ты здесь делаешь, друг ситный? Тепло тебе, светло и не дует? Мы же тебя работать послали, а ты? Сложности у тебя? Объективные трудности, товарищ врач?

Как поживает ваш скот?

Вечерами он читал.

И не то чтобы злился по поводу прочитанного, а как-то большей частью недоумевал. Было странно и даже неловко читать о человеке, который долго-долго, на протяжении многих страниц, и на курорте в Альпах, и в революционном Петрограде, и на Дону, и в войсках Каледина, и в Москве никак не может решить — что же такое Советская власть, подходит она ему или не подходит. Человек этот любил, разлюблял, размышлял под дождем и в хорошую погоду (все погоды и запахи были подробно и похоже описаны: действительно, сено в сырую погоду пахло именно так, а солнце во время короткого весеннего дождя светило тоже совершенно так), стрелял, убегал, скрывался, ездил в вагонах, плавал на пароходах и, в конце концов, опять-таки обонял всевозможные тонкие запахи, различая разнообразные цвета и любуясь особенными пейзажами,— Советскую власть признавал, но с ограничениями.

«Вот так на!» — удивлялся Володя, закрывая толстый том, на последней странице которого было многозначительно сказано, что это только конец «дилогии». Следующая из прочитанных им книг была написана с намеками. В ней герой был за Советскую власть, но тоже все больше наблюдал и подмечал различные родимые пятна капитализма. Не без яда он острил, но не совершал никаких поступков, хотя бы даже бессмысленных, вроде, например, Пьера Безухова, оставшегося со своей целью в занятой французами Москве; наоборот, герой этот занимался исключительно наблюдениями и часто делал выводы, что в этой жизни «не так-то все просто». И было это действительно так не просто, что Володя

совсем перестал понимать данное сочинение, купленное им в Москве за девять рублей двадцать копеек в переплете, и отложил его до будущих времен. На третьем же сочинении, где автор очень густо и подробно описывал судьбу грабителя в послереволюционном Петрограде, Володя и вовсе подорвался: грабитель этот грабил людей и непрестанно рассуждал, и вокруг него все рассуждали, притом до чрезвычайности глупо и длинно, а в конце концов грабитель повесился, но не совсем, и тут Володя перестал читать беллетристику, а вернулся к прерванному то́му «ошибок и опасностей при хирургических операциях».

Как раз, когда он читал эту книгу, и случилось происшествие, в корне изменившее его жизнь в Кхаре. С выпученными глазами, в спадающих туфлях, в подштанниках с завязками (Володя успел заметить, что подштанники казенные, с клеймом) к нему в комнату влетел Мады-Данзы и не то что крикнул, а как-то даже взвизгнул:

— Больные! Два! Скорее, да, а?

Володя отодвинул табуретку, посчитал до десяти, чтобы не волноваться и не вести себя слишком уж глупо, надел халат, шапочку и вышел в коридор. У входной двери, оба обледеневшие, в дохах, покрытых сосульками, в куртках, надетых поверх шуб — «хурме», в обледеневших меховых унтах,— стояли молча незнакомые люди. При слабом свете десятилинейной лампешки, дрожащей в руках Данзы, Володя сказал больным, чтобы они раздевались и проходили в приемный покой, но в ответ услышал сдержанный смех и только тут, по этому сдержанному, характерному смеху, что-то вспомнил, но тотчас же опять забыл.

— Позвольте! — сказал Володя.

— Да чего же позволять или не позволять,— услышал он вновь рассыпчатый, мужицкий, веселый говорок и теперь сразу, насовсем узнал Николая Евгеньевича Богословского, который медленно стаскивал с головы меховой треух и одновременно выбирался из всех своих обледенелых меховых одежд.— Чего ж тут позволять или не позволять,— говорил он, пожимая Володину руку и оглядывая его чуть издали — внимательно, строго и любовно.— Вы вот лучше товарища Тод-Жина узнайте, вы его не так уж давно видели, чтобы успеть позабыть.

Да водочки велите подать, мы в полынью попали, ох, уж эта скачка с наледи да в полынью, да опять черт знает куда, ох, уж эти знатоки, следопыты...

И посыпался и посыпался частый говорок, и сразу Володе показалось, что никогда и никуда не уезжал он из Черного Яра, что все сейчас будет прекрасно, спокойно, уверенно. А Богословский уже заглядывал в пустые палаты, качал головой, крепко растирая руки, и сетовал, оглядываясь на Тод-Жина...

— Пусто, пусто, и верно пусто, ни единой живой души...

Выглянула «мадам повар», всплеснула ручонками, побежала семеня готовить парадный ужин. Данзы уже принес байковые халаты, чистое, сухое белье, носки, шлепанцы, много раз поклонился Устименке, по тому, как с доктором Володей поздоровался Тод-Жин, он понял — больницу не закроют, его, Мады-Данзы, не выгонят, жалованье ему пойдет по-прежнему.

— Водка-то есть? — спросил Богословский.

— Спирт! — виновато ответил Володя.

— И того лучше! Кухарит у вас китаянка? Прекрасно! Нет, спирт надо пить чистым, запивая его водой. Что? Крепко? Конечно, конечно, но ведь вы отлично, умело, сколько угодно пьете и никогда не пьянеете,— помните пельмени у Постникова?

— Помню! — счастливо моргая, ответил Володя.— Я все помню, Николай Евгеньевич. Вы, значит, письмо мое получили?

— О письме и о делах завтра говорить будем. А нынче мы только гости, причем гости промокшие, продрогшие и очень усталые. Распорядитесь, чтобы нам постели приготовили, и сами на боковую, а завтра с утра работать станем...

— Но вы на меня за письмо не обиделись?

— За себя — нет. А за вас обиделся. Дамское немножко, голубчик, письмо, истеричное чуть-чуть. Впрочем, завтра...

— Но все-таки почему же дамское?

Богословский подумал, подвинул к себе ближе чай, сказал:

— Ладно, несколько слов сегодня. Видите ли, дорогой мой юноша, в нашей партии, в большевистской, было еще в дореволюционную пору порядочно врачей. Вы ни-

когда не задумывались над этим вопросом, что именно врача приводило в партию в те трудные годы? А? А я вот думаю, я лично, что приводило в партию докторов ощущение полной бессмысленности медицинского труда в России без революционного взрыва, без смены государственного строя, без уничтожения власти капиталистов, помещиков, кулаков. Всякий думающий доктор убеждался в том, что его личные усилия, так же как усилия сотен честных людей, при существующем монархическом устройстве империи ни к чему не ведут и привести не могут. Ведь мы все издавна убеждены в том, что будущее принадлежит медицине профилактической, предупреждающей. А какая же, к черту, предупредительная медицина могла существовать в те времена, когда сам гениальнейший организатор Пирогов ничего или почти ничего не мог сделать? Следовательно, дело в системе. Вы попали из семьи партийной, из государства советского — рабочих и крестьян — сюда, где обстановка совершенно иная, и... растерялись, что ли. По молодости лет не заметили того прогрессивного, что произрастает тут уже, из гордости не написали сразу, например, товарищу Тод-Жину...

— Надо было написать мне сразу, да! — сказал Тод-Жин суховато.— Я бы понял и приехал...

— А мне написали уже в состоянии запальчивости,— продолжал Богословский.— Написали, потеряв ощущение обстановки, места действия, социального устройства общества, где врач фигура неизвестная...

— Немножко известная! — жестко вставил Тод-Жин.— Тот врач, который ехал к нам не из Советского Союза, да, так...

— Тем более. Обстановка не простая, даже в департаменте народного здравия — силы различные. Что ж вы тут думали, приедете — и будет как у вас в Советском Союзе: ежели какой непорядок, идете к секретарю райкома или в санинспекцию или еще выше — в область? Надо, голубчик, понимать, что эти методы только у нас существуют, где государство не только помогает здравоохранению, но и несет ответственность за здоровье и жизнь каждого своего гражданина, потому что наше государство — государство трудящихся, а не тех, кто пользуется в своих целях трудом граждан капиталистического государства. Впрочем, спать давайте-ка, Владимир

Афанасьевич, ложитесь, потому что с завтрашнего дня наши каникулы навсегда кончатся...

Володя ушел в свою комнату, сел на койку, разулся. В общем, Богословский его как следует пробрал нынче. А справедливо ли?

— Хороший человек! — сказал в это время Тод-Жин.— Чистый, как это, а?

— Как стекло?

— Нет, лучше. Такой бывает...

— Как хрусталь...

— Как хрусталь. Тяжело ему было, да, товарищ Богословский! Раньше надо было мне приехать. Сразу...

— Мальчик хороший,— задумчиво произнес Богословский,— но, знаете, все-таки еще мальчик. Закалки нет. Не понимает, что значит «битва жизни». Пойдем посмотрим его больничку...

Мады-Данзы понес лампу, «мадам повар» семенила сзади.

— Пазы в бревнах глиной замазал, умно,— сказал Богословский.— Забил шерстью, а потом глиной. Заметьте, совершенно не тянет холодом. И коечки экономно расставил, продуманно, ах ты, бедолага. Тумбы такие же, как у меня в Черном Яре — с полочкой, — запомнил, хитрец, конструкцию. И чертежик, наверное, сделал. А теперь посмотрим-ка операционную... Нет, вы только подумайте, какую он штуку учудил вместо автоклава, видите? Простые ведра оцинкованные, двойные железные крышки, так, все совершенно разумно и даже остроумно, стерилизация влажным способом. Видите, отверстие внутренней крышки не совпадает с наружной. Ну, все понятно. На плиту, потом шесть часов остужается, вы понимаете?

— Не совсем! — сказал Тод-Жин.

— Шесть часов срок имеется, — вмешался Данзы, — шесть часов такой срок, да, за который из спор, которые при первом кипячении сохранились, опять эти бактерии нарождаются, а, да?

— Это он вас учил? — строго спросил Богословский.

— Учил, — испугался Данзы, — каждый день два часа. А потом,— торопливо заговорил он,— потом половина часа кипятить надо с прибавлением углекислой соли из расчета один ноль на один три ноля, воды, вот так, а, да? Но никто не пришел совсем, — добавил он потуск-

невшим голосом.— Еще дальше могу рассказать...
— Не надо. Молодец! — похвалил Богословский.
— Значит, хорошо? — осведомился Тод-Жин.
— Спать пойдем! — решил Николай Евгеньевич.
Когда Володя проснулся, Тод-Жин уже ушел. Богословский за столиком в широком коридоре пил чай. Мады-Данзы, стоя у стены, умиленно смотрел на Николая Евгеньевича — он вообще умел смотреть умиленно на тех людей, которых считал начальством.
— Долго уснуть не могли вчера? — спросил Богословский.
Он по-прежнему все всегда угадывал.
— Долго.
— Обиделись на меня?
— Нет, но...
— Вот видите, «но» сразу. А ведь вы решительно ничего не сделали, чтобы к вам валом пошли больные. Тут, коллега, надо стать общественником, бойцом, солдатом, а не неким божьим избранником, который сидит у моря и ждет погоды. Вот, например, в Монгуше от больных отбою нет, несмотря на засилие лам и шаманов; в Бадане мы строим второй корпус больницы, там Мельников сразу понял огромное политическое значение своей работы, а не только это, как мы любим выражаться, «гуманное», «гуманизм»... Здесь не только доброе дело нужно делать, тут, Владимир Афанасьевич, нужно заставить народ поверить врачу, а это великое, огромное дело...
Он помолчал, отхлебнул чаю, закурил папироску...
— В свое время в этой стране достаточно покуралесили международные подлецы, именуя себя врачами. Вам это известно?
— Немного известно.
— Всякого рода негоцианты, купчики, скупщики, проходимцы, все эти разбойники с большой дороги пронюхали своим проклятым нюхом, что здешние оленеводы, скотоводы, рыбаки, землепашцы и иные труженики почему-то — если в истории разобраться, давние все ж времена, — но поверили они в пользу оспопрививания, то ли эпидемии выкашивали народ вчистую, — не объяснить нынче, но поверили. Так вот, международные эти проходимцы возьми этим и воспользуйся, запаслись детритом и за каждую прививку брали «божескую цену» — всего только по овце. Прививали приказчики,

а то мальчонки, и никому, конечно, не было интересно — свежий ли детрит, а уж каков он доходит сюда из больших городов Европы — сами представляете. Естественнейшим манером, при этаком размахе коммерции, даже бесполезного этого детрита нисколько не хватало. Разводили его глицерином, а то и просто для прививок глицерин употребляли. За день работы, за баночку-скляночку глицерину получал мистер, месье, вообще один из них — отару овец, голов сотен три. Ну, а самое интересное состоит в том, что инструмент, которым делалась насечка, никогда не дезинфицировался, представляете себе, *никогда*. Следовательно, путем обманного оспопрививания разносился сифилис в размерах, которые и учесть невозможно...

— Да правда ли это? — болезненно морщась, спросил Устименко.

— То-то, что правда. Ведь для скотины-колонизатора важен только его бог — католический, протестантский, буддийский, его бог Макарка, именуемый в дальнейшем Чистоган. А здешний житель ему, колонизатору, — инородец, дикарь, туземец, созданный к его, колонизатора, обогащению. И мы с вами, Владимир Афанасьевич, как это ни странно, сейчас расхлебываем преступления, сотворенные странствующими рыцарями Чистогана, мы должны принудить здешний народ увидеть в нас то, что мы есть на самом деле. Наша и ваша задача, разумеется, трудна, но почетна. Советский — и порядочный, советский — и добрый, советский — и участливый, советский — и справедливый, советский — и бескорыстный, — все это через посредство нашего труда здесь должно стать синонимами, понимаете вы меня, Владимир Афанасьевич?

Никогда, пожалуй, Володя не видел Богословского таким взволнованным и таким удивительно славно раздраженным. И опять, как в Черном Яре, Володя весь преисполнился зависти к Николаю Евгеньевичу, к его внутренней духовной, нравственной сущности, к тому, как широко и вместе с тем точно умел Богословский думать, к тому, как он жил — во имя дела, для дела, ради дела, и нисколько при этом не жертвенно, а как-то радостно, весело, целиком отдавать себя своему труду. Вот, почти не оперирует такой замечательный хирург. Почему? Потому что занят более нужной работой, самонужнейшей, и необходимость этой работы, ее важность

для общества и есть та награда, которая возмещает ему потерянную на время и любимую хирургию.

Они еще не допили чай, когда вернулся веселый, с лукавым взглядом Тод-Жин. Сбросил заиндевевшую доху, сел против окна, так что солнечные лучи били прямо ему в лицо, и задумался с чашкой в руке.

«Вот в чем дело! — вдруг поразился Володя. — У него же глаза орла — он смотрит на солнце».

— Ну? — спросил Богословский.

— Сейчас пойдем, сейчас! — сказал Тод-Жин. — И Мады-Данзы пусть идет. — Он усмехнулся. — Многие боятся, что здесь их лишат возраста — так они называют смерть, и ламы шепчут им об этом, и шаманы шепчут, но мы должны показать, что здесь их не только не лишат возраста, но и вылечат, да, а, так? И пусть, товарищ,— он повернулся к Володе, — начнет делать свое дело...

Тод-Жин вновь задумался, глядя на белое, холодное, сверкающее солнце. В это утро Володя не колол дрова, не делал гимнастику, не читал, не сидел в своем приемном покое. В это холодное, ветреное утро он, незваный, пошел в Кхару принуждать лечиться больных людей. По скрипящему снегу с ним вместе шли Богословский, Тод-Жин и еще трое здешних знакомых Тод-Жина. Колючий, холодный ветер бил в лицо Володе, завывал в юртах, в которые они заходили, стлал по утоптанному полу юрт едкий, коптящий дым негреющих костров. Блеяли в загонах возле изб и вросших в снежные сугробы лачуг продрогшие козы, овцы, бараны. Скрывались в поземке, подальше от глаз Тод-Жина, Володины мучители — ламы и шаманы. Хрипели голодные, злые псы. Сверкнули где-то, уже в сумерках, волчьими огнями глаза Маркелова. Он шагал в огромной дохе, опирался на дубину, с докторами и с Тод-Жином поздоровался приветливо, прорычал простуженным голосом: почему-де не жалуют к нему в гости — гостевать. Тод-Жин остановился для вежливой, по обряду, беседы.

— Как поживаете и хорошо ли здоров ваш скот? — спросил он. Так полагалось здесь начинать разговор.

— Мой скот хорошо поживает, — ответил Маркелов. — А ваш скот здоров ли?

— И мой скот здоров, да, так, — сказал Тод-Жин. — Здоровы ли вы и ваши родные?

Когда обряд кончился, Тод-Жин, глядя своими гла-

зами орла в волчьи, окаянные глаза Маркелова, произнес раздельно:

— Вы не будете иметь факторию, которая занята больницей. Она, извините, не ваша, вы, извините, вор, так, да, вы хотели ее украсть, не правда ли, да, но купчую вы не имеете...

— Мы — налоги, цивилизация, — зарычал было Маркелов, но Тод-Жин перебил его:

— Вот так все будет именно, — сказал он, — и вы получите бумагу как надо. Теперь я пожелаю вашему скоту хорошего зимовья и корму...

— И вашему, — поворачиваясь спиной, произнес Маркелов.

Володя, не выдержав, хихикнул, Тод-Жин строго на него взглянул.

С поклонами, все как полагается, они вошли в юрту. Здесь дым ел глаза, и здесь сначала поговорили про здоровье скота, потом про здоровье хозяев. Об этом спрашивать было мужа совершенно незачем: хозяин стоял близко, электрические фонарики горели ярко, чудовищная сифилитическая язва разъедала нижнюю губу и подбородок невысокого, широкоплечего, видимо очень сильного человека.

— Бытовой, так, да? — спросил Тод-Жин.

— Надо думать! — ответил Богословский.

Тод-Жин заговорил с хозяином юрты на своем языке. Жена хозяина стала медленно оседать на пол, покрытый кошмами, заламывать руки, выть. Тод-Жин ничего этого не замечал. Хозяин смотрел на него внимательно, жена подползла к Володе, прижала его руку к своему лицу, завыла громче. Тод-Жин все говорил, не останавливаясь, порою кивая в сторону Устименки и Богословского.

— Кол-Зал и она идут в больницу, товарищ, — сказал Тод-Жин Володе. — Ты их вылечишь, да?

Володя кивнул: с этой формой болезни он умел бороться.

— Когда?

— Скоро.

— Когда скоро?

— Два месяца — это со страховкой.

— И язвы не будет?

— Язвы не будет. Но потом еще долго придется лечиться.

— Если язвы не будет, он станет твоим лучшим агитатором, товарищ, да.

И Тод-Жин опять заговорил с хозяином. Жена больше не выла, она слушала. Данзы тихо переводил Устименке, что речь идет о том, кто будет смотреть за скотиной. Тод-Жин обещает договориться с соседями.

Хозяина другой юрты знал Мады-Данзы. Этого пожилого человека с запавшими глазами и серым от страданий лицом звали Саин-Белек. Он уже давно не мог двигаться и совершенно разорился, лечась у ламы Уя — самого дорогого здешнего лекаря. И шаманы его тоже лечили, но так, чтобы не знал обидчивый лама. По словам Саин-Белека, его лечили очень хорошо, особенно Уя. Саин-Белек ежедневно пил освященную медвежью желчь и делал примочки из отвара муравьев. Если бы не искусство мудрейшего Уя, он бы, конечно, давно «лишился возраста».

Тод-Жин зажег свой сильный электрический фонарик, Богословский сел на топчан, ловкие руки его мгновенно нашли то, что лама называл «посланным аза», то есть «посланным чертом» и скоплением злой пены.

— Паховая грыжа,— сказал Николай Евгеньевич своим мужицким, деловым говорком.— Надо оперировать.

— Он не умрет? — спросил Тод-Жин.

— Надеюсь, что нет.

Саин-Белека, под завывание его семьи, на носилках понесли в больницу. Данзы побежал вперед готовить ванну, а также затем, чтобы предупредить «мадам повар», которая могла испугаться, увидев, что больница становится больницей. Впрочем, и сам Данзы несколько робел надвигающихся происшествий. Топить печи — не лечить людей, а тут еще слово «операция».

Глаза у Тод-Жина были совершенно непроницаемы, когда он приказывал тому или иному человеку идти к товарищу доктору. Но ему повиновались. С ним нельзя было спорить. Он не слушал никаких возражений. И смотрел прямо в глаза, прямо и строго.

Еще в одной юрте они нашли порядочно напуганного деда, который почти ничего не слышал. Богословский лукаво усмехнулся и сказал, что завтра-послезавтра вернет деду Абатаю слух. Володя сразу догадался, в чем дело, но промолчал. Ему было весело, именно весело, как бывало в детстве. Конечно, то, что они вытворяли сегод-

ня — Богословский и он, и даже Тод-Жин,— было, в общем, не очень-то солидно, но это было начало, великолепное начало, за успех нельзя было не поручиться. Дед влез в доху и сам пошел в больницу. Тод-Жин с усмешкой пояснил, что невестка не дает Абатаю возможности полечиться у самого захудалого шамана, а тут обещают, что через день-два все будет в порядке.

Вот, оказывается, как надо работать!

Вечером в больнице Володя сделал свой первый обход. Больные лежали на койках, вымытые в ванне, сердитые и испуганные. «Мадам повар» поставила всем в блюдечках сладкого сгущенного молока, но никто ничего не ел. Оказалось, что хитрый лама Уя перебежал-таки дорогу деду Абатаю и прокричал ему в ухо, что он достоверно знает — в больнице всех сегодня же отравят страшным ядом «мгну».

— А зачем? — удивился дед Абатай.

— Им нужно свежее человеческое мясо! — не сморгнув, заорал лама.— Они лечат свои раны, прикладывая к ним хорошее человеческое мясо. И они так же вялят человеческое мясо.

Дед Абатай подался было назад к юрте, но, как назло, встретил Тод-Жина с врачами. Конечно, по дружбе старик поделился со всеми больными «мудростью», услышанной им от ламы, и теперь всем было не по себе.

Но, с другой стороны, после ужина все лежачие увидели свершившееся чудо. Кто в Кхаре не знал старую, добрую, толстую Опай! И кто не знал, что она вот-вот «лишится возраста», так как ей нечем было дышать. Она становилась синей, царапала пальцами землю, глаза у нее вылезали, и лама Уя ее обходил стороной, потому что забрал у старухи четырех коней и ничем ей не помог. А теперь ей сразу помогли. Ее только укололи, и все сейчас же прошло. Она было совсем «лишилась возраста» в коридоре, но к ней подошел молодой доктор со стеклянной штучкой, из которой торчала иголка, уколол добрую Опай, она на всякий случай завизжала, а потом начала улыбаться. Она улыбалась все шире, до самых ушей, а наулыбавшись и надышавшись, стала говорить речь. Ни Богословский, ни Володя не понимали, о чем говорит старуха Опай, но ясно было только

одно — сейчас здесь, в больнице, начнется другая, совсем другая жизнь.

— Все-таки это немножко отдает шарлатанством! — сказал Володя Богословскому.— Ну — бронхиальная астма, ну — адреналин, так ведь...

— Помолчите,— сказал Богословский.

Что-то происходило интересное. Непрестанно болтая, старуха поднялась и схватила блюдечко со сгущенным молоком у деда Абатая. У нее теперь было очень сердитое лицо. В мужской палате все смотрели на нее со страхом. Потом старуха Опай вылизала блюдечко и, победно сверкая глазами, ушла из больницы. А деду Абатаю «мадам повар» принесла другое блюдце, полное до краев, потому что он едва не плакал, когда Тод-Жин стал стыдить его за сплетню насчет яда и человеческого мяса.

— Завтра мы сделаем несколько маленьких чудес,— уютно посмеиваясь, сказал Богословский,— а там, попозже, вам придется, дорогой Владимир Афанасьевич, поработать без чудес. Но работа у вас будет — за это я вам ручаюсь...

Тод-Жин стоял у черного промороженного окна в коридоре и курил свои сигареты. Внезапно он повернулся к Богословскому и сказал жестким, напряженным гортанным голосом:

— Я хочу поблагодарить тебя, товарищ, да, поблагодарить за радость, за то, что ты рад. Это не я благодарю тебя, это благодарит наш народ, да, благодарит, хотя еще не понимает, но поймет. И тебя, товарищ,— он повернулся к Володе, и Володя с изумлением, счастьем и любовью увидел, что в глазах орла кипят слезы,— и тебя за то, что ты понимаешь, и еще сделаешь, и будешь...

Он повернулся и ушел куда-то далеко, в самый конец коридора, а Володя и Богословский еще долго сидели молча.

— Ну, ладно,— сказал наконец Богословский,— утро вечера мудренее. Прикажите вашему Санчо Пансе заняться стерилизацией к завтрему. Пораньше оперировать начнем...

— Кого первым?

— Да что ж... сделаем, пожалуй, грыжу...

— А если до начала операционного дня я начну промывать серные пробки деду Абатаю,— как вы считаете,

Николай Евгеньевич? Слышать он станет сразу лучше, настроение еще поднимется в палатах?

Богословский усмехнулся.

— Что ж, попробуйте!

В семь часов утра Володя вызвал Абатая в приемный покой. Николай Евгеньевич еще спал. Посеревший от работы Данзы (он всю ночь возился с биксами — стерилизовал) стоял торжественно в белом халате, в шапочке — ни дать ни взять тоже доктор. На столике голубым пламенем горели спиртовки. А на Володю старик даже и смотреть поначалу не смел — так величествен был этот русский: и халат, и шапочка, а на лбу — круглое, сверкающее, невероятной красоты зеркало, приделанное к голове, наверное, в честь старого Абатая. Вот взглянула бы невестка, как бы она теперь зауважала старика.

— Как себя чувствует ваш скот? — вежливо начал беседу Абатай.

Данзы перевел, что скот русского доктора чувствует себя отлично. А как чувствует себя скот дедушки Абатая?

Тут Абатай замялся. Сказать, что его скот тоже хорошо себя чувствует, было опасно — вдруг русский схитрит и потребует плату, как шаман или лама. А чем платить? Сказать же громко, что никакого скота у него не было, старик считал для себя унизительным. Поэтому он только вежливо покашлял. Не поймаете! Никто теперь не сможет утверждать, что у деда Абатая есть скот.

— Ну, хорошо! — сказал Володя.— Приступим!

Дед сел на табуретку, шею ему повязали полотенцем. Великий русский доктор ловко, щипцами, вынул из сверкающей кастрюльки чудодейственный стержень, и очень скоро в ухе у деда Абатая стало тепло и славно, так славно, что старик даже зажмурился. Потом и в другом ухе тоже стало тепло. А спиртовки всё горели, и это было похоже на жертвенный огонь, только гораздо красивее, и Самоглавнейший Советский Шаман все сверкал своим зеркалом, наверное отгоняя им от деда злых духов: чертей — «аза» и «кай-бын-ку».

Одно только мучило деда, что никто не видит, как его ошаманивает русский доктор. Никакой лама так не умеет, никакой шаман! Если бы еще русский хоть немножко поскакал и побил в бубен, тогда, может быть, другие больные проснулись бы и пришли.

— А в бубен бить? — спросил дед у Данзы.

— Молчи, дед, молчи,— строго ответил Данзы.

— Немножко бы хоть ударили,— плаксиво попросил дед.— Чуть-чуть. Я белку подстрелю, принесу.

— Не мешай доктору, дед!

— Соболя принесу.

— Говорю, не болтай!

И вдруг дед понял, что слышит гораздо лучше, чем раньше. Данзы ведь не кричал, он только говорил, и не громко говорил, а дед слышал все его слова.

— Ой! — воскликнул дед.— Я слышу! Ой!

Володя осторожно и методично что-то делал в другом ухе. А когда он вынул вату, дед стал слышать еще лучше.

Мады-Данзы важно перевел:

— Завтра, когда товарищ русский доктор и я еще полечим тебя, ты начнешь слышать так хорошо, как здоровый ребенок. Иди, дед. Отдыхай!

Володя снял с головы свое прекрасное зеркало, и дед совсем загордился: значит, действительно, зеркало одевалось только для него. А Данзы погасил спиртовки: значит, и спиртовки горели для Абатая. Ну и ну! Нет, конечно, такое удивительное лечение не могло обойтись даром, и дед предупредил:

— Но ведь я бедный человек!

— Это нас не интересует! — сказал важный Данзы.

— Я ничем не могу отблагодарить!

— Ты можешь поклониться доктору, большего от тебя не требуется.

Абатай, кряхтя, поклонился. Потом все замелькало перед ним — уж кланяться, так кланяться, с него не убудет. И он кланялся до тех пор, пока Володя не схватил его за плечо и не закричал, что он этого не потерпит. Старик вздохнул, глядя на Володино красное, сердитое лицо. Наверное, все-таки требует коня или олешек, или овец. И, наверное, сейчас выгонит вон из больницы. Но никто деда никуда не выгонял. Наоборот, он принялся за завтрак — за прекрасную кашу, за лепешки с чем-то липким и сладким, за чай с молоком. А проснувшиеся соседи расспрашивали его нарочно тихими голосами, и он не торопясь, важно отвечал. Пусть помучаются, не всё сразу, понемножечку...

В девять Николай Евгеньевич начал мыть руки. И на

нем, и на Устименке, и на Данзы были надеты теперь придуманные Володей и сшитые «мадам повар» длинные пиджаки из клеенки, поверх которых натягивались сырые халаты. При Володином способе стерилизации халаты и все прочее необходимое для операции получалось сырым.

— Оперировать будете вы,— сказал Богословский.— Я нынче и ассистент и операционная сестра.

Саин-Белек лежал на операционном столе испуганный, словно заяц, поводил носом, ворчал и жаловался Мады-Данзы:

— А почему доктор не привинтил к своей голове круглое зеркало? А почему для меня зеленые огни не зажгли? Разве я хуже деда Абатая? Дед Абатай — нищий, только-только не с сумой побирается, а я, если захочу, и баранов могу подарить этим докторам. Пусть привинчивают зеркала, скажи!

Грыжа была двусторонняя, громадная и, конечно, невправимая. Володя стоял, раздумывая. Богословский делал местную анестезию.

— Ну как? — спросил он.

— По Спасокукоцкому.

— Это разумеется,— улыбнулся Богословский.— Нет бога, кроме бога, и Магомет — пророк его.

— А что? — с вызовом ответил Володя.— Для меня Спасокукоцкий — истинное чудо и как клиницист, и как хирург, и как просто практический врач.

Он взял из руки Богословского скальпель и сделал разрез на палец выше паховой складки. Обнажился апоневроз наружной, косой мышцы живота. Мады-Данзы слабо охнул, увидев кровь, и стал пятиться к двери.

— Вернитесь на свое место! — велел ему Богословский.— Слышите вы?

Володя рассек подкожную клетчатку и фасции Купера. Николай Евгеньевич ассистировал молча, не руководя и только пристально всматриваясь. Кровь он убирал быстро и необыкновенно ловко. Саин-Белек иногда стонал, порой пускался в рассуждения, но тотчас же забывал, о чем вел речь...

— До сих пор помню фразу из учебника,— сказал Николай Евгеньевич:— «накладывают на срединный лоскут апоневроза, как борт сюртука на другой борт, и пришивают к нему».

— И пришивают к нему,— повторил Володя, осторожно натягивая лигатуру. Он чувствовал, что операция сделана хорошо, и испытывал состояние радостного возбуждения.

Но тем более следовало вести себя «в рамочках», как говорила Варя. При таком хирурге, как Богословский, смешно было чувствовать себя мастером своего дела.

— Молодцом справляетесь! — похвалил его все-таки Николай Евгеньевич.

— При вас-то не страшно! — искренне ответил Володя, когда они оба мыли руки перед следующей операцией.

— Страшно, нестрашно,— проворчал Богословский и взял корнцанг.

Оперировали женщину, еще не старую, по имени Кук-Боста; она уже давно не могла ходить, живот ее страшно раздулся, лама Уя назначил ей «лишиться возраста» очень скоро. Богословский предположил гигантскую кисту. Володя рассек брюшину до лонного сочленения и толстым троакаром пунктировал переднюю стенку кисты. Тотчас же в подставленное эмалированное ведро пошла жидкость — литр за литром. Но, несмотря на все предосторожности, Кук-Боста едва не погибла от шока. Покуда Богословский делал все, что полагается делать в таких случаях, проклятый Мады-Данзы выскользнул из операционной и рассказал всем, что Кук-Боста «лишилась возраста»...

Володя между тем вывел кисту в рану брюшной стенки и удалил ее. Богословский подал иглу, Устименко зашил рану кетгутом. Кук-Боста теперь дышала ровно, глубоко и покойно.

— Молодцом! — сказал Николай Евгеньевич.

— Ваши ученики! — ответил Володя.

Вдвоем они перенесли Кук-Боста в палату и положили ее на кровать. И санитарами им приходилось быть в эти дни труда и побед.

Больные тараторили в коридоре: Мады-Данзы наврал, вот какая хорошая лежит Кук-Боста, дышит, живот больше не торчит; нет, великие советские доктора и ее не «лишили возраста».

Размывшись (на этот день они все кончили,— так им казалось), Богословский закурил тоненькую папироску. Володя стоял рядом, думал.

— Один неглупый доктор утверждает,— сказал Бого-

словский,— что женщины куда храбрее мужчин. Разумеется, мужчины храбры на поле боя, но ведь там не всякая пуля бьет в лоб, иная и в куст. А в операционной непременно ждет нож, от него никуда не денешься...

Сзади, неся на подносе чай, подошел Данзы.

— Вот тоже еще храбрец,— усмехнулся Богословский.— Это человек, на которого вполне можно положиться, не так ли, Владимир Афанасьевич?

Данзы улыбнулся, поклонился.

— Еще одна такая история, и вам придется выгнать вашего помощника в толчки, Владимир Афанасьевич,— серьезно, громко и раздельно сказал Богословский.— Смотреть противно — здоровый мужчина, а трус. И еще панику разводит в больнице. Безобразие. Убежал из операционной и разболтал, что Кук-Боста умерла...

— Она тогда умерла! — довольно справедливо возразил Мады-Данзы.

— А теперь жива! — чмокая погасшей папиросой, сказал Николай Евгеньевич.— Короче, чтобы этого больше не было.

Он еще не накурился, когда Тод-Жин с виноватым лицом доставил еще двух больных: молодую вдову Туш с аппендицитом на шестом месяце беременности и еще женщину с маститом. Туш была в очень тяжелом состоянии, и Богословский, покосившись на Устименку, приступил к операции сам. Туш бредила. Она была совсем еще юной — эта шестнадцатилетняя вдова; здесь борьба шла сразу за две жизни, и борьба тяжкая: отросток был замурован плотными спайками, а когда Богословский его нашел, то оказалось, что аппендикс перфорирован. Николай Евгеньевич даже головой покачал и вздохнул. Надо было ждать выкидыша, к тому были все показатели, да и сопротивляемость организма Туш была такова, что едва ли эта девочка-мама могла справиться с перитонитом.

Женщину с маститом Руду и еще больного Кун-Чен-Додзиба, замученного зобом, оставили на завтра. Размываясь, Богословский сказал:

— Потеряем мы эту Туш? А? Жалко, черт дери, а как — что делать?

Туш положили в отдельную палату. Пока возле нее дежурил Данзы, на ночь дежурства распределили Богословский и Володя. Когда они с Тод-Жином обедали,

в Володину комнату просунулся дед Абатай и заговорил, глядя на Тод-Жина. Взамен платы за лечение старик предлагал себя больнице в качестве истопника. Мады-Данзы — теперь большой человек, тоже доктор (Тод-Жин едва заметно улыбнулся),— он все время занят, а печки нужно топить? Нужно. Подметать метлой нужно? Конечно, пока что дед Абатай еще не подметал, но этому искусству при его сметливости, уме и ловких руках он уж как-нибудь научится. И в кухне он мог бы тоже помогать — такого работника во всей Кхаре не сыщешь,— говорил про себя скромный дед,— он ведь, знаете, какой умный? Это ничего, что он не слишком молодой. Он зато знает много великолепных сказок, которые он может рассказывать больным. Например, про умную птицу Шишкиш, как она обманула лису, или про старика Течикея, как он достал кошелек величиной с верблюжью шею, или про хитрого и подлого медведя, который...

— Хорошо,— сказал Тод-Жин,— я посоветуюсь с доктором, товарищем. Подожди.

Володя слушал Тод-Жина молча, потом ответил:

— Как вы считаете, так и сделаем. Но мне ведь еще люди понадобятся.

Тод-Жин повернулся к старику.

— Я остаюсь? — спросил Абатай.

— Ты остаешься.

— Кем я буду?

— Ты будешь большим человеком! — торжественно сказал Тод-Жин.— У тебя будет много трудных и почетных обязанностей.

— Я буду чиновником? — спросил Абатай, который с нынешнего дня привык ничему совершенно не удивляться.

— Нет, дедушка, ты будешь дворником.

— Но это, я надеюсь, не менее почетно.

— О нет,— без улыбки ответил Тод-Жин.— Это гораздо более почетно, чем быть чиновником!

Абатай ушел, пожелав здоровья скоту и семьям тех, кто так добр к нему. В палате он лег на койку, погладил обеими ладонями свой впалый живот и рассказал, что скоро он, дед Абатай, будет таким толстым, что все не найдут слов для выражения удивления и восторга. Дело в том, пояснил Абатай, что русские и сам Тод-Жин умолили его остаться служить при больнице.

И должность у него будет потруднее, чем у любого чиновника.

— Ври побольше! — сказал со стоном Саин-Белек.— Кому нужны нищие побирушки? Если уж брать чиновником, то меня!

К полуночи Туш выкинула ребенка — мертворожденного. Володя разбудил Николая Евгеньевича. Началась битва за жизнь самой Туш. «Во всем мире она одна,— сказал про нее Тод-Жин,— хорошо, если бы удалось не лишить ее возраста. Всего шестнадцать лет...»

Но у нее не было сил даже страдать.

И все-таки юная женщина Туш выжила. Это была тяжелая, неслыханно тяжелая для Володи ночь, и день тоже был потом очень трудный — с двумя тяжелейшими операциями, и еще ночь миновала, в общем, без настоящего сна. Так — урывками. Только на рассвете, на морозном рассвете, после второй ночи юной женщине Туш стало легче. Физиологический раствор, раствор глюкозы, внутривенные, капельные вливания втащили ее обратно из-за того порога, куда она уже ушла. И грелки, с которыми Володя бегал эти ночи от «мадам повар» в маленькую третью палату, и то, как они вдвоем с Богословским приподнимали совершенно невесомую, словно перышко, Туш, чтобы она полусидела, и зонд — все вместе спасло Туш. Еще через день она даже смогла поплакать по своему похороненному первенцу, а потом попила молока и уснула. Володя стоял над ней и смотрел, как она дышит. И рядом с ним — плечо к плечу — стоял Тод-Жин и тоже смотрел. Смотрел своими бесстрашными, жесткими, неподвижными, не боящимися солнца глазами орла.

— Она будет работать у тебя в больнице, товарищ, да, так,— сказал Тод-Жин.— Она умная и легконогая девушка, да. Я знал ее мужа, хороший муж, он умер потому, что здесь не было тебя, товарищ. Его повезли на коне далеко, и он умер, а когда вскрыли тело, то оказалось, что его совсем просто было вылечить. Он был членом нашей партии здесь — первым, да, так.

Когда Туш проснулась, Тод-Жин один сидел на табуретке возле ее кровати. Она взглянула на него с удивлением. Он заговорил негромко:

— Здесь, в больнице, тебе сохранили возраст, Туш. Ты теперь одна, Туш. Но если ты останешься тут, ты не

будешь одна. Человек должен совершать хорошие поступки. Ты будешь их совершать тут. Потом, со временем, если ты будешь достойна этой великой чести, мы направим тебя в город городов, в Москву, учиться. Ты еще совсем молода, ты можешь успеть выучиться на доктора, на человека, который дарит людям возраст. Твой муж надеялся вместе с тобой уехать учиться. Ты должна выполнить его желание.

— Да,— сказала Туш.

— Ты все поняла?

— Да.

— А почему ты плачешь?

— Я плачу потому, Тод-Жин, что умерли и мой муж, и мой первенец.

— Не плачь, Туш. Они умерли потому, что мы живем еще дикой и глухой жизнью. У тебя был аппендицит. Он начался не сейчас, а раньше. Еще когда я был у вас в прошлую зиму. Если бы у нас тогда был доктор, ты сохранила бы своего первенца и своего мужа. Ты поняла меня?

— Да!

— Прощай, Туш.

— Прощай, Тод-Жин.

В этот день Богословский и Тод-Жин уехали. Пожимая Володину руку, Богословский сказал:

— До свидания, Владимир Афанасьевич. Я рад был вас видеть. Думаю, что мы еще встретимся. Во всяком случае, где бы я ни был, если не имеете возражений, стану тащить вас к себе...

Подумал и строго добавил:

— На вас можно положиться, так мне кажется.

Володя стоял багровый: видимо, он действительно ничего доктор, если Богословский говорит ему такие слова. А Тод-Жин попросил:

— Очень, совсем поверь Туш. Она будет тебе хорошо помогать, да. И старуха Опай — она может еще помогать. Многие могут помогать, если найти к ним путь. Да, так?

— Да! — сказал Володя.

Они уехали, и Устименко остался один на один со своей больницей и со своими больными. И еще со своей начинающейся славой.

Ну и страшно же ему было в этот вечер!

Опять один

Дед Абатай действительно теперь слышал, как в юности, и селение Кхара не могло надивиться на это маленькое чудо. Все глухие не только из Кхары, но из дальних стойбищ потянулись к Устименке. А когда он говорил, что не может вылечить того или иного из глухих, они не верили, предлагали «отблагодарить» оленем, овцой, лошадью, один древний старик-вдовец пообещал даже «совсем хорошего верблюда»,— старик этот собирался жениться, а жениться глухому было как-то немного совестно. И дед Абатай, который невероятно уверовал в Володино медицинское могущество, советовал:

— Вы его мало просите. Надо хорошо просить, долго, плакать надо, кланяться до самой земли. Он *великий шаман!*

С глухими у Володи не ладилось.

Зато Кук-Боста, из которой они с Богословским откачали три ведра жидкости, и добрая, толстая Опай, и легконогая Туш — везде прославляли советского доктора Володю, русскую больницу и русских новых, не *таких* людей. Не *такие* — это значило: не Маркеловы. Маркелова здесь боялись и ненавидели; почему — Володя толком не знал.

Егора Фомича Володя встречал часто, когда ходил на вызовы в дальние юрты Кхары. Маркелов вглядывался в Володю внимательно, здоровался вежливо, потом долго провожал недобрыми, цыганскими глазами. Однажды Володе показалось, что Маркелов хочет ему что-то сказать, и он остановился. Но Маркелов зашагал прочь, опираясь на свою тяжелую дубину, подволакивая ногу.

С тех пор как Устименку стали вызывать к больным, очень пошатнулись дела ламы Уя и шамана Огу. Хитрый лама даже покинул Кхару. А Огу остался и нарочно ходил по Кхаре во всем своем облачении, предназначенном для камланья: ему казалось, что так он выглядит внушительнее и страшнее. Но дед Абатай наврал, что слышал от достопочтеннейших русских докторов, как Огу нарочно наколдовал болезни многим людям и, в частности, Кук-Боста за то, что она недодала ему одного барана, и Огу стало совсем худо. Он теперь остался только злым колдуном, а не врачевателем, злые же кол-

дуны вовсе ненужны людям, разве что навести на кого-либо порчу, но ведь на такие доходы и воробей не прокормится, не то что Огу, который и водку пил, и без мяса не умел обедать.

— Совсем плохо теперь стало проклятому Огу! — вздыхал дед Абатай.

Даже ребятишки кричали вслед шаману разные непристойности, когда он тащился между юртами, позванивая своим бубном, в высокой шапке, на которой жилами было вышито отвратительное человеческое лицо, со своим обвитым лентами шестом, возле которого висели три мешочка: в первом — «небесный камень», в другом — «земной», а в третьем — пища для этих «живых» камней.

— Отдай нашу овцу, собака! — кричал шаману один сорванец.

— Не смей ходить мимо нашей юрты! — пищал второй.

— Мы тебя не боимся! — кричал третий, но это была чистая неправда. Они все его боялись, да еще как!

Стоило шаману Огу обернуться своим остреньким лицом, да еще сделать страшную гримасу, да еще потрясти шестом с лентами, как все храбрецы с воем разбегались, а потом долго дрожали и произносили заклинания от дурного глаза проклятого колдуна: захочет — и заведется у тебя в животе три ведра воды, как у Кук-Боста,— потом режь и откачивай, это, ого, как больно!

Работы у Володи было очень много, и теперь он не стыдился, слушая далекую Москву,— он делал свое дело, и, наверное, сносно. В общем, правильно, что сюда послали его. Пожалуй, справился бы и Пыч, и Огурцов, а насчет Светланы и Нюси — это вряд ли...

Однажды, послушав Москву, он настроился на Вену, чтобы послушать музыку, лег и закрыл глаза. Но тотчас же сел на койке — вместо музыки вдруг заговорил австрийский канцлер Шушниг, только что приехавший из гитлеровской резиденции — Берхтесгадена.

Слышно было на редкость отчетливо, и к полуночи Володя все понял: фашист Зейс-Инкварт объявил, что, сменив бывшего канцлера, он попросил Гитлера послать в Австрию войска. Вальсов больше не передавали, вместо Неоконченной симфонии Шуберта, которую Володя так часто слышал раньше, загремел военный оркестр, и, наконец, какие-то луженые глотки проревели нацистскую

песню о Хорсте Весселе. Вот оно — начиналось то самое, о чем предупреждал отец, когда говорил о том, что войны «подзадержат науку вашу», то, о чем говорил и Родион Мефодиевич.

Володя еще повозился у приемника.

Все радиостанции передавали музыку. «Танцуют! — горько подумал Устименко.— И Париж танцует, и Лондон, и Рим... Эх, сейчас бы с теткой поговорить, хоть полчаса, хоть час...»

Он хотел было лечь спать, но постучала «мадам повар» — привезли с прииска обожженного мальчика...

Теперь часто выдавались совсем бессонные ночи.

С первыми теплыми ветрами исчез из Кхары шаман Огу. Люди говорили, что, перед тем как уйти в тайгу, он долго колдовал перед больницей, и люди боялись, что больница провалится «сквозь землю», или умрет доктор Володя, или случится большой пожар. Но время шло, и ничего не происходило.

Дурная язва Кол-Зала почти совсем зажила. Нынче, когда жители Кхары увидели вернувшегося в свою юрту Кол-Зала и поняли, что эту болезнь лечат, от больных не было отбою. И других заболевших тоже было достаточно. Сейчас кровати стояли даже в коридоре, и в больших сенях, и в маленьком коридорчике, который вел в кухню к «мадам повар». И два смертных случая никого не напугали, Володя не пожалел времени и объяснил больным, что эти двое бедняг слишком запустили свои недуги — тут уж никакая наука ничего не могла поделать.

— Надо приходить ко мне вовремя,— сказал он строго,— и тогда никто не лишится возраста.

Но недаром говорят, что хирург умирает с каждым своим пациентом. И это испытал Володя, один вскрывая трупы погибших. Он не был виновен в этих смертях, но все ли он сделал, чтобы спасти молодого пастуха, доставленного с тягчайшим перитонитом, и пожилого охотника, которого задрал медведь. «Они оба умерли после операции — значит, вследствие операции». Впрочем, охотник одиннадцать дней пролежал в юрте, прежде чем родственники доставили его в больницу. И опять проклятая фраза: после — значит, вследствие.

Мертвых увезли, по обычаю, на лошадях в горы. Володя не мог смотреть в глаза родным. «Светланочка,

Женечка Степанов! — вспомнил он институтских товарок и товарищей.— Мишенька Шервуд! Ординаторы, будущие научные светила, иждивенцы, объедалы, как-то вам поживается?» И, потягиваясь бессонной мучительной ночью на узкой своей койке, мечтал: «Ничего, встретимся, я вам все скажу, скоты!»

«В общем», как любил выражаться Евгений Степанов, Володя невероятно уставал, уставал до того, что после рабочего дня не мог уснуть. Утром и вечером он принимал в амбулатории и не справлялся. Потом обходы, назначения, вызовы. Разве мог он не пойти, когда его звали к больному? И два раза в неделю операции. Операции без помощников, без хирургической сестры, без ассистентов. Ведь нельзя же было считать трусливого Данзы хотя бы подобием помощника? Ох, какое это было мучение, какая каторга, сколько сил стоили эти операции, каким фокусником сделался Володя, хоть в цирке выступай. И как научился он держаться, как не позволял разбалтываться собственным нервам, которые, оказывается, у него были...

«Ты надорвешься, мальчик мой родной! — писала ему Аглая.— Ты не выдержишь. Приезжай в отпуск, поедем на Черное море!»

Володя грустно улыбался. Разве могут они реально понять там, в Советском Союзе, здешние обстоятельства? Даже такие умные люди, как тетка и Родион Мефодиевич. На кого он оставит больницу? Оставить сейчас то, что с таким трудом создано,— это значит погубить дело, вновь посеять недоверие, вновь уйти с занятых позиций. Впрочем, Родион Мефодиевич понимал: «Твой отец был бы рад за тебя,— написал Володе Степанов,— можешь мне поверить. И если поразмыслить, то ты поднял эстафету Афанасия Петровича и действуешь так, как он действовал там, где мы с ним были. А все же побереги себя, тут Аглаюшка права».

Милую женщину по имени Туш Володя уже давно начал понемножечку приучать к работе хирургической сестры. Это были трудные обязанности, но Туш так старалась, так горячо хотела научиться, так горько плакала, если Володя вдруг на нее покрикивал, так смотрела ему в глаза, желая угадать его мысли, с тем чтобы предупредить приказание, что со временем он перестал на нее сердиться, а только мягко говорил:

— Не следует, Туш, волноваться, и все пойдет отлично.

Туш была очень сообразительна, легко и быстро двигалась, ловкие, маленькие, смуглые руки ее радостно и толково выполняли то, что нужно было для больного, для операции, для дела, которому она только еще училась. Больные всегда звали Туш, без нее стало трудно обходиться, самую тяжелую, неприятную, грязную работу она начинала и кончала, словно это и не работа вовсе, а неожиданно выпавшее на ее долю счастье.

Володю Туш учила языку своего народа. И учила тоже с радостью, живо и весело, поблескивая темными, с золотыми ободочками зрачков глазами, чуть улыбаясь маленьким розовым ртом.

К весне Устименко, хоть и с трудом, но уже понимал и охотников, и скотоводов, и землепашцев («поящие землю водой» — так назывались они здесь, потому что проводили арыки), и не только понимал, но и говорил немного, самое главное, то, без чего было трудно обходиться. И уже без улыбки на традиционное приветствие отвечал, что скот его здоров, и сам спрашивал то, что положено было вековой вежливостью. А Туш, скромно опустив глаза, поправляла его, когда он делал те или иные ошибки.

Мады-Данзы ненавидел Туш, но скрывал это, предполагая, что женщина просто-напросто нужна Володе, потому что она красивая и молодая женщина, а Володя красивый и молодой мужчина. Изредка он замечал, как Туш смотрит на Володю, каким обожанием светится ее взор, и замечал также, что Володя вдруг беспричинно краснел в присутствии Туш, и Данзы было странно, что Туш так долго не ложится в постель с доктором. Впрочем, это не слишком занимало его. Гораздно неприятнее было то, что Туш сделалась теперь главнее Данзы, и даже дед Абатай пробовал делать Мады-Данзы какие-то указания. Вообще, они — Абатай и Туш — встряли между доктором и Данзы, мешая ему быть самым главным в Кхаре и самым нужным человеком для доктора.

Победить же их он не мог.

«Мадам повар» очень любила Туш, и дед Абатай тоже был на их стороне,— один с троими Данзы никак не мог справиться и только терпел в ожидании того случая, когда из столицы приедет *он* и Данзы расскажет

ему, что эти трое все большевистские. Так именно и скажет *ему:* «большевистские!» Их троих выгонят. Что произойдет потом — Мады-Данзы не думал.

Вечерами, когда в больнице становилось потише, Володя горько и нежно, подолгу думал о Варваре. Кровь горячо била в виски, горело лицо, хотелось позвать: — Варюха! — вдруг откликнется, вдруг подойдет, спросит, как бывало:

— Чего ты, Володя?

Но никто не подходил. Устименко крепко сжимал зубы, подвигал к себе медицинскую книгу. Но образ Варвары не исчезал, с ним не так-то легко было справиться. Володя встряхивал головой, ругался, заставлял себя думать о Варе как можно хуже. Пусть делает что угодно! У него своя жизнь, у нее своя! Каждый шагает своим путем! Огни, цветы, вихрь вальса, поцелуи, а затем, разумеется, то, что Женька называет «физиологией». Пот проступал на Володином лбу, руки дрожали, делалось душно, он распахивал форточку, потом вновь садился к столу. Недешево ему обходилось заставлять себя вдумываться в прочитанное, но все-таки он читал, он обязан был читать.

Тод-Жин выписывал для всех своих докторов и книги, и журналы на разных языках, и это очень помогало Володе, — ведь он не мог бывать в клиниках, не мог посещать конференции и научные заседания, он мог только читать. Работать, читать, размышлять.

И писать письма.

Теперь он часто писал Богословскому, помногу и с удовольствием. Это были странные письма. Большей частью Володя спрашивал советов, а иногда вдруг писал нечто вроде речей, или программ, или рефератов. Так, например, однажды он написал Николаю Евгеньевичу о том, как неправильно принимать молодежь в высшие учебные заведения прямо со школьной скамьи. «Вот, например,— писал Володя,— проработали бы наши Нюси и Светланы санитарками или медсестрами годика три-четыре-пять, тогда бы они поняли — хотят сии барышни быть врачами или вообще желают приобрести высшее образование за государственный счет. Разве я неправ?»

Богословский отвечал на каждое письмо, споря, но не наставляя. Насчет «Нюсь и Светлан» с Володей не согласился, ответив, что тут, по его мнению, нужно исхо-

дить из каждого данного отдельного случая. «Например, вам,— написал Богословский,— вовсе не имело смысла тратить ваши лучшие годы на то, чтобы работать санитаром, вы и так знали что к чему, не правда ли? Смею думать, что и мне незачем было работать несколько лет братом милосердия».

Как-то именно в эти дни трудных размышлений о своем деле, в дни усталости, крайнего раздражения на всех вместе взятых «подлипал и подхалимов», которые живут, как писал Маяковский, доходнее и прелестней, он получил вдруг письмо от Вари. Всем своим тоном, очень хорошей и чуть даже надушенной бумагой, плотным конвертом, шуточками — письмо Варино сразу оскорбило Володю. Варя писала, что с грехом пополам она кончила этот «противный» геологический техникум, что руки у нее развязаны, и, хотя Родион Мефодиевич очень этому не сочувствует, она окончательно и бесповоротно решила уйти в театр. По всей вероятности, нынешней осенью, не позже, а то и раньше, она переедет в Москву, в студию при театре, при каком именно — Володя не разобрал. Писала она и про то, что они, наверное, увидятся в старости, когда Володя будет светилом в какой-нибудь московской клинике, ведь не век же ему ездить по заграницам, все крупные профессора в конце концов возвращаются на родину. Так вот, пусть он тогда отыщет ее — маленькую актрисенку — где-нибудь в Москве и не погнушается вспомнить с ней глупое детство...

Володя дважды перечитал письмо и сел писать ответ.

Пожалуй, ни разу в своей жизни он не писал так длинно, так жестоко и безапелляционно. Впрочем, он не старался быть жестоким, так получилось само собой. Он рассказывал ей свою жизнь здесь, и то, как жил он, не могло не быть упреком ей и всем таким, как она. Он так и писал — не ты, а вы: вы все; такие, как ты; вы — Евгении, Светланы, Нюси, Варвары! Вы предполагаете, что я напяливаю вечером фрак, да? Так вот, почитайте, как я живу! Это была гордая жестокость, он не жаловался, он требовал от всех такой работы и негодовал на дезертиров, издевался над ними, поносил их всеми самыми последними словами. И про свою будущую хирургическую сестру Туш написал он Варе, написал, что все они вместе не стоят подметки этой Туш, написал про операции, которые он делает один, про зимние вью-

ги и шаманов, про пятидесятиградусные, трескучие морозы, про Тод-Жина, написал о своей тоске в ту пору, когда к нему не приходил ни один больной, и написал о том, что *совершенно полностью счастлив,* несмотря на то, что она *предала его.*

«Ты предала меня, я не боюсь этого слова,— писал он,— ты могла бы приехать сюда и быть мне верным помощником в том, пусть невидном, но необходимом деле, которое я делаю. Ты была бы наркотизатором и ассистентом, ты была бы мне женой и товарищем, а теперь ты ждешь своих дурацких цветов и огней? Поверь, их нет на земле, есть только удовлетворение своим делом. Кто же ты теперь? Геолог? Нет! Артистка? Тем более нет! Как же можешь ты спокойно жить и даже пошучивать, нося при этом комсомольский значок! Выйди из комсомола, ищущая себя!»

Черт знает что это было за письмо, но он не стал перечитывать. Уж очень нелегко ему жилось и работалось нынче, несмотря на все слова об истинном счастье. Уж очень длинными были ночи, когда он обдумывал операцию, которую станет делать утром; уж очень велика, почти невыносима была ответственность за человеческую жизнь, «вверенную ему»; уж слишком трудно он размышлял о долге и о свободной воле, о назначении своем на земле, о праве «отсиживаться» здесь, когда Красная Армия штурмовала линию Маннергейма.

Дважды он писал Богословскому требования отправить его в действующую армию, и дважды Николай Евгеньевич сухо отвечал, что, вполне разделяя Володины чувства, не имеет возможности ликвидировать больницу в Кхаре.

Весенними вечерами Володю стала мучить тоска: внезапно ужасно захотелось пойти в театр, в большой, красивый, праздничный театр, и непременно с Варей. Чтобы она трещала свой милый вздор, а он бы отвечал: «Перестань болтать глупости», чтобы не пахло больницей, чтобы была потом широкая, светлая улица после дождя, лужи, в которых отражаются электрические матовые фонари, и чтобы не нужно было вскакивать ночью, когда в дверь стучит Туш: «Привезли очень плохого, так, да, сейчас он потеряет возраст, да?» Но и с этим Володя справился: не легко, а все-таки справился. Он велел себе не думать о том, о чем не следовало думать.

Глава пятнадцатая

Колдун

В марте, когда зима переломилась и дни стали солнечнее, а морозы не такими трескучими, в Кхару приехал помощник Володе — молодой, пухлогубый и очень славный парень Васенька Белов, врач из Ленинграда. Он, как и Богословский с Тод-Жином, успел искупаться в полынье, видел в пути стаю голодных волков, привез с собой хорошее «папино, знаете?» ружье, массу гильз, пороху, дроби, лёсок, крючков, пыжей и руководств-справочников по медицине. Были у него и фляжка с коньяком, и портрет «просто одной подруги, можно сказать, детства», и трубка, которую он курил «знаете, так, от нечего делать». На Володю Васенька смотрел снизу вверх, к больным относился благоговейно, про Туш сказал, что в ней он видит «просыпающееся национальное достоинство миллионов прекрасных людей». Володя разговаривал с Васенькой вялым тоном все повидавшего и все знающего старика. Да иначе с пухлогубым доктором и нельзя было. То и дело он задавал вопросы:

— Скажите, Владимир Афанасьевич, а тигры здесь водятся?

— Я лично их не имел чести встречать.

— А росомахи?

— Вы потолкуйте с дедом Абатаем.

— А ядовитые змеи? И, простите, если водятся, то какие именно и как вы боретесь со змеиным ядом?

— Про змей я, Вася, не слыхал,— сказал Володя, но, вспомнив Богословского, поправился: — Простите, Василий?..

— Иванович,— сконфузившись, произнес Вася.

— Василий Иванович. Не слыхал я про змей, и бороться мне с их ядом не приходилось.

— Жаль. А я вот специально привез монографию «Ядовитые змеи».

— Тут я ничем не могу помочь.

— Ну, а вообще, какие-нибудь из ряда вон выходящие случаи были?

— Здесь все, Василий Иванович, из ряда вон выходящее.

— Нет, я в другом смысле, Владимир Афанасьевич. Видите ли, у меня имеется корреспондентское удостоверение от молодежной газеты, и мне хотелось бы, если вы, конечно, не имеете возражений, иногда писать такие заметки, очерки, вообще освещать наши будни...

— Ну и освещайте на здоровье. Только не во вред своим прямым обязанностям, потому что здесь их у вас будет немало.

Жили они вдвоем в одной комнате. По вечерам Вася либо сочинял все один и тот же очерк под названием «Будни энской больницы», либо писал длиннющие письма. Однажды Володе случайно попался листок, который он прочитал: «...тельный, колоссальный человек. Его железная воля и научное предвидение, его идейная преданность своему делу дают мне право думать, моя далекая любовь, что В. А. Устименко и есть тот характер, который мне следует окончательно принять за основу...»

Дальше Володя читать не стал. Ему вдруг стало совестно чего-то, будто он обманывал Васю. Но ведь он не обманывал!

И с Абатаем Вася тоже подружился. Старик теперь немного говорил по-русски, Туш помогала им обоим, и Вася подолгу слушал нехитрые, но очень смешные сказки деда и даже записывал для своей будущей «брошюры» о больнице в Кхаре.

Работы было по-прежнему очень много, но с приездом Белова Володе стало куда легче, и Устименко с удовольствием почти каждый день говорил об этом Васе, а тот смешно краснел, почесывался и отвечал:

— Да ведь что... Захвалите вы меня совсем, Владимир Афанасьевич... Если бы не вы...

И трудился еще старательнее, еще энергичнее, еще больше. От похвал он делался лучше, от любого, даже самого безобидного замечания надолго скисал, мрачнел, живые, всегда веселые глаза его погасали.

Теперь Устименко мог хоть и ненадолго, но все-таки

оставлять свою больницу. Верхом он съездил на Урчунский прииск и обследовал там всех больных и здоровых,— это была длинная, кропотливая, но необходимая работа. Побывал он у рыбаков в Остью-Бе, объехал много кочевий Джищи. Сопровождал его обычно Мады-Данзы, во вьюках было кое-что из необходимого инструментария, медикаменты, палатка, спальные мешки. И славно делалось на душе у Володи, когда конь уверенно ступал по почти невидимой тропке в тайге или над каменистым обрывом возле Таа-Хао, когда рокотали внизу пороги бурной реки, а сверху крепко и ровно грело весеннее, доброе солнце; славно было видеть шумное и радостное возбуждение во всем кочевье, когда навстречу ватагой бежали ребятишки, а за ними степенно, спокойно выходили знающие себе цену мужчины — отцы и деды, когда приветливо кланялись женщины и каждый хозяин и каждая хозяйка звали именно к себе, в свою юрту на обед, на ужин, просто так — для приличной беседы; славно было задавать привычный вопрос вежливости о здоровье скота и выслушивать такой же вопрос — со смешливыми искорками в глазах у спрашивающего, потому что все знали: русский доктор не имеет скота, но как же начать разговор?

Да, в этих юртах, у этих очагов, в приисковых жилищах и на рыбацких становищах встречались и вши, и трахома, и сифилис. Были зрелища ужасающие, картины, от которых Володю — человека привычного — что называется, воротило с души. Но, засучив рукава халата и вымыв свои крупные руки, он делал все, что было в его силах, а потом отправлял больного на носилках, особым способом приделанных к двум лошадям, в свою больницу с запиской Васе. Больница постоянно была переполнена, но это была больница; оттуда люди выходили, как правило, здоровыми, и все дальше и дальше, из кочевья в кочевье бежал слух о том, какой удивительный, небывалый доктор живет в Кхаре. И все меньше и меньше верили кочевники шаманам и ламе, все глубже в тайгу и в тундру уходили они. И все больше и гуще становилась там, далеко от Кхары, их злоба на Володю, на его больницу, на нового доктора Васю, на Туш, которая работала вместе с этими русскими, даже на деда Абатая.

Впрочем, Володе пока что не было от всего этого ни холодно ни жарко. Ламы и шаманы больше не перебе-

гали ему дорогу, и он забыл о них, как забыл о Маркелове. Слишком много он занимался делом, слишком много и сосредоточенно работал, чтобы помнить о том или о тех, кто в данное время исчез с его пути.

Уже осенью, в сентябре, его разбудили на рассвете. Из бессвязного рассказа посланного мальчика он только понял, что произошло что-то нехорошее и что надо помочь людям, находящимся далеко отсюда, насколько далеко — измученный и испуганный мальчик объяснить не мог.

Мады-Данзы заседлал коней, подтянул вьюки. Утро было холодное, Володя зябко зевал, никак не мог проснуться толком. К полудню наконец выяснилось, что пути более ста километров, а сколько более — мальчик тоже не знал, что раненых не один, а трое, что первый, наверное, уже «лишился возраста», а другие двое, может быть, и дождутся.

Дорога была трудной, сначала берегом, тут Володя уже ездил, а потом для сокращения пути — тайгой. Ветви хлестали по лицу, рвали одежду, кони посапывали, поводили устало боками. На полянке близ Джем-Чу — в этом селении Володя когда-то бывал — они встретили с десяток всадников; по лентам, вплетенным в гривы и хвосты лошадей, Устименко понял, что пострадавшие уже ошаманены. Данзы возбужденно заговорил со стариком, неприязненно поглядывающим на Володю; из разговора было ясно, что там — у раненых — распоряжается сбежавший из Кхары шаман Огу. Мальчик поехал за доктором самовольно, убежал, старик грозил ему теперь жестоким наказанием.

Только в сумерках Володя с Данзы и мальчиком, которого звали Ламза, доехали до высокого, поросшего кедрами холма близ шумной реки Таа-Хао. На подветренной стороне холма горело шесть костров; в сумерках, на фоне чадящего пламени, фигуры людей перерезали Володе путь, остановились в ожидании. У всех, даже у мальчишек, были ружья. Наверное, напились молочной водки, — предположил Данзы и посоветовал уезжать, пока целы.

— Они очень пьяные, так, да, — сказал Мады-Данзы, — нехорошо будет, совсем нехорошо!

Володя спешился, кинул поводья Данзы; широко расставляя ноги, пошел прямо на всадников. Они не рас-

ступились, стволы охотничьих ружей тупо смотрели в Володино лицо. Чувствуя, как ему страшно, но зная, что иначе поступить нельзя, он отпихнул от себя морду коня, нажал плечом на чье-то стремя, выругался и стал подниматься на холм. Сзади, чуть сбоку, попискивая от страха и стараясь быть как можно ближе к доктору, семенил Ламза — сын того, кто, наверное, уже «лишился возраста»...

Между пламенем дымных костров два человека лежали, один сидел на подпорках-рогатках, поддерживающих его под мышки. Глаза его с мучительной тоской всматривались вдаль. По всей вероятности, он уже ничего не видел, потому что не узнал своего собственного сына. Рядом с отцом Ламзы сидел шаман Огу, и Володя мгновенно перестал чего-либо страшиться, когда понял, что тут происходит.

Возле умирающего было приготовлено все то, что могло ему понадобиться в той, далекой жизни, в следующей по очереди жизни, как любил выражаться Данзы; здесь были табак, здесь были и спички, была и молочная водка, было и мясо, была пара новой обуви, была и плетка. Его — еще живого — уже провожали, и Володя нарушил своим появлением и своим вмешательством закон смерти, который уже был объявлен шаманом Огу. Выполнение закона смерти охраняли всадники, наученные шаманом: если отец Ламзы остается живым — значит, Огу умрет, больше ему не жить как шаману.

— Все готово тебе, все хорошо приготовлено, ничего не забыли, отправляйся же, иди, у тебя больше нет возраста, — говорил шаман Огу, не видя еще Володи и не слыша его шагов за треском валежника в пламени. — Иди, не жди...

— Убирайся отсюда вон, колдун! — крикнул Володя.

Огу медленно оглянулся, увидел Володины сапоги и встал. Он встал, но это был не тот Огу, который шарахался от Володи в Кхаре, это был другой — довольно-таки наглый хозяин тайги, да еще пьяный, да еще с ножом в руке, с большим ножом, которым он только что строгал мясо для дальнего пути отцу Ламзы. И нож теперь он держал для удара — острием кверху, чтобы убить ненавистного русского доктора в живот и еще повернуть нож, — Огу знал, как убивают, хотя не знал, как лечат,

Несколько секунд они простояли друг перед другом в свете костров, озарявшем их лица. В левой руке шамана позванивал бубен. На высокой шапке его было вышито отвратительное подобие человека. Шаман Огу был здесь, чтобы выполнить закон смерти, — и он защищал смерть, а Володя приехал сюда, чтобы вернуть человеку жизнь, — и он защищал жизнь, защищал, совершенно позабыв вдруг про себя. И схватив шамана повыше кисти, он так сжал другой рукой ему запястье, что колдун выронил нож и отпрянул во тьму, за костер, что-то визжа оттуда и колотя в бубен.

Володя же нагнулся над отцом Ламзы.

Конечно, смерть была близка, но с ней еще можно было подраться.

Скинув ватник, Устименко взялся за дело, а двое других охотников, которые лежали возле костров, наперебой со стонами начали рассказывать ему, как все случилось. Он слушал вполуха, но какие-то отрывочные фразы доносились до него — насчет удачной охоты и про то, как кончились патроны, и про то, как недоброжелатели охотников, таежные черти Зумбр и Кур, наверное, ухитрились перебежать отцу Ламзы, славному из славных охотнику, дорогу. Взорвался патрон — вот что случилось, взорвался, когда отец Ламзы готовил патроны. Они все сидели совсем близко, но отец Ламзы наклонился над патроном, весь заряд и ударил ему в грудь.

— Осторожно! — заячьим голосом закричал сын Ламзы, и тотчас же Володя услышал за собой сухое щелканье.

Он обернулся.

Шагах в десяти от него, совершенно белый, держа двустволку в руке, стоял шаман Огу. Он спустил оба курка, но двустволка отца Ламзы не была заряжена. Только поэтому Володя «сохранил возраст» — в тайге умеют стрелять, а шаман Огу не промахнулся бы.

Володя шагнул было к шаману, но Огу бросил ружье и пополз к Устименке. Он полз и кланялся, полз и прикладывал лицо к земле. Теперь он искал защиты у человека, которого хотел убить. Только Устименко мог спасти его — нарушившего закон смерти, его — собравшегося стрелять в спину. И, обхватив Володин сапог, он приник к нему щекой и стал подвывать и просить, визжа и охая...

— Возьмите! Слышите? — крикнул Устименко.— Возьмите ружье и зарядите его — встаньте за моей спиной, потому что мне нужно работать. Возьми ты, Ламзы. Может быть, еще твой отец и не лишится возраста. Но я не могу лечить, если мне стреляют в спину. А шаман пусть убирается к черту!

Он был очень сердит, Володя, и опять почему-то ему вспомнились Нюся Елкина и Светланочка.

Мальчик Ламзы сунул два патрона в стволы и встал к спине Володи. А всадники, спешившись, один за другим, подходили поближе, чтобы посмотреть на того человека, про которого Огу рассказывал, что он не умеет лечить, а умеет лишь убивать — убил двоих в своей больнице, а потом еще надругался над ними — разрезал их мертвые тела, чтобы украсть себе в запас хорошие, здоровые охотничьи сердца.

Но Устименко решительно никого не видел. Он работал: при неровном красноватом свете угасающих костров Володя разглядывал рану, от которой исходил удушающий запах гниения. Рана находилась у правого края грудины, края ее омертвели, выходного отверстия Володя не увидел.

— Который день он здесь на этих чертовых рогатках? — спросил Устименко.

— Пятый! — услужливо ответил Мады-Данзы.— Да, так, пятый. Они не понимают, они глупые, дураки, да...

Продолжая исследовать рану, Володя приказал Данзы нести инструменты, подбросить много хвороста в костры и приготовить для мытья руки для операции...

Шаман Огу уже успел насовать в раны обрывки целебного меха лисицы, смоченного слюной волка и топленым жиром белки. Надо было оперировать немедленно, но отец Ламзы задыхался, если его клали на спину. И наркоз давать было некому.

Володя налил полкружки спирту и, разбавив водой, поднес к запекшимся губам отца Ламзы.

— Пей, друг! — сказал Устименко громко и сильно.— Ты жив, ты не лишился возраста. Выпьешь залпом, и тебе будет лучше. Слышишь, друг? Не входи в болезнь, не поддавайся ей, и скоро ты опять отправишься на охоту.

Глаза, исполненные страданием, медленно приоткрылись.

— Пей! — приказал Устименко.

И, когда отец Ламзы вздохнул с облегчением,— ввел ему морфин.

Он начал исследовать рану при свете костров, чадно и жарко пылающих. Вокруг неподвижной стеной, отгораживая его от ноющего и подвывающего Огу, стояли охотники. Отец Ламзы дышал с хрипом, мальчик трясся и всхлипывал возле Володиного плеча. В кронах кедров подвывал ветер, далеко внизу бурлили неспокойные воды Таа-Хао. Двое других раненых, приподнявшись и позабыв о собственных страданиях, смотрели на руки Володи, на блестящий пинцет, на злое, гневное, напряженное лицо русского доктора.

Глубина раны была сантиметров одиннадцать; при исследовании раны пальцем Володя почувствовал на дне ее крупные дробины, катышки целебного меха и войлочный пыж. Все это он извлек.

Передохнув с минуту, Володя наложил влажную повязку с тампонами и поднялся. Отец Ламзы дышал ровнее, пульс был еще мягкий, но куда лучше, чем раньше. Не менее часа ушло на двух других охотников. С ними тоже потрудился проклятый шаман Огу. И, кроме того, они были обожжены.

С бьющимся сердцем, с колотьем в боку и ноющими ногами Володя встал. По-прежнему чадно и горячо пылали огромные костры. Охотники в своих коротких оленьих шубах, простоволосые, смугло-желтые, стояли стеной — они не ожидали, что доктор так резко и внезапно обернется к ним.

— Ну? — спросил Устименко на языке, который они понимали.— Ну? За что же вы встретили меня, как врага? Что сделал я вам дурного? Ведь ваш шаман Огу хотел застрелить меня, и вы видели это, и никто из вас не пошевелился.

— Мы не смели! — сказал чей-то грубый голос.— Тогда мы боялись шамана. Он мог покончить со всеми нами.

— Он ничего не может! — сказал Устименко.— Он трусливый дурак! Он не работает, как вы, он только обирает вас, а вы его боитесь.

— Нет,— сказал другой охотник.— Теперь нет. Теперь мы убьем его.

— И этого тоже не будет! — крикнул Володя.— Он

не будет убит, вы слышите? Я не позволю это вам!

К утру всех троих раненых снесли на плот, пригнанный за ночь из становища. Шаман Огу до тех пор ползал у ног Володи, пока тот не велел ему тоже идти на плот, но предварительно Огу должен был бросить в Таа-Хао свою высокую шапку, бубен и жезл с живыми камнями. Шаман завыл в голос, охотники засмеялись. Володя стоял на плоту с сомкнутыми губами, осунувшийся, небритый.

— Прости меня! — закричал Огу.

— Ты поедешь со мной так, как я сказал, или не поедешь совсем,— произнес Устименко.— Понял, Огу?

И Огу, дрожа и всхлипывая, бросил в могучие воды Таа-Хао все знаки своего шаманского достоинства. Как это ни удивительно, а он все-таки верил в свою шапку, в свой бубен и в жезл. Верил и, когда шапка закачалась на воде, навеки смирился. Только спросил Володю:

— Что же я теперь стану делать? Как я прокормлюсь?

— Ты будешь приходить ко мне в больницу и колоть дрова. За это ты будешь сытым.

— Но я не умею колоть дрова! — обиделся Огу.

Володя пожал плечами. В пути он ни с кем не разговаривал, было горько на душе и ужасно обидно. Долгие годы вспоминалось ему сухое щелканье курков двустволки за спиной. Управлял плотом старый местный поселенец Хиджик, раненые лениво переговаривались между собою, следили, как плот спугивает уток, гусей, как спугнул глухаря с берега. К вечеру стали слышны воющие пороги; отец Ламзы, бывший шаман расстрига Огу и двое других раненых сначала влезли повыше — на сооружение вроде широкого топчана, потом, оставив там только одного Ламзы, спустились бросать порогу жертву — деньги и сухари с солью.

— Держись все! — приказал Хиджик.

Плот круто накренился, нос ушел в воду, корма взвилась, чиркнув по каменьям. Вал с пеной, воющий, шумный, пронесся, плот крутануло влево, вправо, порог остался сзади. Отец Ламзы спросил кротко, бросили ли его жертву — старую медную ружейную гильзу. Потом, тяжело дыша, обратился к Володе:

— Вылечишь меня, да, доктор?

Володя вздохнул, улыбнулся: разве мог он сердиться на людей, которые бросают порогу жертву?

В ноябре Володя удалил отцу Ламзы секвестр грудины, под которым застряла металлическая пуговица и две дробинки. И в ноябре же к нему в больницу пришла дочь Маркелова с просьбой навестить тяжело заболевшего отца.

— Что с ним? — спросил Устименко.

— Разве добьешься? — угрюмо ответила Пелагея.— Скрипит зубами, и все. И водку пьет до безобразия. Отощал, ночи не спит ни единой.

— Это меня зовет он или вы?

— Я! — потупившись, произнесла девушка.

В чем же смысл жизни?

Под вечер, взяв электрический фонарик, стетоскоп и несколько таблеток люминала, Володя пошел к Маркеловым. Залаяли цепные злющие псы, выскочил на крыльцо запуганный приказчик, заговорил жалким голосом:

— Пожалуйте! Ждут! Пелагея Егоровна очень ждут, пожалуйте...

В сенях непривычно пахло кипарисом, росным ладаном, чем-то еще приторно-сладким. Пелагея, странно нарядная, шумя шелками, сверкая кольцами и дорогой брошью, сказала шепотом:

— Вы уж сами к нему, а? Пожалуйста! Сделайте божеское одолжение. Так шли будто — и зашли. Мимоходом, без надобности или, может быть, почтить. Он давно вас поджидает, часто говорит про вас, но только, простите, не как про доктора, а только так... Поминает...

Володя пожал плечами, постучался; не услышав ответа, вошел. В огромной, низкой, жарко натопленной комнате из угла в угол, склонив голову, помахивая, словно козел, седой бородой, сложив руки за спину, в черной длинной поддевке, ходил Маркелов, вздыхал, что-то бубнил себе под нос. Володю он заметил не сразу а увидев — не удивился, только спросил:

— Вы-с? Чем обязан чести, господин-товарищ доктор?

Что-то ёрническое, ненастоящее послышалось Володе в голосе Маркелова. И недавно еще окаянные глаза

смотрели хоть и нагло еще, но и тревожно, и настороженно, и испуганно.

— За делом пожаловали? Али просто — по-суседски? И для какой надобности вам Маркелов?

— Да вот, шел и зашел,— внимательно вглядываясь в Маркелова, спокойно ответил Володя.— Не встречались более года, пожалуй,— вот и подумал, не навестить ли, не прихворнули ли вы...

Егор Фомич усмехнулся:

— Лечить решил Маркелова? Много, брат, тебе, сосунку, чести. Маркелов вас всех переживет, да-с!

Володя молчал. Старик внимательно и тревожно вглядывался в его обветренное, с крепким, упрямым подбородком лицо, искал взглядом его глаза.

— Шел и зашел? Хитришь, доктор, лукавишь. Пашка заманила, никто другой. А? Помалкиваешь? Впрочем, я рад, что пришел, посидим, выпьем. У меня марсала есть — удивительнейшая. Впрочем, марсала — она для которых сладкие пьяницы. А мы с тобой хватанем коньяку. Станешь со мной пить?

— Стану.

— А что я — твой классовый враг и эксплуататор? Что выпялился? Мне известно, мне все, брат, известно, я ныне две ваших газет читаю — выписываю.

Шагнул по комнате, раздернул голубого шелка занавеску на колечках — там в глубине, слабо освещенная, открылась моленная, с аналоем; возле беспорядочно лежали старопечатные, в переплетах телячьей кожи книги; еще виднелись новые журналы и горка газет. Сердито шелестя бумагой, Маркелов вынес из моленной несколько номеров «Правды», несколько «Известий», потряс перед Володей.

— Вот, читаю. Ну и что ж? Колхозы, пишите, план, пятилетка, совхозы, различные труженики ордена получают за успехи. А мне как жить? «И с Интернационалом воспрянет род людской»? Тоже знаю! Но мне-то куда деваться? Обратно — во царствие тьмы, стричь овец?

— Каких овец? — не понял Володя.

— Выражение фигуральное, взятое у столпов веры. Означает — туземца прижать покрепче, чтоб сок из него пошел. Они — наши кормители, мы — их благодетели. Уразумел ли?

Глаза Маркелова смотрели и зло и страдальчески, красный рот в поседевшей бороде кривился, лицо дрожало словно от боли. Швырнув газеты, подошел к двери, крикнул Пелагею, внимательно ее оглядел, усмехнулся:

— Вырядилась, коровища. Век замазурой ходит, а нынче в шелках да в золоте. Для кого? Для доктора? Он замуж не возьмет, ему ты без интересу, его за рубежом женщина-*товарищ* поджидает, а не *осколок бывшей жизни!*

Пелагея медленно краснела, все ниже и ниже опускала голову, руки ее быстро перебирали бахрому шали.

— Коньяку подашь «Мартель» — там есть, на от ключи, да запереть не позабудь, маманька иначе все выжрет,— усмехнулся он опять в сторону Володи.— Она у нас *пережиток алкоголизма,* попивает для веселости. Еще подай огурцов квашеных — укропных. Кто мартель с лимончиком, а мы, по глупости нашей, с огурчиком. Еще там чего ученому гостю — доктору-товарищу, пожирнее, посочнее, вишь -- тощий. Да ворочайся побыстрее, мяса больно много наела на *колониальных харчах, эксплуататорша* — «весь мир насилья»,— добавил он опять, скашивая на Володю растерянные, измученные глаза.— Иди!

Дочь, поклонившись по-старинному, неслышно ушла. Маркелов достал из-за старого, обитого ковром, протертого кресла початую бутылку, жадно хлебнул из горлышка, спросил:

— Как же жить, скажи? Ушли сюда от царя-батюшки мои деды, учили меня на свой манер, спрашивали: «Рцы ми, брат,— кто умре, а не истле?» Бойко я отвечал: «Матерь божья, та умре, но не истле, а бысть жива взята на небо!» Еще спрашивали премудрость: «А какой, отрок, твари не было в ковчеге Ноевом?» Ответствовал: «Рыбы, понеже она и в воде может жити и дыхание чинити». Плохо ли? Учили еще, чтобы возвышался я над здешним людом, ибо иной приезжий — другой нации — может надо мной возвыситься и обобрать народишко здешний *крепче* меня. Учили родители мои меня клыки точить, ибо человек человеку — волк. А приезжая старой веры каноница бубнила о первых небесах, каковые есть: смирение, разумение, воздержание, милосердие, братолюбие, совет, любовь. Вот и вертись — как сочетать зубы эдакие с братолюбием, например? Как

сочетать милосердие и науку делать для здешнего туземца водку — себе дешевую, а ему круговращательную? Как сочетать любовь и родительскую науку темнить соболя — дымчить, чтобы цена ему была втридорога? С воздержанием совместно и с разумением учили, как какого нехристя, иноверца, ежели он заартачится, в тайге бесшумно кончить,— было такое. Учили, что нам все можно, поелику мы старой праведной веры и в геенне огненной нам не пещись. Знаем, кто копытцем крестится, а кто и шепотью, мы — трикариями осененные, мы — столпами веры окрещенные, зато для нас все и будет прощено. И научился я хорошо, хотя многим из учения брезговал, крови туземцев сам не проливал, тошно, но на покойных родителях моих та кровь — и немалая — лежит и *вопиет*. И оттого у меня нынче произошло в мозгах верчение. Есть такая болезнь?

— Не знаю, не слышал! — сказал Володя.

— Услышишь! — пообещал Маркелов.

Вошла с подносом в руках Пелагея. Егор Фомич взял бутылку, ловко об ладонь вышиб пробку из бутылки, зыркнул глазищами на дочь, но не прогнал ее, а велел сидеть и со смирением слушать.

— Тем паче в шелках! Однако слушай, товарищ доктор. Верчение и завирание, так?

Пелагея разлила коньяк в большие, зеленого стекла стаканы, поднесла Володе. Он пригубил, старик Маркелов выпил свой до дна, захрупал квашеным огурцом.

— Завирание! — повторил Егор Фомич.— Мыслишка: для чего, например, живет человек?

Володю передернуло: показалось, что Маркелов дразнит его, глумится над ним, вытащив наружу спьяну его, Володины, мысли.

— Для капиталу? — спросил Егор Фомич.— Ну хорошо, повелось от дедов к нам. Только капитал зачем? Наследнице? Допустим! Но ежели она, дурища, в нем и толку не видит? Тогда как? Вот, допустим, зачал я чертить, то есть, по-вашему выражаясь, по газетам, происходит во мне *разложение*. Но для чего мне этому противиться, когда ни в чем ином нету никакого смысла? Ну, еще в банк переправлю некоторую деньгу, еще одного, двух, трех иноверцев, нехристей, ловко и даже со смехом обдую, а для чего? Непонятно и темно я говорю, и несуразно, а только ты слушай, раз уж пришел...

— Я и слушаю.

— То-то. Ты доктор, понимать должен, что есть и такие болезни, которые не в брюхе и не в грудях, а похлеще. Вот, разберись-ко...

Он налил еще, выпил, утерся, заговорил твердо:

— Прожил во пакости, зачат бо в мерзости, в блуде, в нечистоте. Держаться не за что, стежку-дорожку утерял, слепну. Жена у меня, брат, дура, мяса много да сала, а человека не разглядишь. Пашку вот жалею, пропадает девка...

— Не надо, папаша! — попросила Пелагея.

— Не надо так не надо.

Маркелов ненадолго задумался, отхлебывая коньяк глотками. Володя молчал, знакомая лампа-молния без абажура резала глаза...

— Пирожка отведайте! — из глубины комнаты сказала Пелагея.

Володя взял пирога.

— Ее, да, жалею,— задумчиво повторил Маркелов.— А другое, прочее — наплевать. Самому осталось всего-ничего, и года немалые, и стежку не отыскать. Я ведь корнями здешний, кхарский. Мое тут кладбище, мой склеп есть фамильный, у нас *характеры* у всех были крепкие; склеп, из русского кирпича строенный, привезли за многие тысячи верст, чтобы упокоение *свое* было. От стариков-инородцев и до последнего сопливого мальчонки мой знаменитый род знают здесь и боятся. Я уж вот как *покротчал,* а все же меня боятся. *Боятся,* понимаешь? А вот тебя знают — и не боятся. На многие сотни верст тоже знают — и не боятся нисколько. Ты родом русский, и я родом русский. Отчего такое, скажи?

Всхлипнув, опорожнил еще полстакана, зябко съежился, сказал:

— И подарки от меня не берут — *боятся* подарок взять, подвоха ждут. В доброту мою не верят. А я, может, и правда, подобрел? А?

И зашептал с горечью и злобой:

— Убить хотели тогда шаманы — слышал, знаю. Ты дурак, за что жизнь свою ставишь? Я-то известно — золото. А ты? Какое такое у тебя жалованье превеликое? Какое тебе награждение выйдет за твою здешнюю каторгу? А? Я вот нынче, завтра, как захочу,— в Калифорнию поеду али в вечный город Рим, мне все

дано. А тебе? И бабы у тебя, у дурачка, нет, и водку не пьёшь. Я вот тут которое время? Годы! Видел давеча своими глазами: шел ты наверх, тропочкой, кинулась на тебя собака кусать, так баба, Саит-Белека женка, тую собаку колом отогнала. А я? Кто от меня собаку отгонит? Скажи, провещись, помоги, когда у человека верчение? Ответь мне, старику, ты, товарищ, для чего же живет человек?

— Для дела! — угрюмо и едва слышно произнес Володя.

— Ась?

— Для дела.

— Ну, а дело для чего? И разве я не делал? Разве я ручки сложа сидел? Да тебе, кутенку, и не снилось, какие мы крюки по тайге да по здешним гиблым болотам давали, какие мы ноченьки и где ночевали, какие волки нам хрипы драли, как здешние иноземцы по родителю моему, по папаше, как по медведю, жаканом били. Драка — разве не дело?

— Нет, не дело. Деньги вы делали, а не дело.

— Своекорыстие, значит?

— Своекорыстие.

— И нет мне спасения от того, как завертелся я?

— Вы у меня, как у врача, спрашиваете?

— Да атзынь ты с врачеванием своим, смешно мне про него слушать. Я у тебя как у русского человека спрашиваю...

— Мы с вами русские, но русские разные,— поднимая на Маркелова твердый взгляд, произнес Володя.— Я — советский русский, а вы — по-национальности только, бывший русский, по кирпичному склепу, а не по человечности. Русский нынче — оно совсем другое, чем раньше, в нынешнего русского жаканом трудовой человек бить не станет. Поэтому-то вы боитесь, а я нет...

Маркелов, видимо, не слушал.

— Ладно,— сказал он неприязненно.— На кого кадят, тот и кланяется. Ты мне одно скажи: может, пожертвовать свое добро на больницу? Может, тогда стану я не хуже тебя, господин-товарищ?

— Оно не ваше — это добро. И жертвовать грабленое — глупо.

Егор Фомич не удивился, только подошел поближе, спросил:

— А прощать шаману Огу — не глупо? Он тебя жаканом стрелять хотел, а нынче ты его кормишь? Удавить было там же на суку, да пятки сукиному сыну подпалить над костром, вовек бы запомнили...

— Огу не виноват,— холодно сказал Володя,— виноваты вы.

— Опять я? Слышь, Пашка, и здесь я виноват. А? Ловок доктор, куда как ловок. Чем же я, друг мой сердечный, виноват?..

— А вы и сами знаете: сотни лет...

— Ладно вздор-то нести,— прервал Маркелов.— Я за тебя постарался — написал кому надо чего надо,— засадят твоего шамана за хорошую решетку.

— Я не дам.

— Не дашь? — удивился Маркелов.

— Ни в коем случае не дам!

— По-христианству?

— Христианство здесь ни при чем.

— Ну так и черт с тобой. Напоследок еще спрошу: какое это дело, чтобы для него жил человек?

— Любое полезное людям дело — вот и все,— попрежнему угрюмо и даже зло произнес Устименко.— Любое.

— Люди — навоз!

— Тогда нечего нам с вами и время терять! — сказал, поднимаясь, Володя.— Только, думаю я, Егор Фомич, лишь очень плохой человек может утверждать, что люди навоз...

— А я и есть нехороший! — с усмешкой ответил Маркелов.

И крикнул Володе вслед:

— Заходи когда поучить меня, серого.

— Не зайду! — сказал Володя.— Тяжело с вами. И бесполезно...

Они еще посмотрели друг на друга — Маркелов растерянно, а Володя спокойно и грустно.

На крыльце, под мозглым дождичком, дрожал приказчик.

— Что ж, скоро они? — шепотом спросил он Володю.

— Как это — скоро?

— Да ведь силушки нет. Дерутся до чрезвычайности, совсем обличье свое потеряли... Скончаться им в самое

время нынче, невозможно даже это все вам, господин доктор, пересказать...

Володя зажег фонарь, зашагал к себе в больницу. Васенька Белов, лежа в чистой постели, сам вымытый, благостный, читал с восхищением какие-то сентиментальные стишата.

— А без вас Ош родила,— сказал он,— только недавно управились. Отличный мальчишка.

Умывшись, надев халат, Володя подошел к Ош. Та еще дремала, в родилке наводили чистоту, дед Абатай на корточках в коридоре, при свете горевших в печи дров, играл в шашки с больным охотником Кури. В четвертой палате застонал прооперированный нынче десятилетний мальчик Кхем. Володя посидел у него, посчитал пульс, потрогал — теплая ли нога. Нога была теплая, мальчик Кхем не должен теперь остаться инвалидом. Выходя из четвертой палаты, он увидел Туш — со светящимися глазами, легкая, тоненькая, она легко и быстро шла ему навстречу.

— Ну, так как же насчет Москвы? — спросил Володя.— Поедете, Туш?

— Нет! — глядя ему в лицо, радостно ответила она.

— Почему?

— Еще очень темная я, да, так,— сказала она.— Там смеяться станут. Потом поеду, позже. Когда вы скажете — поезжай, Туш, пора! Так, а, да?

Он не мог смотреть ей в глаза, так они светились и так бесконечно ласков и тепел был этот свет.

Черная смерть

Второй корпус заложили весной. В день закладки приехала еще одна докторша — немолодая, основательная, медлительная — Софья Ивановна. Прежде всего, и в очень категорической форме, новоприбывшая Солдатенкова потребовала убрать из больницы шамана Огу.

— Даже странно! — воскликнула Софья Ивановна.— Бывший священник, или, как он здесь называется, шаман, колет дрова для кухни. Я сама видела. Просто удивительно! И для палат колет дрова. Очень, очень странно!

— Но он же не камлает в больнице! — хмуро возра-

зил Устименко.— И не шаман этот человек больше. У него ни бубна нет, ни жезла...

— Как странно! Служитель культа есть всегда служитель культа — с жезлом он или без жезла. И, кроме того, мне известно, что он осуществлял против вас теракт?

— Какой акт?

— Террористический акт. И вы проявили мягкотелось и интеллигентскую доброту, не отдав негодяя под суд. На вылазки классового врага надо отвечать крепко, понимаете?

— Он не классовый враг, а несчастный, заблудившийся человек,— сказал Володя жестко.— И не вам меня учить, вы тут несколько дней, а я...

— Так-то вы реагируете на критику? — усмехнулась Солдатенкова.— Что ж, нечто подобное я и предполагала: самоуспокоенность, почивание на лаврах, взаимозахваливание...

Удивительно, как у этой женщины для всего были готовы слова: просто ей жилось на этом свете!

— Короче говоря, Огу здесь работал и будет работать! — вставая, сказал Володя.— Если же вас это не устраивает — напишите Тот-Жину, он в курсе всей этой истории. И на этом кончим. Кого вы еще считаете классово чуждым элементом?

Софья Ивановна вздохнула:

— Надо присмотреться. Разумеется, не все тут плохо, есть и некоторые достижения, есть и наши, преданные нам люди.

Работала Солдатенкова старательно, много и скучно. С ее точки зрения, в больнице слишком кратко писались истории болезней и вообще неважно обстояло дело с отчетностью. И Софья Ивановна «в корне» изменила это положение. Она писала длинно, подробно, обстоятельно, писала и утром, и днем, и вечером, пальцы и даже щеки у нее были постоянно в чернилах, она морщила лобик и вздыхала:

— Многое еще надо в методике выправлять, товарищ главврач, многое, очень многое. Даже странно, что так это все запущено, очень странно. Я пока все приглядываюсь, а со временем мы побеседуем, поговорим со всей беспощадностью, открыто, без реверансов...

Как-то глухим, поздним вечером к Устименке пришла

Пелагея Маркелова. Глаза у нее запухли от слез, она долго ничего не могла сказать, потом попросила:

— Возьмите меня, господин доктор, на работу. Я все умею, не пожалеете...

— А отец как на это взглянет?

— Чему ему взглядывать! — со злобой ответила Пелагея. — Разве они человек теперь? Совсем худые стали, пьют с утра до ночи, безо всякого смысла книги читают и ругаются...

— Так не даст же он вам работать?

— А я бы при больнице и жила. В закуточке, где прикажут. Тут бы моя судьба и была. Возьмите, господин доктор, иначе, право, повешусь, на вас грех будет. Возьмите!

И она стала опускаться на колени.

— Ну, это вы перестаньте! — крикнул Устименко. — Слышите? Сейчас же перестаньте...

С ведомостью в руке вошла Софья Ивановна, поинтересовалась, в чем дело. Володя объяснил. Старательно наморщив лобик, докторша спросила:

— Ах, это Маркелов, да? Местный Рокфеллер! Слышала, как же, как же...

Повернувшись к Пелагее, Володя приказал:

— Завтра выходите на работу. С утра. Но предупреждаю — дела у нас много, работа тяжелая, и белоручки нам не нужны...

Когда дверь за девушкой закрылась, Володя сказал:

— Давайте ведомость.

Подписав, он вздохнул, прошелся по комнате, поглядел в черное, без занавески окно, включил приемник. Уже месяц, как ждал он новые батареи, старые были на исходе. В эфире творилась неразбериха, Москву он долго не мог поймать, но вдруг услышал какую-то славянскую радиостанцию и замер: Гитлер напал на Советский Союз. Там шла война, огромная битва, небывалое в истории человечества сражение.

Напевая, с засученными рукавами халата вошел Вася. Володя крикнул на него, чтобы замолчал. Вбежала Солдатенкова, побледневшая, растерянная. За нею в коридоре виднелись Туш, Данзы, старый Абатай. Постепенно Володя понял: двадцать второго июня в три часа тридцать минут фашисты начали наступление по огромному фронту — от Черного до Балтийского моря. Сейчас ка-

кой-то фельдмаршал фон Бок, какой-то Гудериан, Штраус и Бот рвались к приграничным городам, а к каким — это понять было невозможно. А потом оркестр заиграл танго, в эфире захрюкало и засвистело. Вася сказал:

— Немыслимое дело! Провокация! Вздор!

На рассвете Володя дал телеграмму Тод-Жину с просьбой назначить главврачом Васю Белова. Ответ пришел часа через два, и Устименко понял, что может ехать в Советский Союз, тем более что Богословский уже вылетел в Москву.

Караван из Кхары готовился в путь завтра, об этом Володе печально сказала Туш. И предложила помочь собраться.

— А чего мне собираться? — ответил Володя. — Вот рюкзак сложу, всего и сборов. Идите, Туш, и без меня у вас много дела.

Туш ушла.

Устименко попытался было поймать что-нибудь в эфире, но услышал только лающую речь фашиста из гитлеровских сателлитов, ничего не понял и выключил приемник. «Ладно! — утешил себя Володя. — Не страшно! Через месяц, самое большее, я буду на фронте. Не следует только нервничать!»

В это мгновение он увидел белое лицо Мады-Данзы. Тот, оказывается, давно стоял в дверях: нижняя челюсть его дрожала и голос сипел, когда он попытался говорить.

— Совершенно я вас не понимаю! — рассердился Устименко.

— Черный флаг над юртой, — просипел Мады-Данзы. — Тарабаганья болезнь скоро придет в Кхару. В Джаван-Илир уже ходит черная смерть. Иди, товарищ доктор, иди, я не пустил старика сюда, он принес страшную весть и сам обречен на смерть. Будет так, как много лет назад, когда в Кхаре умерли все, даже самые маленькие дети, умерли все, кто не убежал вовремя.

Тарабаганьей болезнью и черной смертью здесь называли чуму. Последняя и очень тяжелая вспышка была в шестнадцатом году. Володя не раз слышал от местных старожилов, как бежал тогда правитель провинции, как обезумели люди и как никто не убирал трупов...

Плешивый старик с ввалившимися щеками, беззубый,

измученный, сидел на корточках возле больничного крыльца, рассказывал деду Абатаю, Огу, Софье Ивановне и доктору Васе о тарабаганьей болезни. Туш переводила.

Нынешней весной среди охотников на тарабаганов — пушистых зверьков — прошел слух, что за шкурку тарабагана скупщики на факториях будут платить в пять-шесть раз больше, чем в прошлые годы. Слух этот возник за кордоном, принесли его охотники из Пес-Ва — резиденции губернатора страны Солнца. Мех тарабагана теперь красят и выделывают так, что за него пушники дерут бешеные деньги. Конечно, охотникам захотелось разбогатеть. И они стали ловить всех тарабаганов, даже тех, которые молчат, а ведь известно, что если тарабаган молчит, то его нельзя трогать — он болен. Здоровый тарабаган бормочет: «Не бойся, не бойся!» — это тоже всем известно...

Старик попил воды из белой эмалированной кружки, закурил трубку.

— Пусть расскажет, что он видел сам! — велел Устименко.

Но старик не торопился. Мало того, что охотники убивали больных тарабаганов, они еще и ели их мясо. Первым заболел младший брат Мунг-Во. Оба они — и старший и младший — искусно ставили петли над тарабаганьими норами и считались хорошими стрелками. Младший Мунг-Во заболел в степи и там умер. Старший его похоронил.

— Бубонная форма! — сказала Солдатенкова.

— Похоронил и еще долго охотился, ему повезло — переводила Туш. — А через несколько дней его видели, как он шел в свое становище, шатаясь, словно пьяный. Если человек так шатается, у него наверняка тарабанья болезнь и совсем скоро ему суждено лишиться возраста.

— Старший заболел легочной формой — так оно обычно и случается, — пояснила Софья Ивановна. — В таких ситуациях надо проводить разъяснительную работу среди актива населения.

— Актив, пассив! — сердито буркнул доктор Вася.

Старик досказал: старший Мунг-Во не смог даже войти в юрту и только успел приказать, чтобы на шесте над юртой подняли черный флаг, тряпку, — в степи люди

знают: если над юртой черная тряпка — значит, здесь смерть. И никому нельзя подходить близко.

— Спросите у гражданина: он находился в контакте с заболевшими? — приказала Софья Ивановна Туш.

Туш не поняла.

— Он только видел этот черный флаг или там был, на месте, в юрте? — пояснил Вася.

Старик усмехнулся: нет, он достаточно умный, чтобы и близко не подходить к тарабаганьей болезни. Тогда, много лет назад, у него умерли все родственники, и он хорошо знает, что это за болезнь.

Утром старший Мунг-Во стал плеваться кровью. А через несколько дней над всем кочевьем уже развевались черные тряпки — тарабаганья болезнь ворвалась в Джаван-Илир. Старик оседлал жеребца и приехал сюда, к великому советскому шаману. Про него ходят разные хорошие рассказы. Если русский шаман действительно так велик, как болтают люди,— пусть он поможет. А если нет — пусть сразу скажет, и его не будут больше беспокоить.

— Любишь кататься — люби и саночки возить! — заметила Софья Иванова и ушла в больницу.

Володя велел Туш перевести старику, что сам он пока ничего сделать не может, но постарается вызвать много докторов, целый отряд, которые, конечно, помогут. И, отдав Васе и Туш распоряжение насчет изоляции старика, пошел к правителю провинции Кхара — Здабе.

Устименку правитель принял сухо. Совсем недалеко пролегала граница, за которой благоденствовал губернатор страны Солнца. Если Гитлер сожрет Россию, страна Солнца оккупирует Кхару, и тогда правителю припомнят его отношения с советским врачом. Поэтому Здаба даже не пригласил Володю сесть. Но, едва услышав о тарабаганьей болезни, правитель изменился. Он закричал, чтобы Володе подали чаю, и велел своему секретарю немедленно соединиться по телефону с департаментом здравия. В департаменте никто не отвечал, и Володя, воспользовавшись этим, посоветовал звонить домой к Тод-Жину.

К счастью, к величайшему счастью, Тод-Жин взял трубку, и Володя сам рассказал ему о всем случившемся в районе Джаван-Илир. В трубке щелкало и шипело. Тод-Жин молчал.

— Обратитесь за помощью в противоэпидемическое управление, в Москву,— сказал Володя.— Вам помогут.

— Война! — произнес Тод-Жин.

— Помогут! — повторил Володя. — Непременно помогут! Я ручаюсь, слышите, товарищ Тод-Жин? Там умные люди, они понимают, какое бедствие постигло вашу республику, — они непременно помогут.

— Хорошо, так, да,— задумчиво и медленно произнес Тод-Жин и велел передать трубку правителю.

Через четверть часа правитель приказал командиру гарнизона — сухонькому и седенькому поручику — выставить кордоны, с тем чтобы никто не выходил и не входил в район Джаван-Илир. Поручик слушал молча, щелкая каблуками, прикладывая руку к длинному козырьку белой с серебром фуражки. А в заднем дворе дома правителя в это время грузили верблюдов, лошадей, арбы, плакали женщины — дочери, жены сыновей, жена самого правителя: страшно было бежать отсюда, из дворца в целых шесть комнат, не считая двух зимних юрт во дворе...

Ночью Володя получил телеграмму — длинную на нескольких бланках. Тод-Жин извещал, что Москва помогла, самолеты с медикаментами, медицинским оборудованием и врачами уже вылетели. Во главе экспедиции професор Баринов. Сам Тод-Жин с секретарем ЦК трудовой партии прилетит завтра. Дальше были инструкции и советы Володе, переданные Бариновым с борта самолета.

Читая и перечитывая молнию, Устименко слышал, как в соседней комнате Софья Ивановна учила Туш способу надевания противочумного костюма.

— Да, я знаю, что скучно, — своим тягучим голосом говорила Солдатенкова, — но меры личной профилактики играют очень большую роль в нашей работе. Ничего героического нет в том, чтобы заразиться чумой и погибнуть из-за собственной неряшливости. Сначала надевают комбинезон, видите? Тесемки штанов нужно завязывать плотно...

— От блох? — тоненько спросила Туш.

— Блохи грызунов после гибели своих хозяев покидают их трупы и гнезда,— как по-писаному продолжала Солдатенкова. — Так называемые свободные блохи охотно переселяются на людей... Теперь смотрите, товарищ Туш, нижний край капюшона надо заправить под воротник комбинезона. И, наконец, респиратор. Пространство по сторонам носа заполняется ватой — комочками...

Володя вышел в коридор, тихонько постучался к Солдатенковой. Обе — и Софья Ивановна и Туш — стояли посередине комнаты в противочумных комбинезонах.

— Это как же понять? — спросил Устименко.

— Я ведь по специальности эпидемиолог, — сказала Софья Ивановна. — И вот родилась мысль: выехать нам с Туш на место, произвести вскрытие, разобраться накоротке. Оказать помощь. Костюмы есть, микроскопом мы располагаем, лизол, карболка, сулема наличествуют. Конечно, вы — гравврач, но я предполагаю...

— Поезжайте! — сказал Устименко.

— Наверное, нужно командировочное удостоверение? — спросила Солдатенкова.

— Нет, Софья Ивановна, не нужно. Там некому его предъявлять.

— Какая дичь! — пожала плечами Солдатенкова. — Прямо средневековье. Феодализм. Я предполагала провести собеседование с санитарным активом, вообще наметила ряд мероприятий...

В дверь просунулся сонный Вася, спросил:

— Может быть, и мне поехать?

— Для чего? — спросила Солдатенкова. — С захоронением вскрытого трупа мы справимся вдвоем. А костюмов у нас только два. И оголять больницу мы не имеем права. И вообще это нецелесообразно. Всегда следует поступать целесообразно, а нецелесообразно поступать не нужно. Кстати, сюда до окончания всей этой истории я, разумеется, не вернусь. Искать нас, наверное, вам придется в районе Мунг-Ву...

Перед отъездом Солдатенкова принесла Володе письмо и сказала:

— Если со мной что-нибудь случится, пожалуйста, перешлите пакет моей дочери. Она у меня единственная. Ее отец нас оставил, у него теперь другая семья, а мы с Нусей одни. Но это ничего! Брак должен строиться на взаимной любви; если же таковой нет, это не брак. До свиданья, Владимир Афанасьевич.

И они уехали — маленькая, худенькая, черненькая Туш и увесистая Софья Ивановна, — уехали верхами, а за ними тянулись навьюченные лошади с палатками, гидропультом, лопатами, медикаментами, продовольствием в особых, герметических банках. На прощанье Солдатенкова сказала:

— И проследите, пожалуйста, Владимир Афанасьевич, за тем, что вы называете канцелярщиной. Я только-только наладила немного это дело, и вот пришлось срочно бросать...

— А? — спросил Володя у Васи, когда маленький караван исчез из виду.

— Никогда не ожидал! — воскликнул доктор Вася.

Дело, которому ты служишь

Под вечер население Кхары увидело первый самолет, очень похожий на ту машину, на которой когда-то прилетел в свой родной город Володин покойный отец Афанасий Петрович. Аэродрома здесь не было, и самолет долго выбирал себе посадочную площадку, мотор гудел, как казалось Володе, тревожно-вопросительно, машина несколько раз совсем приближалась к земле, потом вновь набирала высоту.

Наконец они сели.

Их было трое в самолете — курносый летчик, совсем молодой, с белым чубчиком выгоревших волос на лбу, Тод-Жин и секретарь ЦК трудовой партии — стриженный ежиком, крупный, лет пятидесяти человек. Правителю провинции секретарь ЦК руку не дал, отошел с ним в сторону и там заговорил глухо, с бешенством. Здаба что-то попискивал, кланялся, Тод-Жин жестко сказал Володе:

— Сейчас товарищ секретарь ЦК сам будет здесь работать. Это замечательный товарищ, они держали его много лет в цепях и в деревянной клетке, да, так. Его очень знает народ, ему верят люди труда, а эти его боятся. Пусть.

Секретарь ЦК сел верхом и поехал с поручиком осматривать кордоны. При свете факелов жители Кхары всю ночь готовили аэродром для тех тяжелых транспортных самолетов, которые уже много часов и днем и звездной ночью летели из Саратова для того, чтобы остановить черную смерть. Летчик с чубчиком, Паша, на рассвете ел жареную курицу, запивал ее холодным молоком и спрашивал у Володи:

— А что, она здорово заразительная, эта чума? А? По-моему, больше паники, чем дела! У меня лично собака была — балованная, Пулькой звали, чумилась тоже,

и я ее на руках держал, и мамаша, и сестренка — ничего! Никто не заразился! А сестренка чересчур жалостливая, так она собаку даже целовала...

— То другая чума! — сказал Володя.

— Что значит — другая? Чума — она и есть чума! — тряхнул чубчиком Паша. Погодя осведомился:

— И чего это я так люблю кости грызть? Атавизм, что ли, товарищ доктор? Имеется для этого научное объяснение?

Володя спросил у него про войну.

— Пока напирают, — сказал Паша. — Сильно напирают! Потеряли мы, конечно, временно кое-какие области. Но, знаете, думаю я, оно вроде вашей чумы, недаром говорят: коричневая чума. Покуда не отмобилизуемся как положено, она нас будет жрать. А развернемся полностью и — порядок! Главное, спокойствие сохранять и присутствие духа. Ведь не может чума сожрать человечество! Ну и фашизм не может покончить с Советской властью.

Погодя подошел Тод-Жин, спросил у Володи, можно ли выставить для встречи докторов из Москвы почетный караул, полагается ли это и что об этом сказано в дипломатических учебниках. Володя не знал. Летчик Паша тоже не знал, но выразился в том смысле, что «не повредит». Секретарь ЦК подумал и сказал, что встречать надо с почетным караулом и с оркестром, которому следует исполнить «Интернационал».

В шесть часов утра Володя, как было условлено, верхом поехал на развилку дорог к большому белому камню. Здесь уже расположился карантинный пост, солдаты республиканской армии с карабинами никого не пропускали из района Джаван-Илир.

Туш сидела верхом, ждала; маленький, гривастый ее конек помахивал головой, отгоняя оводов. Ветер дул Володе в спину, и ему не приходилось кричать, зато бедная Туш даже покраснела от натуги.

— Лизол надо, — кричала она, — очень много! Легочная форма, да! Мертвых много, больных много, кормить надо, один-два доктора не помогут, большая эпидемия! И вакцину надо, много вакцины...

Черные волосы Туш растрепались, солдаты карантинного поста смотрели на молодую женщину со страхом и восторгом.

— Вы молодец, Туш! — крикнул Володя. — Скоро мы все приедем к вам на помощь. Из России уже летят доктора, много докторов, очень много! По воздуху, на самолетах! Немножко еще потерпите, Туш, несколько часов!

— Мы потерпим! — закричала она.

И, махнув нагайкой, ускакала к юртам, на которых болтались черные тряпки.

А в это время на посадочную площадку в Кхаре уже садилась первая транспортная машина. На фюзеляже и на крыльях самолета были красные кресты и опознавательные знаки СССР. Двадцать четыре солдата гарнизона — в белых курточках и полупогонах с серебряными вензелями — вскинули карабины на караул. Капельмейстер взмахнул палочкой, маленький оркестр играл «Интернационал». Володе сдавило горло, — наверное, бессонные ночи дали себя знать.

Под звуки «Интернационала» в самолете открылась дверца, борт-механик выбросил алюминиевую лесенку. Тод-Жин и секретарь ЦК стояли неподвижно, приложив руки к козырькам.

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей...

Русские доктора и докторши, совсем обыкновенные, словно в Воронеже или в Лебедяни, в мятых пиджаках, в плащах, с баулами, портфелями, чемоданами пели, построившись возле машины. Они не знали, что такое почетный караул, — вернее, не понимали, что их может встречать почетный караул. И когда седенький поручик, печатая шаг и высоко выбрасывая ногу, повел своих солдат мимо гостей, те даже остолбенели на мгновение, а профессор Баринов, приняв рапорт, сказал вежливо:

— Благодарю вас! Очень рад.

Солдаты ушли, пожилой доктор, с брюшком, в вязаной жилетке, Шумилов, осведомился у Володи:

— Это, что же, и есть очаг эпидемии?

Другой, помоложе, пожаловался:

— А меня, знаете, кажется, укачало.

Молоденькая докторша сказала доктору Васе:

— Супу горячего до чего хочется. Я в Москве четыре дня не успевала пообедать, и в воздухе все сухомятка. Здесь нас кормить не собираются?

Кормить собирались. «Мадам повар» за ночь сделала все, что было в ее силах. А дед Абатай ей помогал, и бывший шаман Огу месил тесто. Столы были поставлены здесь же, возле посадочной площадки. Слушая Володю, Аркадий Валентинович Баринов с удовольствием ел горячий борщ. И, глядя сбоку на худое лицо профессора, на его старомодную эспаньолку, на сломанную дужку очков, на морщинки у глаз, Володя думал о том, что не было в двадцатом веке эпидемии чумы, с которой бы не боролся этот сухонький, маленький, жилистый старичок. Эту руку пожимал Гамалея в Одессе, Заболотный в Индии и Монголии; этот старичок знал Деминского, он лечил заболевших чумой в Манчжурии и едва не умер во время астраханской эпидемии. Он работал в лаборатории чумного форта неподалеку от Кронштадта, он знал доктора Выжникевича, и он похоронил его, так же как похоронил Шрайбера. И не сдался. В свои семьдесят лет он опять на чуме...

— Так, так! — кивал головой Баринов, слушая Володю.— Так, понимаю, так...

Пока докторов, медицинских сестер, санитаров кормили, пришла вторая машина, с оборудованием, потом третья. Тысячи жителей Кхары стояли кольцом вокруг посадочной площадки, переговаривались из уважения к удивительным гостям шепотом, но так как шептались все, то было похоже, что шумит ветер. Шептались главным образом о Володе. Это он — такой могучий человек, что стоило ему захотеть, и сюда прилетели эти огромные машины. А старый шаман Огу протискивался от человека к человеку и шипел:

— Он все может — великий советский доктор Володя! Я недаром согласился ему помогать. Он долго просил меня, и я согласился. Скоро я научусь от него всему, верьте мне!

Вечером Володя с саратовскими чумологами был уже на месте центра очага эпидемии — в Джаван-Илир. Баринов, Тод-Жин и Устименко ехали рядом, «три богатыря», как, усмехнувшись, сказал Аркадий Валентинович. А сзади в молчании ехали другие доктора, санитарки, фельдшера, медицинские сестры, дезинфекторы со своим громоздким хозяйством — гидропультами, автомасками, бутылями, бидонами, и когда Володя оглядывался, ему казалось, что это движется непобедимая,

дисциплинированная, хорошо вооруженная, умелая армия. И испытывал чувство гордости, что он тоже солдат этой армии.

Метров за триста до первого очага, когда в розовом предзакатном небе уже ясно виднелись зловещие черные тряпки над юртами, Баринов приказал «одеваться», и это тоже напомнило Володе военную команду — протяжное «О-де-ва-ать-ся!». Вроде — «В атаку!»

Люди спешились, стали натягивать резиновые сапоги, комбинезоны, завязывать тесемки, помогали друг другу без шуток, молча. И эта собранность, спокойствие в который раз нынче напомнили Володе армию.

— Эх-хе-хе,— вдруг похвастался Баринов,— вот, знаете, никак не думал, что умею еще в седле сидеть. И копчик не болит, как бывало в молодости.

Ведя коня в поводу, сердито добавил:

— А борща не следовало переедать. Сколько раз зарекался — не злоупотреблять жирным...

Юрты с черными тряпками на шестах делались все ближе и ближе; рядом с Володей, хрипло и жалобно мыча, бежала недоенная корова, Баринов ей сказал:

— Брысь ты, корова! Мы же доить не умеем!

Голос его из-под респиратора прозвучал глухо.

Софья Ивановна и Туш рядом стояли у первой, большой юрты. Они обе едва держались на ногах от усталости. Выслушав Солдатенкову, Баринов приказал ей и Туш отправляться на отдых, и тут Володя опять услышал, как штатский профессор умеет по-генеральски приказывать. Лагерь для врачей уже разворачивал «квартирмейстер» отряда доктор Лобода. Там были палаточные домики, лаборатории и склады. Было и озеро, и красивые скалы Кик-Жуб. Но, несмотря на то, что все там к ночи было приготовлено, никто из врачей, сестер, санитаров не спал. Высвечивая темные, мертвые юрты карбидными и электрическими фонарями, люди выносили трупы, убирали и дезинфицировали помещения, кормили и поили больных, выслушивали легкие, сердце, пульс, ждали указаний Баринова и его старшего помощника Шумилова. Белые фигуры медиков — в респираторах, в очках-консервах, в резиновых сапогах — двигались неуклюже, но неслышно; стоны и бормотанье больных смешивались с негромкими, глухими голосами

врачей, с шипением гидропультов, с унылым шелестом зарядившего с полуночи дождя.

В противочумных костюмах было жарко, липкий пот заливал лицо, спину, плечи, руки в перчатках с трудом сдерживали шприц, даже стетоскопом неудобно было пользоваться. Кровь толчками била Устименке в уши, к утру стала кружиться голова, но Баринов держался, как же мог сдать Володя?

Всю долгую ночь они ездили от кочевья к кочевью, отделяли больных от здоровых, мерили температуру, вакцинировали, распределяли юрты — где быть изолятору, где варить пищу, где содержать здоровых. Тод-Жин сурово учил измученных, испуганных людей; голос его звучал непререкаемой силой, ему нигде никто никогда не возражал.

В четвертом по счету становище, «проинспектированном» ими за эту бесконечную ночь, Володя первым вошел в юрту, где лежали только мертвые. Наклоняясь, в луче электрического фонарика он видел оскаленные судорогой ровные, еще молодые зубы, закатившиеся глаза, сведенные руки. И здесь, в тишине смерти, ему почудился детский, слабый, едва слышный плач.

— Тише! — велел он санитарам, заливавшим из гидропульта пол безмолвной юрты.

Шагнул вперед и остановился: мертвая мать обнимала и прижимала к груди еще живое дитя. И ребенок слабо бился и плакал, сжатый холодными руками трупа.

Устименко нагнулся. Тод-Жин ему помог, санитар принял ребенка, фельдшерица унесла дитя в другую юрту, где оборудовался изолятор.

Рассвет наступил сырой, невыносимо душный, степь застилала пелена дождя. Баринов сидел под брезентом-навесом, разбирался с картой пораженного эпидемией района. Рядом радист настраивал рацию, вызывал базу экспедиции Кик-Жуб — доктора Лободу. Респиратор у Баринова висел на груди, очки-консервы он положил в карман, капюшон откинул на спину.

— Устали? — спросил он Володю.

— Нисколько! — молодцевато ответил Устименко.

Сзади подошел Тод-Жин, залез под брезентовый тент, сказал жестко:

— Много горя, да, так. И как это кончить, товарищ профессор, как совсем?

Аркадий Валентинович сильно затянулся, погасил окурок и ответил задумчиво:

— Как врач я должен сказать вам, товарищ дорогой: это горе, этот ужас можно ликвидировать только при помощи государственного переустройства. В Советском Союзе больше нет чумы, как нет оспы, нет многих эпидемических болезней. А еще так недавно, на моей памяти, в России ежегодно умирало от оспы сорок тысяч человек и не менее двухсот тысяч оставались калеками — слепыми, глухими, в общем нетрудоспособными...

— Я — Стрицюк! — радостно заорал радист.— Я — Стрицюк! Товарищ Лобода, давайте нам термометры двадцать штук, ведра эмалированные, багор пришлите и это...

Шевеля губами, Стрицюк глядел в блокнот, потом повернулся к Володе, сказал:

— Не выговорить, товарищ доктор.

— Фонендоскоп! — прочитал Володя и повторил в эбонитовый раструб: — Фо-нен-до-скоп!

Из термоса они выпили горячего какао, сели в седла. Радист все орал:

— Рубашки детские одна штука. Та нет, господи, детские ж! Ребеночка достали от матки! Матка померла, а ребеночка достали!

— Стрицюк, не засоряйте эфир! — велел Баринов, подбирая поводья.

И вдруг они услышали глухую, далекую пулеметную очередь.

— Что это? — спросил Володя.

Тод-Жин привстал на стременах, вслушался. Хлестануло еще несколько очередей.

— Тут совсем близко проходит граница,— сказал Тод-Жин.— Ось проходит — Берлин — Рим — Токио. Фашизм, да! Поедем!

Он ударил нагайкой лошадь, пригнулся к луке. Ветер сразу же засвистел у Володи в ушах, кони с галопа перешли в карьер, всхрапывая, словно летели без дороги, сырой падью. Они мчались не более пятнадцати минут, и Володя все время оглядывался на Баринова. Наконец они выскочили на косогор, и Устименко сразу же увидел республиканских пограничников в коротких плащах, увидел бушующее, желтое, длинное пламя и услышал рев самолетов над своей головой. Это были их

самолеты, с двухцветными кругами на плоскостях и короткими, словно обрубленными фюзеляжами, их военные, штурмовые машины.

— Не понимаю! — недоуменно произнес Баринов.— Тут пожар, да?

Едва дыша, сжимая руки в кулаки, Володя смотрел не отрываясь: там, за линией государственной границы, за кордоном республики войска императора боролись с эпидемией чумы. Наверное, огнеметами они подожгли пограничный поселок, и теперь отряды пулеметчиков срезали очередями всех, кто пытался вырваться из пламени. Пулеметов и пулеметчиков Володя насчитал очень много, а потом он разглядел и огнеметы на мотоциклетных колясках. А повыше, на холме, стояли пушки — батарея, и жерла орудий тупо смотрели на горящий поселок.

— Невозможно! — сказал Аркадий Валентинович.— А? Или...

Он осекся. Из пламени появилось несколько крошечных человеческих фигурок — поднимая руки, они бежали под дождем, они вырвались, они спаслись...

И тогда несколько пулеметов одновременно дали по короткой очереди. Маленькие, словно игрушечные, солдатики в своих мундирчиках цвета хаки и низких пилотках давали совсем короткие очереди, нетрудно же убить невменяемого, обезумевшего человека.

Все-таки один еще бежал. Он метнулся в сторону, прямо, еще влево. Он бежал к границе. Он знал — тут его арестуют, задержат в изоляторе, но не убьют. Здесь его не могут убить!

Но они убили его там!

Они дали длинную очередь, и человек, еще метнувшись в сторону, упал.

Тогда в наступившей вдруг тишине затарахтел мотоцикл с огнеметом. И желтое, острое жало огня ударило по распростертым, маленьким, неподвижным, уже убитым людям. Володя отвернулся: зубы его колотились, глаза застилало. А поселок все горел и горел под мелким дождем, по-прежнему ухало и стонало пламя, и черные, густые столбы дыма медленно гнулись к земле, словно страшась подняться ввысь.

— Послушайте! — сказал вдруг Баринов Тод-Жину.— Пусть передадут командиру их санитарной группы, что я желаю говорить с ним. Я — профессор Баринов,

почетный член их академии наук, участник тех международных конференций, в которых заседали и они.

Тод-Жин подозвал к себе офицера-пограничника, офицер пошел к закрытому шлагбауму, поговорил с капитаном-пограничником императорских войск. Капитан отдал честь. Пограничник-республиканец тоже отдал честь. Солдаты императорских войск, разминаясь, боролись возле своих пулеметов, поглядывая на горящий поселок, самолеты улетели.

Двухместный мотоциклет, выкрашенный в лягушачьи цвета, скрипя тормозами, остановился у шлагбаума; из коляски вышел маленький, очень элегантный офицер в хаки, в сильных очках, в фуражке с высокой тульей, в лакированных крагах. Баринов, стиснул челюсти, тронул каблуками коня. Тод-Жин и Володя двинулись за ним. Врач императорской армии докуривал сигарету, когда они подъехали. Услышав имя Баринова со всеми его званиями и должностями, врач отдал честь, сильно вывернул ладонь вперед. Почтительнейше держа руку у козырька, этот военный доктор доложил, что имел счастье изучать труды профессора Баринова как в берлинских лабораториях, так и в отечественном институте экспериментальной эпидемиологии. Что касается до нынешней работы специального противочумного отряда, которую профессор изволит наблюдать, то, разумеется, эта картина производит тягостное впечатление, но что поделаешь, если смертность при легочной форме чумы достигает ста процентов? Разумеется, самое рациональное и гуманное — выжигать пораженные эпидемией местности, тем более что болезнь сейчас распространилась только среди неполноценной, деградирующей и бесполезной, в общем, народности. Впрочем, вопрос этот, конечно, не подлежит дискуссии, как и вообще все приказы верховного эпидемического центра империи.

И элегантный врач с тоненькими усиками над тонкой губой щелкнул каблуками.

— Передайте вашей академии, что я не желаю быть ее почетным членом! — громко, по-английски сказал Баринов.— А сами запомните! Когда вас будут судить, и если я доживу, то напрошусь быть обвинителем. И говорить буду от имени всех докторов, отдавших жизнь в борьбе с чумой! Я имею на это право. Поняли?

— Понял! — пожелтев и все еще держа руку у ко-

зырька, ответил военный врач.— Но вряд ли профессор доживет до дня предполагаемого судилища. Такие поражения на западе, такое победоносное шествие войск фюрера!

И, быстро щелкнув каблуками, он сел в коляску своего мотоциклета.

Когда они выехали из пади, Баринов утер мокрое от дождя лицо платком, вздохнул и посетовал:

— Очень хотелось полоснуть его нагайкой. По роже! Погодите, доживу до суда.

— Доживете! — угрюмо пообещал Володя.

В этот день они объехали еще шесть кочевий. А вечером в лагере зазвонил колокол, это Баринов собирал «летучку». Теперь ежедневно бывали такие «летучки», и всегда они напоминали Володе то, что он читал в книгах о заседаниях военных советов или штабов перед решающими битвами.

На этих докторских совещаниях так же, как и на военных советах, коротко и сухо сообщались разведданные о силах врага, докладывались свои потери, подсчитывалось оружие, боеприпасы — сыворотка, вакцина, лагерное оборудование, транспорт. Здесь на столе лежала карта, и полководец (так его и называли доктора: наш генерал Баринов) подолгу задумывался над заштрихованными черным квадратами,— здесь был враг — чума. И полевой телефон с зуммером был в палатке генерала, и радист приносил бланки радиограмм и быстро клал их на стол перед Аркадием Валентиновичем. И комиссар Тод-Жин связывался отсюда по прямому проводу с председателем противочумной тройки республики — с Кхарой, каждый день сообщая совету:

— Все благополучно. Заболевших вне очага нет, так, да!

Врачи встречались только на «летучках». Все остальное время русские доктора, сестры, фельдшера денно и нощно бились с чумой, с проклятой «черной смертью», с «тарабаганьей болезнью», которая могла сожрать всю эту маленькую страну, ее скотоводов и землепашцев, ее охотников и рабочих, стариков, молодежь, детей, ее завтрашнее утро.

Спать своих докторов Баринов заставлял принудительно. И строго следил за теми, кто нарушает введенный им рабочий график. Спать и хорошо есть было при-

казано, измученный врач мог допустить страшную, непоправимую ошибку и заразиться чумой, как говорил Аркадий Валентинович, «по растерянности!».

— Это правильно! — одобрял летчик Паша.— У нас в авиации тоже строго на такие безобразия смотрят. Не выспишься минуток двести-триста — и свободно можно гробануться. Заснешь в машине, или вообще апатия нападет.

На своем аэроплане Паша (он любил говорить: аэроплан, а не самолет) летал на бреющем с востока на запад и с севера на юг по всему району вспышки эпидемии — всматривался в кочевья, нет ли где черной тряпки, не выпалят ли из ракетницы врачи, вызывая помощь, дымят ли очаги, всё ли, в общем, «в порядочке», как выражался энергичный, черный, сиплый доктор Лобода. На бреющем Паша пролетал над головами тех людей, которые уничтожали тарабаганов, помахивал сверху рукой в перчатке с раструбом — дескать, валяйте, привет, я просто мимоездом, поинтересовался. И подруливал к лагерю, мылся под душем, ел, вновь вылетал. Врачи, фельдшера, сестры мерили температуру всему населению района, вводили сыворотку больным, вакцинировали здоровых, санитары хоронили мертвых; в дальние кочевья, где были больные, приезжала походная кухня с горячей пищей, ели и выздоравливающие, и врачи, и те, кого выдерживали в изоляторах.

Баринов часто летал с Пашей по вызовам радистов — консультировал сложные случаи. И однажды на «летучке» сказал:

— Могу поздравить товарищей! Теперь очевидно, что эпидемия локализована, пошла на спад, через несколько дней мы всё тут покончим.

В эту ночь все врачи, съехавшиеся в лагерь, первый раз выспались всласть, не по приказу, а в свое удовольствие. Утром за завтраком Володе дали радиограмму от доктора Васи — из Кхары. Тот в истерических выражениях требовал вызова «на подлинное дело». Софья Ивановна сказала:

— Каждый человек обязан делать то, что он делает, это его долг. А то, что он не делает,— делают другие...

Володя усмехнулся. Теперь его никогда больше не раздражала Софья Ивановна. Он знал цену Солдатенковой — ее настоящую, человеческую цену.

В пятницу лагерь начали сворачивать. Устименко только что вернулся с объезда своих кочевий, слез с коня и почувствовал себя плохо: его шатнуло раз и другой. Доктор Лобода подошел к нему поближе, сказал осторожно:

— Простудились, наверное?

— Возможно! — сухо ответил Володя.

И сам, слабо улыбаясь, пошел в изолятор. Он больше не сомневался, что это чума. Покалывало в боку, походка была «пьяная», как у заболевших чумой. И язык «меловой», характерный.

Едва он лег, вошел Баринов в халате, но без респиратора.

— Оденьтесь как следует! — сказал Устименко.— Иначе я брошу в вас табуреткой.

— А вы меня не учите! — прикрикнул Баринов.

— Повторяю — я швырну табуреткой. У меня чума.

Аркадий Валентинович вышел. Устименко измерил температуру — было тридцать восемь и шесть. Опять явились Баринов и Лобода, уже в респираторах, за их спинами виднелась Туш. Как это было странно — слышать их глухие голоса, а самому сидеть без очков-консервов, без комбинезона, без респиратора...

Покуда носили мокроту в лабораторию, Володя писал письма. Голова его кружилась, во рту было сухо, *так* сухо, что он без конца пил. И писал:

«Варя! Это письмо продезинфицировано, ты не бойся. Вышла глупая история. Когда ты будешь читать эти строчки, меня уже похоронят. Сейчас я немножко ослабел, умирать не хочется, да и глупо, я тебя, Варя, люблю и никогда не переставал любить. Понимаешь...»

Опять пришел Баринов, сказал громко и весело:

— Я считаю, коллега, что это крупозная пневмония...

Володя внимательно посмотрел в закрытые очками-консервами глаза Баринова и ответил:

— Вы же сами рассказывали, что так обычно утешают заболевших врачей.

— Давайте-ка ложитесь! — велел Баринов.

В дверях опять стояла Туш. Она принесла почту — письмо от Вари и от Аглаи. Варвара писала с флота: «Я на флоте»,— прочитал Володя, и снова про театр. Было и про войну несколько слов, и про то, как Володе

с его характером трудно, вероятно, лечить разные там «бронхиты-аппендициты». И тетка Аглая тоже писала про войну.

Володя откашлялся, крови в мокроте не было. К вечеру за окном появился летчик Паша — приложил к стеклу записку: «Есть коньяк, может, выпьешь, доктор?» Устименко показал кукиш и лег на кровать.

Второй анализ по Граму опять ничего не дал. Нужно было ждать.

У двери, за стенкой все время сидела Туш; он слышал ее характерные легкие шаги, ее шепот. Несколько раз заглядывала Солдатенкова и спрашивала у Володи, точно он был маленьким:

— Ну? Как мы себя чувствуем? Мы покушали?

— Мы хотим, чтобы все шли к черту со своей чуткостью! — сказал Володя.

В руке он держал термометр. Тридцать девять и шесть. И тошнит, ужасно тошнит.

Ночью у его кровати сидел доктор Лобода. Володя бредил. Лободу сменил толстый Шумилов. От нечего делать он взял со стола не дописанное Володей письмо к тете Аглае и прочитал: «До черта жалко, что ничего не сделано. И если бы ты, тетка, увидела эту великую армию эпидемиологов, если бы ты поняла, какие это люди! Вот, например, доктор Шумилов. С виду просто толстый обрубок, рассказывает глупые анекдоты, сам первый хохочет...»

«Ну вот еще! — сконфузился и обиделся Шумилов.— Когда это я первый хохочу?»

Положив письмо на стол, он посчитал спящему Володе пульс и вдруг заметил характерный белый треугольник — на подбородке и у носа.

— Туш! — крикнул он.— Помогите мне!

Вдвоем они положили бредящего Володю на спину, и Шумилов отогнул на Устименке рубашку.

— Сыпь! — счастливым голосом сказал он.— Вы видите, Туш? И это правильно, что я толстый обрубок! Мало того, что обрубок, еще и дурак! Будите скорее Баринова! Немедленно!

Короткими пальцами он развязал завязку респиратора, стащил очки, стряхнул капюшон. Толстое, щекастое его лицо, распаренное в жаре, было счастливо.

— Скарлатинка! — сказал он Баринову.— Скарлати-

ночка! И какая славненькая, характерьненькая, хрестоматийная, для студента! Куда же мы с вами годимся? Все забыли? Девчурочку-то он у мертвой матери из объятий вынул. У девочки-то скарлатина. Ах ты, господи, как оскандалились! Вы на сыпь взгляните — сплошное поле гиперемии. И лицо: скарлатиновая бабочка, никуда не денешься. Вот-с как-с, товарищ профессор...

— М-да,— сказал Баринов.— И на старуху бывает проруха. Нужно, пожалуй, Пашу разбудить, пускай за сывороткой подлетит, мы на девочку-то всю извели...

Пашу разбудили.

Погодя Туш тихонько спросила:

— Это не чума у него, да, так, товарищ профессор?

— Нет, дорогуся, это скарлатина! — сказал Шумилов, всем своим лицом излучая радость.— Скарлатинушка. Скарлатиночка.

Баринов все смотрел на Володю.

Потом вдруг сказал:

— Знаете что, Ипполит Захарович? Там в столовой, есть шампанское. Пойдем и выпьем бутылку. За нашу смену! Вот за таких парней!

Они ушли, а Туш осталась. Долго слушала она, как бредит Володя, потом взяла его большую горячую руку и поцеловала...

Утром вся группа профессора Баринова уехала в Кхару. В тот же день три тяжелых самолета взлетели с посадочной площадки Кхары и, сделав прощальный круг над городом, легли курсом на Москву. Улетела экспедиция неожиданно, в проливной дождь. Докторов провожал только Тод-Жин.

— Их кладите в крайнюю юрту,— бредил в это время Володя.— В самую крайнюю. И запретить хождение. Зап-ре-тить!..

Второго октября Устименко уезжал из Кхары. Утром он обошел больницу, попрощался с больными, с дедом Абатаем, поискал Туш, но нигде ее не нашел. Пелагея Маркелова мыла операционную, он протянул ей руку, сказал:

— Ну, как вам работается? Ничего?

— Хорошо! — смущенно опустив глаза, сказала она.— Мне хорошо, а вот Софья Ивановна...

— Софья Ивановна — отличный человек! — строго перебил Володя.— И врач настоящий. Не нам с вами

ее осуждать! Вот так. Прощайте, Пелагея Егоровна.

С Васей Беловым они обнялись и трижды поцеловались.

— К Новому году мы фашистов раскокаем! — сказал новый главный врач.— У них с бензином тягчайшее положение. И надо ждать взрыва изнутри. Я об этом думал. Вы думали?

— Думал! — с улыбкой ответил Устименко.

Ему почему-то всегда хотелось улыбаться, когда он разговаривал с Васей.

Часов в девять он вышел к каравану — семь всадников и несколько вьючных лошадей. Было очень жарко, Кхара мучалась от внезапного осеннего зноя. Мады-Данзы держал над доктором Васей зонтик, на Володю он не обращал больше никакого внимания. Софья Ивановна строго велела Володе выслать из центра какие-то бланки и шнуровые книги. Ему захотелось поцеловать ее, но она сердилась на путаницу в поквартальном отчете, и последнее, что от нее услышал Устименко, были слова, что ей что-то «даже странно», что именно — было неинтересно.

Больные смотрели в окна, дед Абатай подтягивал подпруги, вьюки, переметные сумки, командовал, распоряжался. Поодаль исподлобья смотрел бывший шаман — расстрига Огу. Володя подозвал его ближе, Огу рассердился:

— Зачем нехорошо сделал — бубен, шапку, жезл уронил в воду, в Таа-Хао. Камлать не могу для хорошей тебе дороги, для чего так, а, да?

— Обойдусь! — усмехнулся Володя.— И про эту дрянь забудь думать. Тод-Жина увижу, скажу: Огу теперь человек. Тод-Жин в санитары тебя возьмет, но если водку пить станешь,— доктор Вася выгонит. Прощай!

Он сел в седло и только теперь увидел Туш. Прижавшись к воротам больницы, она улыбалась Володе дрожащими губами.

— Я напишу вам,— сказал Володя, тронув жеребца каблуками и поравнявшись с Туш.— Я напишу вам большое письмо. А доктор Вася прочтет. Ладно?

— Не ладно! — тряхнула черными косами Туш.— Когда вы напишете, я сама научусь хорошо читать. Это ведь будет не скоро? А, да, так?

И маленькой рукой взялась за его стремя, но тотчас же отпустила, потому что если женщина берется за стремя, то это значит, что на коне сидит человек, который ее любит. А Володя не любил ее.

— До свидания все! — сказал Володя.

Караван тронулся. Дед Абатай побежал рядом с Володиным конем. И, чем дальше подымали пыль кони каравана по Кхаре, тем больше сходилось народу вокруг. Знакомые и полузнакомые люди шли рядом с Володей и протягивали ему кислый сыр, который, было известно, он любил.

— Возьми курут! — кричали ему.— Возьми, ты будешь кушать курут на войне!

— Возьми арчи! — кричали ему, протягивая сушеный творог.— Арчи не испортится. Ты сохранишь его до конца войны и будешь после войны вспоминать нас.

— Возьми быштак! — кричали ему, протягивая шарики оленьего сыра.— Возьми, доктор Володя! Или ты не узнал меня? Ты сохранил мне возраст еще тогда, когда мы боялись твоей больницы!

Он узнавал и не узнавал, улыбался твердой, присохшей улыбкой и быстро глотал слезы. Пыль делалась все плотнее, все гуще, никто не видел и не мог видеть, что доктор Володя плачет. Он, наверное, вспотел; было, правда, очень жарко, а на его плечах стеганая ватная куртка.

— Ты спас Кхару от черной смерти! — кричали ему.— Мы никогда не забудем тебя!

Нет, не он спас, нет! Чуму нельзя победить в одиночку. И не от умиления проступали слезы на Володиных глазах, нет! Это были странные, гордые слезы. Слезы счастья человека, принадлежащего к гражданам той великой страны, которая может победить черную смерть! Непобедимую черную смерть, страшную тарабаганью болезнь, чуму! И сейчас народ Кхары провожал не просто врача Устименку,— он провожал друга, брата, гражданина страны рабочих и крестьян, страны трудового народа, страны разума и добра.

— Пусть ты победишь своих врагов! — кричали ему из толпы, окружающей караван.

— Мы победим своих врагов! — словно клянясь, шептал Володя и видел перед собою и Баринова, и Лободу, и Шумилова.

— Пусть твой народ будет счастлив, потому что он достоин счастья!

— Да, он достоин счастья! — повторял Володя и вспоминал летчика Пашу, Богословского, тетку Аглаю.

— И пусть ты вылечишь своих раненых, как ты вылечил нас!

— Вылечу! — клялся Володя.

— Возвращайся, доктор Володя...

Кони храпели и пугались, народу становилось все больше и больше, а на выезде из Кхары Володя увидел отца Ламзы, который стоял над дорогой со своими охотниками. Их было много, с полсотни народу, и все они держали ружья на холках коней. Володю они встретили залпом вверх — один раз и другой, а потом их великолепные, маленькие, гривастые кони пошли вперед, наметом, чтобы дальние кочевья готовились к проводам советского доктора Володи.

И кочевья готовились, и Володя Устименко всматривался в лица, тщательно вспоминая, кто был у него на амбулаторном приеме, кого он смотрел в юрте, кого оперировал, кого лечил в больнице.

Но никого разглядеть толком он не мог — теперь они все улыбались, а тогда, когда он имел с ними дело, они испытывали страдания. Теперь они вновь загорели и окрепли, а когда их привозили к нему, они были бледными и худыми. Теперь они сдерживали своих коней, а тогда они лежали или их вводили под руки, или вносили на носилках. Разве можно было теперь понять, кому из этих всадников он сохранил возраст?

В сущности, это было неважно. Важно было другое — он делал тут свое дело. Делал всегда, делал всеми силами. И люди понимали это. Наверное, можно было оперировать лучше, чем он, но все-таки здесь он принес «некоторую» пользу.

«Некоторую! — думал Устименко. — Ерундовую! Но экспедиция доктора Баринова — разве это так уж мало? А я ведь частичка ее. Частичка всего вместе, частичка моей страны».

И смотрел вдаль, в горы, в ту сторону, где бушевала война и где его ждало дело, которому он служил.

Конец первой книги

ОГЛАВЛЕНИЕ

Юрий Павлович Герман

ДЕЛО, КОТОРОМУ ТЫ СЛУЖИШЬ

Редактор *О. В. Трунова*
Художник *Г. В. Алимов*
Художественный редактор *Э. А. Розен*
Технический редактор *Л. П. Маракасова*

Сд. в наб. 5/V 64 г. Подп. к печ. 14/VIII 64 г. Ф. бум. 84×108 1/32. Физ. печ. л. 11.5. Усл. печ. л. 18,86. Уч.-изд. л. 20,2. Изд. инд. ХЛ765. Тираж 100 000 (1 завод 1—50 000) экз. Цена 76 коп. в переплете. Тем. пл. 1964 г. № 345—358.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Заказ № 196.



78 коп.

Советская Россия

ЮРИЙ
ГЕРМАН

